

Белые и черные

Аннотация: В этой книге повествуется о событиях недолгого царствования императрицы Екатерины I – с 1725 по 1727 год. Слабая, растерянная Екатерина, вступив на престол после Петра I, оказалась между двумя противоборствующими лагерями: А. Д. Меншикова и оппозиционеров-дворян. Началась жестокая борьба за власть. Живы ещё "птенцы гнезда Петрова", но нет скрепляющей воли великого преобразователя. И вокруг царского престола бушуют страсти и заговоры, питаемые и безмерным честолюбием, и подлинной заботой о делах государства.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вместо пролога

НЕ ТАК ДЕЛАЕТСЯ, КАК ХОЧЕТСЯ!

Страшная ночь на 28 января 1725 года, казалось, не имеет конца. Вьюга – зги Божьей не видно. Тускло мерцают фонари, обычно очень яркие, перед парадным входом в Зимний дворец, с Невы. Какие-то две тени, чёрные, длинные, протянулись вдоль Невы, подвигаясь к дворцу с невидимого сквозь вьюгу Васильевского острова; тени эти, с приближением к Зимней канавке, оказались двумя колоннами войска, шедшими тихо, беззвучно, не сближаясь и не отставая одна от другой.

Вот голова первой колонны – так же тихо, как двигалась по льду, – всходит на Немецкую улицу и доходит до служебных ворот Зимнего дворца, которые как бы сами собою тихо растворяются, пропускают строй и опять закрываются. В то же время остававшаяся сзади первой вторая колонна поднимается с Невы и располагается снаружи, вокруг дворцового здания, замыкая собою все выходы.

Всё это происходит без звука. Благодаря завываниям ветра и метели даже более ощутительный шорох был бы не слышен. Страшная тишина, можно было бы сказать – предвестница бури. Но вьюга – та же буря – не перестаёт крутить снежную пыль, лишая возможности что-либо усмотреть и в двух шагах. Снежная кутерьма в воздухе, кутерьма и в стенах дворца,

тоже беззвучная, но на всех наводящая страх. Народ везде, но словно явился он сюда разыгрывать тени... Молчание грозное, зловещее, под впечатлением которого все друг от друга отступают и боятся молвить слово.

Но, боясь издавать звук, люди-тени двигаются беззвучно, в полумраке, с одного конца дворца на другой, от Невы до Немецкой улицы... Близ неё, в третьей комнате от угла, тихо отходит из этого мира повелитель страны, называемой Русью, – Пётр I.

Он слышит и видит как будто всё, что происходит вокруг, но не может сделать никакого движения. Тело давно уже охолодело, и ресницы смежаются навеки...

Вот он, кажется, совсем уснул. Грудь больше не поднимается, не опускается.

– Всё кончено! – произнёс дежуривший безвыходно третьи сутки архиатер Блуменрост.

Из чьей-то груди раздался крик надорванной боли – и по всему дворцу отдался одним общим взрывом воя: "Не стало!"

Канторка, где скончался государь, опустела в несколько мгновений.

Самая большая куча самых влиятельных звездоносцев направилась влево – в пустую залу, где происходили обыкновенно советы.

В эту залу разом вступило человек двадцать, и, войдя, все расселись, а последние из вошедших притворили за собою дверь из коридора.

– Надо теперь же выбрать правительство, господа, которое бы решило, для блага общего, кто должен воспринять корону! – спешно начал говорить князь Дмитрий Голицын – Высказывайтесь теперь же, если имеете в виду лицо, права которого бесспорны и которое бы повело отечество вперёд, не умаляя славы его и значения... Говорите первый вы, канцлер, – обратился оратор к графу Гавриле Иванычу Головкину.

– Я думаю, господа, что поскольку завещания не осталось, как я знаю, то на престол вступить должна... должна, я говорю...

Но он ничего больше не сказал, потому что при словах "должна... должна" двери вдруг распахнулись и сквозь открытые проходы ринулись

в залу преображенцы, с ружьями на руку, предводимые князем Меньшиковым и генералом Бутурлиным.

Войдя в залу, гренадёры пешим строем остановились подле сидевших, так что перед каждым очутилось по паре усачей, вооружённых с ног до головы и с опущенным штыком в нескольких линиях от груди.

Предводители стояли в середине. Меньшиков крикнул:

– Господа, не задерживайте других, ступайте присягать государыне императрице, матушке вашей! Нет Петра I. Осталась нами править Екатерина Алексеевна. Да здравствует Екатерина I, Божиею милостью императрица и самодержица всероссийская!.. Ур-ра-а!

– Ур-ра-а! – грянули гренадёры.

С улицы им ответили тем же возгласом товарищи. Сидящие и стиснутые гренадёрами молчали; молчал и пресечённый на полуслове Головкин.

– Гаврило Иванович! – обратился к нему Меньшиков. – Не угодно ли тебе со своими советниками двинуться отсюда? Если устал – помогут гренадёры.

– Мы полагали, что успеем присягнуть, когда наречена будет царствующая особа, – робко заговорил было потерявшийся Головкин.

– Вот что значит растеряться-то, – с оживлением ответил светлейший князь. – Уже церковь по воле покойного императора не только нарекла, но и помазала на царство государыню Екатерину Алексеевну 5 мая прошедшего года. Ведь мы с тобою вместе подавали корону государю, когда он возлагал её на супругу? И, смотрите, всё человек забыл, всё вылетело из головы! Да я, брат, друга не оставляю в беде... Ты и государыни этак не найдёшь, пойдём-ко, вот так, давай руку, марш! А вы, гренадёры, возьмите под ручки господ, что сидят не вовремя, когда идти надо... Иди же, ма-арш!

И сам поволок совершенно уничтоженного Головкина. За эту парю потянулись длинной цепью, гусем, собравшиеся, но не столковавшие советники. За каждым следовала пара гренадеров, с багинетами у ружей на руку, словно торжественный конвой доподлинных заговорщиков.

Так кортеж прошёл по внутреннему коридору государыниной половины

до малой внутренней приёмной, где, опершись на стенку устроенного наскоро царского места, на верхней ступени его стояла царственная вдова Петра I. С правой стороны её находился Синод в облачении, с двумя вице-президентами впереди; с левой стоял Сенат. В ряды сенаторов встала и большая часть пришедших, кроме двух генералов, оставшихся с командою в коридоре, должно быть ожидать очереди вступить в залу в своё время.

Кабинет-секретарь Макаров подошёл и подал государыне исписанный развёрнутый лист.

Её величество взяла его и передала вице-президенту Синода архиепископу Феодосию, который, став перед аналоем с крестом и Евангелием, громко прочёл клятвенное обещание для принесения присяги: на верность её величеству государыне Екатерине I Алексеевне, императрице всероссийской.

Все подняли руки, как принято, и по прочтении клятвенного обещания первым поцеловал крест и Евангелие, подписав лист, сам читавший; за ним и все стали подписывать. Головкин один из первых подмахнул своё имя и, отвесив низкий поклон государыне, направился к выходу.

В дверях стоял генерал Иван Иванович Бутурлин. При выходе графа он вежливо ответил на его поклон, прибавив вполголоса:

- Сами сознались теперь, что так будет всего лучше...
- Да я, друг мой, понимаешь, для того и затянуть хотел, чтобы вы подошли... Иначе что же сделать с безумцами?! Не думайте, что я совсем голову потерял, – я...

Он не договорил, кто он, увидев подступавшего с другой стороны князя Дмитрия Михайловича Голицына об руку с князем Васильем Владимировичем Долгоруковым.

Эта пара прошла в молчании, видимо обескураженная не столько ловким манёвром Бутурлина и Меншикова, сколько бестактностью и разъединением назвавшихся им в товарищи: по решимости противодействовать общим врагам.

I НЕОЖИДАННОСТИ

Неприглядны казематы Ревельской крепости, а тот, в который попал, вероятно по ошибке, наш Балакирев, едва ли не превосходил все прочие сыростью, затхлостью и бесприютностью. Подобие нагревательного снаряда торчало, по правде сказать, на надлежащем месте, в углу, но так называемая печь была, в сущности, грудой кирпичей, благодаря многочисленным трещинам. Из-за них невозможно было, не рискуя устроить пожар, развести огонь; не говоря уже о том, что свободно разгуливающий в трещинах ветер только вносил холод в нетопленое помещение. Сверх того, он при малейшем морском ветре отдавался в каземате воем, наводившим ужас.

С вечера той ночи, в которую мы находим здесь Балакирева, завывания ветра в открытой трубе не давали узнику ни минуты покоя. Перекаты бешеных звуков разгулявшейся не в шутку стихии отражались в узком каземате, по углам особенно, с удвоенною силою.

Ваня Балакирев был крепкий человек, способный не поддаваться суеверию, не веривший в существование нечистой силы, но и он, пробуждённый необычайной музыкой ветра, не вдруг сообразил, в темноте, в чём дело. Пригревшись кое-как на убогом ложе своём, Ваня не хотел вставать и не смел пошевелиться. Пытался он заснуть опять, но не мог, как не мог же, дремля, прийти в бодрственное состояние, стряхнув сон окончательно.

Но к чему узнику просыпаться?

Томление духа о неизвестности судьбы милых ему особ усиливалось, усугубив боль сердечных ран, когда он представлял их горе о нём, о Ване. Как приняли они его несчастье? Кто и чем утешит жену и бабушку? Как дойдёт или дошла до них горькая весть о нём? И о чём ему давать весть, когда он сам томится неизвестностью, долго ли будут его держать здесь... А дальше что?

Нерадостное раздумье всё большее трогало узника, пока показался свет начавшегося дня. Свет сам по себе утешение узнику. Мысли его мало-помалу, теряя горечь, перешли в дремоту, обратившуюся в сон.

Видит он себя на улице немецкого будто города, на наши города не похожего. Причудливые узоры сна изобразили в праздничном, ярком свете здания не то Риги, не то Ревеля. И скорее даже Ревеля, того самого, где теперь томится он. Здесь припомнилось молодцу, как свихнулся он, в день самый радостный для христианина, русского православного. Видится Ване праздник большой, тоже весной пахнет и подувает с моря свежий ветерок, поют птички, и пеньё их трогает за сердце своим щебетаньем, весёлым, бойким, вызывающим на радость и откровенность.

По городу разгуливают толпы разодетых горожан и горожанок. Особенно горожанки одеты нарядно... Загляденье! Пестроты много, но каждой она к лицу. Смотрит Ваня на проходящих горожанок, любуется миловидностью их, а они шушукуют, чего доброго, про него... Вот одна молодая, проходя, ударила его по плечу. Остановилась и за руку взяла.

Ваня почувствовал необычайную робость и смущение; руки не отнимает и не может двинуться с места. А горожанка не отстаёт, тормозит Ваню и вдруг знакомым голосом Даши с нежным упрёком говорит ему: "Как же ты забыл меня до того, что не узнаёшь?.. Словно я стала совсем чужая тебе".

Вглядывается Ваня и невольно трепещет. Это Даша, точно, и в глазах её нежность первого времени их любви.

Всё прошлое пришло на память Вани, а он, словно от страшного сна, отвернулся от него, впиваясь глазами в Дашу.

А она-то, она воплощённая нежность, так и льнёт к нему, так и нашёптывает нежные уверения в любви.

Тянет его к пляшущим, стоящим стройными рядами, в парах. Пошли они, а пары и ряды их вырастают в необозримый хоровод, пестреющий всеми цветами радуги. Раздаются звуки, переполняющие сердце любовью и забвением.

Пары скользят, и между ними Ваня с Дашею. И они, как другие, несутся в бешеной пляске так быстро, что захватывает дыхание. Ряды пар перемешиваются, переплетаются, и вдруг из чужого, сбившегося ряда

какая-то плясунья выхватывает его, Ваню:

– Не уступлю, – кричит, – Ваня мой!

И он увлечён вдаль, в ряды, которые перед его похитительницею расступаются всё дальше и дальше. Пара их одна несётся в какой-то туман, но без пыли и сырости. Голос Даши слышен глухо где-то вдали – где же ты, Ваня?.. Где ты?

– Я . здесь...

– Где – здесь?. Совсем пропал... – почти шёпотом слышатся ему последние слова.

Ваня хочет лететь на зов Даши, но непреодолимая сила, в образе плясуньи, снова увлекает его.

– Чего стал, полно дурить... будь умнее, – увещевает плясунья.

В голосе её узнает Ваня говор Дуни никак? И сердце Вани начинает биться сильнее, и представляется ему прощание с Дашею, как было в утро его ареста. Жгучая боль захватывает дыхание. Он хочет кричать – не может...

К счастью, кто-то начинает тормошить и будить его. Вот он очнулся, чувствуя головокружение.

– Вставай, пойдём! – раздаётся повелительный голос ефрейтора.

– Куда? – робко спрашивает Ваня.

– Комендант требует.

Сильно забилося сердце у Вани, но не от страха. Что-то новое проснулось у узника, привыкавшего к своему одиночеству.

Вышли из каземата. В длинном коридоре пахнуло морозом.

Вот, следуя за ефрейтором, Ваня на крепостном дворе. С неба падает холодная изморозь.

Вот и крылечко комендантского дома. Ваня за ефрейтором пошёл в приёмную. Много офицеров, и все в чёрном.

Подлетел комендантский адъютант, повёл за перегородку, к узлу с тем платьем, в котором привезли сюда Балакирева.

С узника снимают арестантский тулуп и прочее и велят одеться в его платье.

Ваня опять в своём красном камер-лакейском кафтане, при шпаге, в ботфортах своих, епанче, и треуголку дают ему в руки.

Адъютант обошёл вокруг переодетого узника, пообтянул складки кафтана; сказал, подведя к зеркалу, чтобы Ваня причесался поданным гребнем; ещё раз осмотрев, всё ли исправно, повёл к коменданту.

Комендант встал, тоже оглянул приведённого пытливым взглядом инспектора перед смотром и ласково вымолвил ободряющим тоном:

– Можешь ехать, с Богом! Будешь в Санкт-Петербурге, вспомни, что здесь тебя не обижали ничем, а держали – как приказано.

– Куда же меня, ваше высокородие, требуют теперь – в Питер? – спросил, оживляясь, Ваня коменданта, двинувшегося с бывшим узником в приёмную.

– Мне дан приказ прислать тебя обратно, до дому её императорского величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны, как можно поспешнее. Вот повезёт тебя сей офицер, – указал комендант на стоявшего у порога офицера, с сумкою и в епанче.

– Желаем много лет здравствовать! – поклонясь коменданту, молвил Балакирев, идя за офицером к открытой двери.

У крылечка стояла запряжённая кибитка. Офицер и Балакирев сели в неё и поехали по направлению петербургской дороги.

Офицер совсем по-братски стал обращаться с Ванею.

– Значит, государь прощает меня, коли дал приказ доставить меня обратно, ко двору её величества? – спросил своего спутника Балакирев, рассказав ему без стеснения, что он был осуждён за вину, им хорошо сознаваемую. Но какая вина, Ваня не открыл, понимая, что больше говорить не следует.

– Может быть, – был ответ офицера. – Только приказ дан самую государынею. Её величество ныне уже царствовать сама изволит, со дня кончины его величества Петра I.

У Вани брызнули слёзы. Всхлипывая, привстал он, перекрестился и произнёс: "Да помянет Господь Бог во царствии Своём душу..."

Офицер посмотрел на Балакирева с удивлением и подумал, что бывший

арестант себе на уме... Чего доброго, ещё на него донесёт? Лучше с хитрецом в молчанку играть. После взгляда удивления офицер во всю дорогу уже не проронил ни слова с возвращаемым узником.

Да и Балакиреву, узнавшему о кончине Петра I, было не до разговоров. Ему представилось много нешуточных мыслей, которые заняли его.

Ехали быстро; выходили из кибитки только два раза до Нарвы, для того чтобы подкрепить силы чем Бог послал. На третий день после полудня Балакирев был привезён в Петербург, в дом Андрея Ивановича Ушакова.

Офицер вошёл в переднюю и подал книгу с пакетом. Возвращая книгу офицеру, солдат повёл Балакирева к генералу.

Когда Ваня вошёл в рабочую комнату Андрея Ивановича, делец сидел за столом и что-то списывал в большую книгу, погрузившись в это занятие. Ваня стал у дверей, и вдруг у него защемило сердце при воспоминании о событиях, завершившихся выводом на Троицкую площадь.

Бывший тогда главным следователем, Ушаков нисколько, впрочем, не напоминал писавшего в книге. Напротив, с каждым взмахом пера лицо Андрея Ивановича становилось как бы добрее и сочувственнее чужому горю.

Вошедшего он словно и не видел, но это казалось только со стороны.

В действительности Андрей Иванович Ушаков не нуждался в том, чтобы поднимать глаза и обращать их на предмет, приучившись глядеть искоса, из-под редких ресниц. И теперь он, погружённый будто бы в своё занятие, хорошо подмечал угрюмость, всё сильнее и сильнее скоплявшуюся в нависших бровях Балакирева, придавая ему не только уныние, но дикую мрачность.

Ушаков решил, что длить такое положение больше не нужно, и, внезапно встав, подошёл к привезённому и ни с того ни с сего обнял Балакирева как родной. Объятием, впрочем, не закончилась нежность прославленного сыщика: он два раза крепко чмокнул в лоб удивлённого Ваню, приговаривая:

– Здравствуй же, здравствуй, крёстник!

Тот окончательно растерялся от неожиданной любезности. Заметив, что,

чего доброго, пересолишь уже нежности, Андрей Иванович спохватился и задал Ване вопрос:

– Ты ведь, плутяга, и не догадываешься, кому больше всех обязан спасеньем? Ась?! Молчишь... небось не знаешь... Простяк ты простяк! И по моему обращенью к себе не возьмёшь в толк, что... мне, а никому другому...

И новый поцелуй в голову был, так сказать, вразумлением Вани насчёт признанья забот о нём откровенного благодетеля.

– Сам знаешь, – начал теперь Андрей Иванович своим обычным резонным тоном, – что я и рад бы для тебя тогда больше сделать, да... не ровен час, паря... Петруха, покойный теперь, известно тебе не хуже меня, сбрых был... Попадись я ему в поноровке, самого бы меня взъерепенил! Да и тебе бы не легче было... уже не по-нашенски задрал бы кат, не по столбу бы... А мы-то всё же, как ни зорок был, а провели его-таки?! Дай ему Бог царство небесное!.. – со вздохом закончил Ушаков, набожно взглянув на икону.

И оба одновременно перекрестились, Ушаков и Балакирев. Андрей Иванович отошёл теперь от Ивана и заходил по горнице взад и вперёд, словно приготавливаясь к новому опыту своей изворотливости. Время от времени он посматривал на Ивана, замечая, что лицо его и после ободрения поцелуями милостивца сохраняет грустное выражение. Сыщику пришла мысль, что Ивану, дорогой, офицер уже открыл трагическую кончину жены и сумасшествие бабушки. Подумав это, Ушаков решил начать прямо утешением вдовца, судя о семейном горе понаслышке, сам не зная его. Был, впрочем, Андрей Иванович хорошим семьянином. Но, женясь не по любви, никогда и не знал он, что такое страсть, к жене не чувствуя ни антипатии ни симпатии и видя покорность во всём. В покорности да в угодливости он только и признавал долю самостоятельности жены-хозяйки в супружеском соединении. Натура этого человека с крутым нравом была груба, конечно, но таковы были все. А, как знать, между всеми, Андрей Иванович в семейном быту был, возможно, больше чем хороший отец и муж.

Горе мужа, потерявшего жену, он ценил со стороны одной привычки видеть её каждый день, но это не исключало возможности сойтись с другою женщиною, если судьба уберёт первую. Ставя вопрос так, Андрей Иванович по-своему был прав, да к тому ещё, зная кое-что про связь Балакирева с Дунею, он, видимо, открыл новую кампанию вопросом:

– Да ты чего нюнить хочешь? Нюнить тебе, молодцу, нечего, хотя и оттого бы, что стал вольный казак! Найдёшь жену не первой чета. При милости, теперича, государыни, за стойкость свою... что не выдал... не назвал... по моему совету... всякая баба тебе, паря, обе руки протянет, бери только ... Живи знай, да веселись, да пользуйся августейшими милостями.

У Вани сперлось дыхание. Он начал, но не докончил фразу:

– Что же-с ... Д-да...

Побледнел, затрясся, как в жесточайшем пароксизме лихорадки, и, потеряв сознание, грохнулся бы на пол, если бы Ушаков не принял его в мощные свои объятия.

Это надоумило Ушакова, что, видно, Балакирев не знал ещё ничего о жене, а предложение жениться снова подействовало сильнее от неожиданности. Тем, может быть, лучше, что разом? Скрытничанье после удара не нужно, представлял себе Андрей Иванович, усаживая бесчувственного Ивана на стул. Обморок у молодого человека, конечно, не мог быть продолжителен, а с возвращением сознания у страдальца пробудилась потребность узнать всё обстоятельно. Силы возвратились, но жгучая боль была в сердце несчастливца. Осиливая эту боль, возбуждённую горьким чувством своей двойной вины, Иван нашёл в себе силы сказать покровителю:

– Да говорите, Андрей Иваныч... я... я ... покорён... воле Божией. Если Святая воля Господня призвала жену мою, Дашу... не томите меня, а гово... рр... ите.

И его забила опять лихорадка.

– Ладно, – поддерживая несчастного, начал покорный Ушаков, – слушай
– И у самого сурового расследователя вырвался невольный вздох. – В

день экзекуции твоей жена твоя, как объявил отец её, поп, бросилась в беспмятстве в прорубь. Прорубили лёд и... вытащили на третий день... похоронили с честью, со славой. Вот, видишь, – Ушаков перевернул лист раскрытой книги и прочёл: – "По изустному велению его величества, на похороны жены Ивана Балакирева, отцу её дано пять рублёв, да три рубля на сорокоуст, в двадцатый день ноября сего семьсот двадцать четвёртого году".

". А сего семьсот двадцать пятого году, февраля в первое, по изустному повелению её императорского величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны дано протопопу Егору Петрову, при переводе согласно челобитью его в Москву, к Верхоспасскому собору что на Сенях, на проезд с семьёю, да на провоз рехнувшейся бабки Ивана Балакирева и его младенца сына, триста рублёв. Да на содержание старухи и младенца Балакиревых ему, протопопу, из соляных сумм, в зачёт на комнату её императорского величества отпускать ему же, протопопу, по двести рублёв в год. И давать ему, протопопу, оные деньги вперёд, с наступлением каждой трети. А на сию январскую треть деньги выданы здесь, шестьдесят шесть рублей двадцать два алтына одна деньга. Принял и расписался сам протопоп Егор Петров. А в Москве велено давать оному протопопу ежетретно по шестидесяти по шести рублёв по двадцати по два алтына с деньгою, от дворцовых расходов, из вотчинной конторы, бездоимочно и не мотчая. И о сём писано в дворцовую канцелярию, сего февраля во второй день. Приговор закрепил Андрей Ушаков".

– Значит, можешь быть доволен всем, ублажили... и за всё и про всё рачитель о тебе один я же, Ушаков Андрей. Меня, значит, следует тебе, Ванчура, не отцом крёстным звать, а почитать паче отца родного... Потому что, хоша и есть у тебя отец... лучше молвить кобель, прости Господи, коли ещё того не похуже... кобель по крайности со щенком своим иной раз полижется, а укусить не укусит, а батюшка твой – годен только сыновним предателем быть... Мы знаем уже теперь доподлинно, кто в конторку токарную грамотку подбросил, с чего началась передрыга!

А, известно, как за Монса ухватились, сцапали в допрос и тебя, и прочих всех... Знаю я, что и настрочил, складно да красовито таково, оную грамотку – Павел Иваныч Ягужинский ... по дружбе радея Авдотье Ивановне Чернышёвой... жене... отставной... Кто она такова, сам ты знаешь, и растабарывать нам с тобой нечего Она подделывалась под самое, а теперя... Без мыльца въезжают... первые люди! И всех-от своим добром сияются наделить да в остуду привести. Известно, чтобы самим мошенничать поваднее было. Помни же, Иван, Андрей тебя не выдал, а как умел, выкрутил-таки и... кому следует, время выбравши, представил: так, мол, и так, верного слугу, что за нас побои перетерпел, не следует в оковах оставлять... А нужно к себе призвать да ближе поставить... надёжнее слуги не сыщете, – не чета он проходимцам всяким. Зорко уж будет передню вашу беречь. Знает он, кто таковы вороги ваши. Сам пострадал... Никого не предал. Всего лишился, можно сказать... за одну верную службу.

И Андрей Иванович снова любовно смотрел на Ивана, довольный собственным изображением мнимого подвига, – хотя с его стороны, если верить иным пересказам, нисколько не было оказано никаких услуг. Дан был приказ прямой – доставить такого-то! И, выполняя уже приказ, Ушаков задумал подействовать на возвращённого Балакирева мнимым участием, чтобы сделать верного слугу государыни – себе преданным. А несомненное возвышение его представлял Андрей Иванович не подлежащим ни малейшему сомнению.

Значению своего красноречия придавал Ушаков большую силу. Потому, с самодовольствием, окрасившим ланиты его розовым цветом, Андрей Иванович посмотрел теперь на Балакирева, думая вычитать на лице его желанное выражение. Его, однако, не было или оказалось так мало, что самолюбие Ушакова объясняло это иначе чем следует.

Нельзя, однако же, сказать, чтобы выражение лица Балакирева ничего не говорило согласного с видами внушателя. Ушаков объяснял его покорность полным заполоненьем его воли, а она была поражена, несомненно, силой его горя. Оно покрывало и мысль, и чувства

поражѣнного непроницаемым туманом. Но Ушаков принял мрачность Вани за злобу, способную воспитать жажду мщения, и остался доволен действием своих слов на сердце возвращѣнного узника. Чувству мести присуще выражение мрачности, так же как и сильному горю. И то и другое равно может вызывать оттенки дикости и отчуждѣнности. А именно такие оттенки могло усмотреть самообольщение Ушакова на лице Ивана, покуда безучастного к его враждебным настраиваньям, за невозможностью осилить вдруг горе. Ушаков не мог понять, что все чувства Вани парализованы горем. Для него первым делом было теперь умалить влияние Ягужинского на милостивую государыню. Ягужинский, как он предполагал, пользуясь влиянием своим, успеет втереть в милость Екатерины I, чего доброго, и злейшего врага еѣ величества ещѣ так недавно – Авдотью Ивановну Чернышѣву, способную, тем более теперь, на всё, и ни перед чем не пасовавшую. Авдотья Ивановна, как хорошо знал Андрей Иванович, умела при первой лазейке, ей открытой, примазаться к кому и к чему угодно. Нерасположение к ней, будь оно и в десять раз больше, чем апатичная сдержанность Екатерины I, Чернышиха сумеет сгладить и заметать лисьим хвостиком похвал, мгновенно отгадывая настроение и попадая в тон угодной материи разговора.

Ягужинский – иное дело. Он способен был легко напиться и в пьяном виде наговорить кучу глупостей, открывая неудавшуюся игру, одному себе во вред. С таким противником не задумывался сладить своими средствами Андрей Иванович, умевший поощрять поддакиваньем выбалтыванье подноготной охмелевшим хвастуном вроде Павла Ивановича. А против ловкости Авдотьи Ивановны всё обращать в орудие своих планов он находил своего уменья недостаточным и хотел заручиться помощью Балакирева, направив его на дело как следует. Выбрал он только для внушения неподходящий момент.

Начни он немного позднее, непременно бы удалось и настраиванье и всяческое внушение. А иначе назвать подходы Андрея Ивановича к Балакиреву почти невозможно. Если бы без других дальновидных целей припоминал он Ивану его роль в деле Монса и за это вероятность

приближения теперь к особе государыни, – незачем было бы ввёртывать отца и донос? Незачем было бы открывать и участие Чернышёвой? Ясно, что Андрею Ивановичу необходимо было вызвать в Иване недоброжелательность к Ягужинскому с союзницею. На эту тему и последовала широковещательная речь, после выяснения гибели жены и сумасшествия бабушки. Но когда пыл говорливости ослабел у Андрея Ивановича, вития, не видя оживления в лице Балакирева, понял, что нужно отложить до другого времени все эти внушения. "Гм, – невольно прошептал Ушаков, – много калякать незачем".

– Затем, – сказал он уже громко, – теперь я должен тебя, Ваня, самолично представить государыне, матушке нашей. Когда удосужусь, пришлю за тобой вдругорядь и скажу тогда, как и что тебе надо будет делать.

Тут генерал снял со стены новый кафтан, водрузил на голову завитой высокий парик, с груды бумаг достал шляпу, надел портупею, вложил шпагу в ножны и, сказав: "Идём же!" – торопливо пошёл из дверей.

Иван Балакирев машинально двинулся за ним с крыльца, налево, вдоль Невской набережной. Перейдя шесть домов, в самые сумерки, Балакирев и его вожак вошли на крыльцо Зимнего дворца.

По праву повествователя позволяем себе воротиться несколько назад. Прежде чем описывать представление императрице Ивана Балакирева, расскажем о другой аудиенции у её величества.

Хлопотун, председатель траурной комиссии генерал-фельдцейхмейстер Брюс, третий раз уже приходил в приёмную её величества, имея, как он объяснял, крайнюю надобность видеть монархиню.

Два раза Авдотья Ильинична, ожидая с его стороны грустного доклада, отказывала ему, говоря: "Её величество заняты". Теперь же, не видя в передней Ильиничны, Брюс сделал два шага в следующую комнату и, увидев в зеркале лик её величества, негромко спросил:

– Не соизволите ли, ваше величество, удостоить воззрением труд персонных дел мастера?

– Пожалуй, пусть придёт, – был августейший ответ.

Брюс исчез.

Через минуту показался мужчина лет тридцати пяти, в приличном гарнитуровом кафтане с брызгами из чёрного петинета и в подстриженном парике. Смуглый и несколько сумрачный, мужчина этот имел добрый, располагающий к себе взгляд. Он держал в руке натянутый на подрамник холст и бережно нёс его, очевидно чтобы не повредить свежее письмо.

И он, как Брюс, войдя в приёмную и не найдя в ней никого, сделал два шага в следующую комнату, смотря вдаль и начиная кланяться сидевшей у себя государыне.

– Покажи, Иван Никитич, что у тебя такое? – милостиво молвила Екатерина I.

Живописец Иван Никитин – это был он – вошёл в апартамент государыни и оборотил к её величеству холст.

– Как живой! – вскрикнула Екатерина I. – Но ты придал лицу государя такое выражение, что... тяжело долго смотреть...

– Это выражение есть, ваше величество... – оправдывался художник. – Я писал, что видел.

– Д-да, конечно, только...

Вошла Ильинична, взглянула сбоку на картину, и можно было заметить, как невольный трепет пробежал по чертам лица её, мало открывающим обычно её чувства.

– Ишь какую страсть намалевал, – произнесла она шёпотом, с укоризною художнику.

Никитин был не из робких, но и он теперь, сам пристальнее начав вглядываться в написанный им лик Петра I, лежавшего на столе под синим бархатным покровом, невольно попятился. Лик покойного, с грустно-торжественною думою на челе, производил магическое действие. Сердце начинала щемить тоска, неотступно охватывавшая свежего человека при первом взгляде на застывшие черты, которые уже потеряли выражение страдания.

У самого Никитина выкатилась слеза. Проступили слёзы у Ильиничны, и

она молвила государыне:

– Ваше величество, в горе своём повелите портрет оставить на время в траурной...

– Да, да, поставь, Иван Никитич, свою живопись сбоку ложа государева, – отдала приказ императрица.

Никитин поклонился и вышел.

Её величество погрузилась в думу, унёсшую далеко-далеко мысли августейшей повелительницы России.

Уже начало темнеть, а Екатерина I всё сидела, сосредоточенная и унылая.

Зная сам расположение дворца, Балакирев, разумеется, не останавливался, следуя за генералом до самой комнаты её величества, где уже царил полумрак.

С уменьшением дневного света на ярко-красном фоне стен, даже в светлой комнате, ближайšie предметы потеряли свою обычную резкость и угловатость, а задние слились совсем с потемневшею стеною. Государыня сидела в глубине комнаты на канаве, вся в чёрном.

Бледное лицо её величества теперь одно резко выделялось из мрака, приятные черты приобрели особенную миловидность и трогательную доброту.

Холодный воздух, однако, и на коротком переходе от дома Ушакова успел несколько освежить воспалённый от прилива крови мозг Балакирева, и сердце его теперь почувствовало потребность: скорее разделить своё горе.

Подступив с поклоном к её величеству, Балакирев услышал милостивые слова, произносимые голосом, способным тронуть всякого, а не только его в теперешнем положении:

– Я очень рада, что вижу тебя, Иван, здоровым и могу, за верность твою, наградить тебя... проси, чего ты хочешь? Мне известно всё, чем ты за меня пожертвовал.

– Всем, государыня, что привязывало меня к жизни. Я... всё... потерял... и... остаюсь, не знаю зачем, жив... неключимый... – Тут громкие рыдания

перервали останавливавшуюся от волнения речь его. Он упал на колена перед государынею и, у ног её, склонясь почти до пола, плакал, как ребёнок.

Он всё забыл, кроме своего горя, с полнейшим ощущением бесприютности. Из глаз молодого вдовца слёзы лились неудержимым потоком, и с каждым всхлипыванием поток этот прорывался всё стремительнее.

Екатерина наклонилась к плачущему и нежно, как мать, водила царственной рукою своей по влажным кудрям его.

– Плачь, плачь... Это лучше тебе, – тихо и ласково говорила государыня.
– Знаю, как тяжелы твои потери...

И Иван плакал, сперва громко, потом навзрыд, потом тише, без слов. Никто не прерывал его.

Ушаков, стоя близко, казалось, испытывал сам, в первый раз в жизни, что-то похожее на жалость. Екатерина I, ласкою успокаивая плачущего, сама расстраивалась больше и больше.

Наконец, не будучи в состоянии владеть собою, царственная вдова почувствовала, как по щекам её заструились слёзы. Они закапали на остывавшее уже лицо Балакирева и оказались лучшим средством для приведения его в сознание. Он как бы очнулся, схватил руку государыни и поцеловал с такою беззаветною признательностью, что, живо почувствовав силу её, государыня взяла верного слугу за голову и, приподняв, прошептала:

– Я понимаю тебя...

Андрей Иванович слышал это и, ещё внимательнее взглянув на Ивана, неприметно выскользнул из комнаты и направился в траурную залу. Найдя там собравшееся духовенство, генерал поспешно воротился в покои государыни и перед комнатою её величества громко произнёс:

– Пора, государыня, идти на панихиду!

Екатерина I, отпустив Балакирева, была уже одна и тихо плакала.

Что думала теперь, проливая наедине слёзы, повелительница России, – мудро было кому-либо разгадать и с более тонким чутьём, чем у

Ушакова, невольного свидетеля их. Но государыня была, очевидно, глубоко растрогана, дав полную волю слезам.

Образ Балакирева, с его преданностью и безграничную привязанностью, не привёл ли на память ещё чьи-либо чувства, отличавшиеся такими же оттенками? Не привёл ли живой на память умершего, воспоминание о котором ещё оставалось дотоле нетронутым?

Такое воспоминание могло, однако, раз проснувшись, более не теряться, заявляя живучесть свою невольным волнением и слезами.

Все эти соображения Андрей Иванович принял во внимание и решил сообразно им расположить план дальнейших своих действий.

Сопровождая государыню, шествовавшую в траурную залу, достойный разыскиватель ковов про себя повторял:

– Замечать надо, зорко замечать... всё!

При вступлении в залу её величеству пришлось проходить между чинно расступавшимися, облачёнными в траур, особами обоего пола, в полном сборе. Архимандрит и белое духовенство были в облачении. Её величество дошла до гроба супруга, стала в головах, перекрестилась и сделала земной поклон. Вся зала выполнила то же, и архимандрит начал службу.

Стройные голоса певчих заунывно запели, видимо стараясь не поднимать верхние ноты. Чередной архимандрит с большим тактом, величественно произносил возгласы и кадил. Первые ряды присутствовавших усердно клали поклоны; задние ряды тонули в дыму фимиама. Старшая цесаревна тихо плакала, поминутно прикладывая к опухшим глазам смоченный платок. Запели "Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурю" – вдруг государыня, взглянув случайно на стену, куда поместили портрет усопшего, вскрикнула и повалилась без чувств.

Если бы ловко не подхватили, её величество могла удариться о нижнюю ступень амвона, на котором поставлен был одр с телом монарха. Императрицу на руках понесли в опочивальню, и среди понятного волнения архимандрит dokonчил панихиду.

Начались толки расходившихся. Несколько дам наперерыв заговорили одно, что будто бы каждая из них следила за изменившимся лицом монархини и что, раньше обморока, они уже ожидали его. В числе говоривших это усерднее других была Авдотья Ивановна Чернышёва. Не ограничиваясь замечанием, она остановила двигавшуюся к выходу княгиню Голицыну, приближённую, но не влиятельную потешательницу.

– Ты бы хоша, Наталья Петровна, матушка, вздогадалась да разговорила бы, что ль, её, нашу мать, чтоб она поменьше убивалась теперь, без пути... Попомнить ей надо о дочерях, да и о внучатах... Поднять... пристроить, утешить да обласкать... некому сирот, окромя её, голубушки... Тоску-кручину на время хоша благоволила бы отложить! Долг велит так, хоша и тяжело, да...

– Ништо, ништо, сударыня, тебе петь-от так распрекрасно... – отговаривалась умная старуха от опасного предложения. – Так вот и послушает она меня... Сунься-ка попробуй сама, коли так ловка... чем нас подсовывать... Стареньки уж мы на посмех поднимать.

– Ничего, родная, не один зато червончик перепадёт! – язвительно кольнула шутиху Авдотья Ивановна.

– Тебе бы, генеральша, и подлинно сподручнее утешать государыню, – не без едкости отрезал вдруг Андрей Иванович, протискавшись до говоривших и вмешиваясь в речь их, – уж кому ближе теперь приняться утешать матушку государыню, как не вашей милости?

– Шутник ты большой, Андрей Иваныч! – нашлась уколота, засмеявшись, – конечно, она очень хорошо поняла, почему вмешался Ушаков.

– Ловкая баба и ты, что говорить, – ответил не оставшись в долгу разыскиватель.

II СЛУЧАЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Её величество в опочивальне своей не скоро приведена была в чувство. Ещё слабым, блуждающим взором окинув окружающих женщин, государыня спросила:

– Нет здесь Алексей Васильевича?

Побежали искать усердного кабинет-секретаря, но, скоро воротясь, донесли, что он только что уехал.

– Не прикажете ли послать?

– Пожалуй, – сказала медленно государыня, как бы соображая, но потом махнула рукой с неудовольствием.

В это время пришли цесаревны, дочери её величества: грустная Анна Петровна и беззаботная, весёлая как день Елизавета Петровна.

Старшая цесаревна села подле постели и продолжала молча утирать слёзы.

Елизавета Петровна села на постель и, целуя мать, зашебетала, как ласточка, спрашивая нежно:

– Что с тобой, мамаша? Болит у тебя что? Сердце... или головка?

– Ничего... Теперь лучше, – ответила неохотно государыня, но, взглянув в весёлые глаза дочери, сама оживилась и приподнялась с пуховика на локоть.

Цесаревна Елизавета Петровна принялась ещё живее тормошить и целовать мать, как видно принимавшую ласки своей любимицы не только без гнева, но с удовольствием. Живая девушка знала хорошо, чем развеселить и утешить родную. Целуя, она настойчиво спрашивала государыню:

– Да ты, мама, скажи мне вправду: отчего это тебе дурно-то сделалось?

– Нездоровилось мне ещё с утра.

– Так ты бы не ходила туда, в эту скучную залу, где ты всегда плачешь...

– Ведь там отец... Нельзя... Что подумают?!

– Меня бы позвала, коли нездоровилось, я бы за тебя пришла туда и всем сказала бы громко, что ты, мамочка, лежишь и не можешь выйти в залу.

– Да ведь прошло!.. Что ж теперь толковать?

– А то толковать, чтобы с тобой, мамаша, опять чего не случилось... Говорили все... и Авдотья Ивановна, и княгиня, и Брюсша, что ты должна беречь своё здоровье... не расстраиваться... Для нас жить, слышишь,

мама, для нас! Папы нет... Ты нам должна заменить его. Береги же себя!

– Беречь себя одна статья... Дело – другая... Мне нельзя остановить дел. Нельзя не думать о них. Хоть бы и для вас, и... за вас...

– Тебе есть кому приказать делать дела.

– Не всегда... Да и кому прикажешь?

– Как – кому? И как это – не всегда? Кто бы мог тебя послушаться? – с жаром вскрикнула бойкая, живая цесаревна.

– Не об послушании я говорю. Ослушанья не может быть, а задержка может быть; и когда потребуешь – не найдут тех, кого нужно... Говорю я тебе, и ещё повторяю.

– Скажи же, мамаша, кого нужно тебе: я сама пошлю.

– А если нет – ну что же ты сделаешь? Я посылала... Сказали: ушёл... нет и негде взять, нельзя человеку торчать здесь. Был недавно, когда понадобилось, глядишь – нет.

– Нет одного – другие могут быть, прикажи другим!

– Спорщица ты, Лиза, – больше ничего. Крикунья... Нельзя так настаивать. Нужно делать всё тише, мягче обращаться к людям, особенно к таким, которых уважаешь.

– Ну конечно, мамаша. Не суди только обо мне, что будто я не больше как крикунья. Я понимаю, что нужно взыскивать с разбором. Однако... Если дело так тебя беспокоит и нет одного слуги, поручи другому.

– Заметь, моя милая, что окружающие нас в мнении нашем значат не одно и то же. Одному можно доверить больше, другому меньше. И прежде чем заставлять делать, нужно испытать человека, годен ли? А как подумаешь об этом, да и раздумаешься: лучше ли выйдет перемена? Задашь себе такой вопрос – иное и отложишь. И подождёшь. Особенно если является желание сделать... хорошее... Терпение подскажет и лучше... как сделать.

– Терпение, мамаша, однако, может оказаться промедлением. Хорошо, как можно подождать, а как нельзя... Тогда – мой совет – лучше приказывай, чтобы сделали.

– Слушай же: приказ я отдала бы, положим, секретарю – а Макарова,

говорят, теперь нет. Он мой секретарь, а как человек – устал уже. Что же его тревожить мне, вечером?

– Ну хорошо, оставь его отдыхать. И если секретаря нет, мамаша, – упрасивала теперь нежно цесаревна, – только не огорчайся – и я могу быть твоим секретарём. Ведь я люблю тебя, ты знаешь. Стало быть, можешь мне приказывать что нужно: я напишу и вместо секретаря указ. Право, мамаша, напишу – вот увидишь. Девицы, дайте бумагу и перья!

И цесаревна сошла с постели и села у стола, на котором горели восемь свечей в высоком шандале. Бумага оказалась на столе, и перья были тут же. Одно перо взяла в руку цесаревна Елизавета Петровна и с сознанием важности принимаемой роли произнесла громко:

– Приказывайте же, ваше величество, что писать?

– Гм, что писать?.. И ты хочешь писать? Напиши же на первый случай, что Я жалуя возлюбленную дочь нашу, цесаревну Елизавету Петровну, в наши кабинетные секретари.

Перо заскрипело, и через несколько мгновений цесаревна произнесла:

– Готово!

– И подпиши за нас: Екатерина.

– Написала.

– Поздравляю с новой должностью!

– Рада стараться, ваше императорское величество! Прошу снисходить только, коли что и не так окажется.

И шутница цесаревна низко кланялась, встав со стула.

– Быть по сему! – внятно ответила Екатерина I. – Будем милостивы. Только будь усерден, секретарь.

– Буду стараться заслужить милостивое мнение вашего величества, – буду стараться усердно. А теперь что ещё угодно повелеть?

– Пиши: "Пожаловали Мы любезно верную нам, состоящую при наших детях, Авдотью Ильину Клементьеву в баронши и в штацкие дамы с положенным жалованьем".

Авдотья Ильинична, услышав продиктованный указ о ней, подошла и, поклонившись в ноги её величеству, облобызала августейшую десницу.

– Ещё что угодно повелеть? – спросил августейший секретарь.

– А подписано?

– Всё как следует. Прочитать велите?

– Не надо... Верю.

– Что прикажете вашему верному секретарю, государыня?

– А верен он мне? Как вы думаете? – обратилась государыня к окружающим её женщинам, подмигивая. – Ты какого мнения, Анисья Кирилловна? – взглянув на стоявшую поодаль девицу Толстую, спросила государыня, сжимая серьёзно губы.

– Полагать надо, верен будет, ваше величество. Как быть неверну при таких милостях? Легко ли, прямо в секретари!.. Вот мы, грешные, не один десяток лет грамотки всяки разные писывали, да до ранга и поднесь не дослужились.

– Пиши же, секретарь, ещё: "Повелели Мы любезно – верной нашей камер-девице Анисье Кирилловой, дочери Толстой, за многие годы службы при нас и за приказные труды, триста дворов отсчитать из подмосковных наших, полуднее да подомовитее..."

И Толстая, приблизясь, принесла свою верноподданническую благодарность, как и пожалованная в баронессы Клементьева.

– Готово, ваше величество, и подписано. Ещё что угодно?

– Ваше величество, не забывайте и службы верного слуги вашего! – вдруг раздался голос из-за двери, и в проёме её показалась бравая фигура Ушакова, отвешивавшего низкие поклоны.

– Чего же желаешь, Андрей Иванович? Коли дворов – укажи, где есть свободные. Почему не дать, можно.

– Я не о себе осмеливаюсь докладывать вашему величеству, а дерзаю напомнить о несчастливце. На службу ваше величество вызвали из заточения, а за терпение безвинное не награждён.

Лик её величества заалел румянцем оживления.

– Виновата: чуть было не забыла. Спасибо, Андрей Иванович: всегда нам напоминай о достойных людях. Пиши, секретарь: "Пожаловали мы Ивана Балакирева в офицерский чин, в Преображенскую гвардию, и быть при

нас у поручений особенных. Дать ему триста дворов, где пожелает, и оклад отпускать из соляных денег... и сшить ныне же, в приказ, мундир, а во что обойдётся подать счёт для уплаты... из комнатного расхода".

– Написано и подписано! – через несколько минут произнесла цесаревна Елизавета Петровна.

Ушаков всё стоял в дверях и кланялся.

– Не надумишь ли, Андрей Иванович, ещё кого нужно чём пожаловать... из быв... по твоей части.

– Рази, ваше величество, помиловать изволите: из ссылки воротить взяточницу, как бишь её... Прости Господи... эти немецкие прозванья!.. Память-от не гораздо напоминает... вертится, а на язык не попадает... Полк... Волк... Болк... Балкину?

– Да, да... Правда... Пиши, Лиза: "Оказывая наше монаршее милосердие... повелеваем..."

– "Простирая монаршее милосердие и на впадших в проступки, снисходя к раскаянию..." – будет лучше, ваше величество, – на площадь выводили и вины паскудные читали... – высказался тоном ментора Андрей Иванович Ушаков, заслужив и на этот раз милостивую улыбку.

– Хорошо... напиши так... будет чувствительнее... Поправь: "...повелеваем Авдотью Балк из ссылки воротить и быть ей к нам... верною службою загладить прошлое..."

– Истинно, ваше величество, и царскую прозорливость оказать изволили в изъявлении таковыми терминами... помилование изрекая... – с почтительным поклоном опять высказал Ушаков, войдя в роль дельца, а уже не просто напоминая канцелярские формы и приличия.

Опять милостивая улыбка со взглядом августейшего поощрения. Ушаков вырос чуть не на четверть от такого обильного излияния благосклонности, с первого же отважного шага, в заявлении деятельной преданности. Видя внимание государыни, он задумал увенчать смелую попытку ещё более решительным предложением, которое, в случае принятия его, должно было оградить Ушакова от подвохов. "Уже поздно будет тогда подставлять ножку нам, – думал он, – когда получим право

доклада свободного от себя, а не по призыву!.."

Решив ловко и неотразимо произвести подход, Ушаков, кашлянув, произнёс:

– Осмелюсь, ваше величество, ещё испросить августейшей резолюции... чтобы впредь не подвергнуть себя мне, рабу вашему, гневу за неисполнение... Мнится мне, для порядку необходимо... коли на службе изволите числить офицером Преображенской гвардии одного Ивана Балакирева, зачислить его в которую ни есть роту по полку. Не благоугодно ль разрешить в мою роту? Военной коллегии я предлагал произвести из фендриков одного в прапорщики, за недостаточью. Так не повелите ли на место одного числить у нас Балакирева?

– Очень благодарна, Андрей Иванович. Порядки ваши я не знаю: как нужно сделайте, чтобы и на службе числить... Мы думали...

– Повышений человек заслуживает: не перестарок какой ещё! – подсказал Ушаков, довольный своею находчивостью. Помолчав и соображая, он опять заговорил: – При государе, ваше величество, мы, майоры гвардии, каждый ведал свою часть и с докладом являлся... воли монаршей испрашивать и принимать приказания. Я, к примеру сказать, по розыскной части, в особливой аттенции был монаршей содержим. Не изволите ли такожде повелеть от вашего величества токмо повеления мне принимать и оберегать ваше величество от многочисленных козней, возникающих от коварных людей... Иные претворяют себя угодники быти и старатели о славе монаршей, а сами суще волки в овечьей шкуре, ища хищения, и неправды, и клеветы, и злохуления. А раб ваш, Ушаков Андрей, таковых продерзателей изыскивать и усматривать заобычен и... и своевременно вашему величеству подобные козни открывать и разьяснять потщится, буде соизволите разрешить... доклад мне имети и дело своё делати по прежним примерам.

– Очень благодарна, Андрей Иванович... почему не так?.. Только как же это, к примеру сказать, думаешь ты? Я людей притеснять не хочу. Может выйти ошибка, чего доброго... Розыски в страх приводят больше тех, кто слышит о них и вины не знает даже...

– Раб ваш, к примеру, привёл розыски... не то совсем, чтобы кого схватить, а разузнать, ваше величество, исподтишка, никого не трогая, я... разумел... а продерзость опасётся зло чинить, чуя, что бдит глаз недремлющий, ваше величество. Ведь продерзостей и сам блаженной памяти император Пётр I строгостью, по истинному о благе общем радению, обуздать не мог. А присмотр нужен и благовременное донесение. И на него что угодно изречь, вашего величества мудрость и благодать одни внушить могут. А раб ваш наветом обнести и ворога своего дерзости не имеет. Стало, про розыски с пристрастием не может быть и речи, ваше величество... а благоразумное, умеренное наблюдение.

– Это другое дело... – молвила государыня, начиная думать о неожиданном предложении усердствующего разыскивателя. Его последние слова, впрочем, значительно успокоили сомнения доброй императрицы, и лицо монархини приняло обычное выражение благосклонности и открытого расположения.

Ушаков умел хорошо читать выражение на лице собеседника, и снова возникавшее неверие в успех заменилось в уме его желанием настоять на предложении доступных ему услуг, подтвердив доводы сильными аргументами. Перед неотразимостью их – думал разыскиватель – не устоит робкая нерешительность государыни, судящей о других по доброте своей.

– Осмелюсь доложить, ваше величество, – снова начал он, – повод для предложения раба вашего, кажется, не малый: вдруг два подмётных письма уявилось. Исполнены оные продерзостного глумления о высочайшей персоне: как-де управлять будет, коли воры наголо окружают? И первым наименован князь светлейший... затем Чернышёв – якобы он прижимки чинил при расчётах по подрядам... И генерал-адмирал, можно сказать, голубь незлобивый, – и тот не избёг лживых нареканий злостного пашквилья. Вычитав сии причинности, не хотел бы сперва я доводить до сведения вашего величества про сию черноту души врагов общественного покоя. А сомнения монаршие на заявления последнего раба вашего долгом поставляют меня во известие

предложить и испрашивать милостивого указа таковые непорядки благовременно пресечь – незримым бодрственным наблюдательством, а злу расти весьма не давать... А указец – как повелит державство ваше нам делать и как и о чём докладывать – я сам, государыня, здесь же напишу: лишнего не будет, а самая что ни есть нужда. И прочту все сполна. А её высочество не отречётся контрасигнировать: "быть по сему".

Екатерина, внимательно выслушав всё, однако, молчала. Для Андрея Ивановича наступила минута высочайшего волнения. "Сорвалось?.." – нащёптывал робкий ум. "Удастся ещё авось", – читали рысьи глаза, впившись в кроткое лицо монархини, погружившейся в глубокое раздумье. Его решил в пользу Андрея Ивановича Ушакова суровый, холодный взгляд Авдотьи Ильиничны Клементьевой. Она давно уже насторожила уши и напрягла всё своё внимание, силясь уразуметь, что такое затевается. Случайно кинув взгляд на эту ехидную, в сущности, персону, которую никогда не могли вполне удовлетворить монаршие щедроты, Екатерина как бы очнулась, взглянула милостиво в глаза Ушакову и сухо молвила:

– Пиши указ!

Андрей Иванович был уже у стола и из-под рук цесаревны Елизаветы Петровны очень ловко выдернул тетрадку голландской золотообрезной бумаги. Глаз Ушакова, упавший как бы случайно на то место, где были перья, указал ему и одно из них. Мгновение – и рука генерала держала это перо. Помакнув им в чернила и едва склонясь верхней частью плотного своего корпуса, Андрей Иванович уже принялся строчить по бумаге.

Быстрота выполнения этого ловкого манёвра была истинно изумительная. Ещё не успела девица Толстая, стоя с другой стороны стола, из-за плеча писавшего бросить два-три любопытствующих взгляда на содержание письма, как Ушаков уже кончил и, положив перо, выпрямился, обратись лицом к государыне.

– Читай! – не без волнения отдала приказание Екатерина.

– "По многим не терпящим медленья случаям злостной продерзости

признали мы нужным поручить нашему генерал-майору и майору гвардии Андрею Ушакову негласно проведывать и нам непосредственно доносить, для принятия благовременно мер к пресечению зла. И ему, Ушакову, опричь нас, о порученном деле никому не говорить, а делать что повелим мы даётся полная мочь".

– В таком виде согласна, – освобождая грудь вздохом и успокаиваясь, произнесла Екатерина. – Лиза, подпиши!

Поднести цесаревне, низко ей поклониться, почтительным взглядом указав место для подписи, а по выведении литер "Екатерина" ловко схватить указ – было для Андрей Ивановича делом двух-трёх мгновений. Рысьи глазки Ушакова теперь светились, можно сказать, электрическим светом, и вся физиономия горела багрянцем самодовольствия. Суровое выражение его губ даже в эту минуту силилось как бы смягчить свою обычную жестокость, превращаясь в полугримасу. В полном восторге от блистательного успеха своего подхода, генерал только машинально кланялся и, кланяясь, подавался сам к двери, пятась задом довольно быстро. В дверях он натолкнулся на вошедшего запыхавшегося Макарова, который смерил глазами неожиданного в эти часы посетителя государыниных апартаментов. Взгляды Макарова и Ушакова невольно встретились. Каждый в этом взгляде прочитал злость и соперничество.

– А, Алексей Васильевич, добро пожаловать, – ласково произнесла Екатерина I, милостиво давая поцеловать свою руку вошедшему.

– Изволили звать, ваше величество! Я и поспешил.

– Опоздал, сударик, – змеиным шёпотом произнесла новопожалованная баронесса, – в глазах её, устремлённых на Макарова, была смесь досады, начинавшейся боязни и любопытства, сильно возбуждённого действиями Ушакова.

– Я спросила только, Алексей Васильевич, – произнесла Екатерина. – Сказали уехал... я было и отложила до утра, да вот проказница Лиза пристала да пристала: "Мамаша, хочу быть секретарём твоим". Я ей, смеха ради, и дала записать приказания.

Цесаревна Елизавета Петровна в это время подавала Макарову свою

пробную работу по статс-секретарству.

– Так это, ваше величество, только для шутки, – пробегая первый указ о новом пожаловании в секретари цесаревны, произнёс Макаров, успокаиваясь и свёртывая все прочие указы, чтобы положить их в карман.

– Нет... только о ней, разумеется, – указывая на дочь, молвила серьёзно государыня... – Остальные исполни, Алексей Васильевич.

Макаров погрузился в чтение, и лицо его с каждой прочитанною бумагою стало делаться мрачнее. Он даже не мог пересилить проступавшего неволью смятения.

Пробежав последнее пожалование, Макаров бросил глаза на дверь, за которою уже исчез Ушаков, и лицо кабинет-секретаря выразило дурно сдерживаемую досаду и сильнейшее побуждение узнать, что за бумагу унёс разыскиватель. Яркий румянец, выступивший на щеках Макарова, мгновенно сменился бледностью, когда поднял он вопрошающий взгляд на императрицу и произнёс:

– И ещё был дан указ, что ли, Ушакову?

– Это до тебя не касается, Алексей Васильевич... Наше особое дело, – сухо, но строго и решительно произнесла государыня вполголоса.

Кабинет-секретарь потупился, и им овладело полнейшее смятение, быстро переходящее в страх, так что он поспешил, отвешивая низкие, неловкие поклоны, удалиться.

Вслед уходящему кабинет-секретарю раздался весёлый, заразительный смех цесаревны Елизаветы Петровны, овладевший вдруг всеми присутствующими, начиная от государыни, давно так не хохотавшей, как в этот вечер.

Предмет же этого проявления неудержимой весёлости, Алексей Васильевич Макаров, чувствовал себя совсем нехорошо, обуреваемый то страхом, то завистью. Для него в этот вечер Ушаков вырос до гигантских размеров, с безграничным влиянием на ум и волю государыни, тогда как он, Макаров, только было решил влиять на них по своему разумению, с единственною целью выказывать своё значение. У людей с таким

настроением, конечно, легче всего вырастают химеры при каждом не предвиденном ими обстоятельстве. А что-либо предвидеть в упоении сознанием своей воображаемой силы они не хотят и даже не могут, так что им легче всего испытывать и подлинные поражения. Такие самонадеянные люди, как Макаров, разумеется, впадают в крайности. Воображаемая опасность бывает им, однако, чаще всего на пользу, потому что отрезвляет и принижает их скорее всего другого. И в этом состоянии они готовы снизить до искательства даже у людей им обязанных или ими только держащихся.

Так было и с Макаровым в этот вечер. Из комнаты государыни он направился было в смущении домой и сел в сани, но потом, подумав, приказал ехать к светлейшему князю, в котором рассчитывал найти непременно поддержку, указав ему на нового опасного врага в лице Ушакова.

– Старая лисица, старая лисица! Проклятая гадина!.. Туда же, свинья, рыло закидывает – на высоту?! Ишь как подъехал: наше-ста дело. Не твоё! – про себя шептал Макаров, собираясь с мыслями – как бы представить князю общего врага губителем покоя и подкапывателем под самого светлейшего.

Но князя не было дома, и не могли даже указать, где он теперь.

Алексей Васильевич засвистал, как всегда делывал в минуту полнейшего затруднения: что предпринять при таком казусе? Свистал, свистал да и надумал:

– В Зимний, с Большой улицы, во двор! – крикнул он кучеру, садясь в сани.

– Сём-ка, попытаем Ильиничну? Уж лучше разом все узнать... легче будет ухватиться за что следует да повернуть. Прошептала ведь она мне, кажется, – "опоздал". Значит, знает, что там за турысы подвёл Андрюшка-шельмец?

И Алексей Васильевич повеселел.

Приехал. Коридорцем прошёл впотьмах до лестницы и вверх по ней.

За перегородкой свет. К двери – на задвижке... Стукнул...

- Кто там? – раздался мужской голос.
 - Не приходила рази Авдотья Ильинична?
 - Она не здесь... Меня сюда приютили покамест... Да вам что?
- И говоривший встал и отдёрнул задвижку.

Перед Алексеем Васильевичем, держа свечку в руке, стоял Ваня Балакирев, в своём камер-лакейском кафтане, в котором был привезён и представлялся государыне.

Макаров подался на шаг назад при новой, неожиданной встрече, но тут же вспомнил, что за пазухой у него указ о Балакиреве, потому мгновенно сообразил, с чего начать.

– А-а, добро пожаловать! Старый знакомый... Не думал так скоро свидеться, – ан на тебя и напал?! С царской милостью! Просим любить да жаловать – по старине! Ну, как, братец ты мой, смекаешь теперь пристроиться? Пользуйся случаем – мой совет! – отыскав указ и пробегая его ещё раз теперь, с расстановкою молвил Макаров. – А нас, старых друзей, обижать грех будет, да и несподручно: ты во мне, я в тебе нужду имею. Так и живётся. Вот указ-от. Сговоримся, как будет его выполнить, чтобы ни тебе, ни мне под слово не попасть...

И Алексей Васильевич, сбросив шубу на стул, сел на диван подле Вани, дав ему указ в руки и начиная всматриваться: как примет он эту милость.

– Перво-наперво мундиром, значит, Алексей Васильевич, коли милость будет, ускорить постарайтесь... Стоит тут "ныне же", то есть не мешкая.

– И я так разумею. Утром прикажи позвать портного из мастерской, да прикажи ему сходить в Преображенскую канцелярию, сукно принять на образец – чтобы дали офицерский кафтан. А я уж черкну копию и пошлю до света. Да сам заверни в контору ко мне. Покажу я тебе список, где дворы значатся: выбери себе по указу. Коли десяток-другой и с походцем будет – не беда... Я пошлю выпись воеводе: отвести и отказать за тебя – и закрепят. Да и ещё коли что нужно, – скажи: напишем. Да... надо и о том подумать, – молвил Макаров в раздумье. – Ведь бабка твоя, кажись, состоятельная?.. – начиная припоминать процесс отца в прошлых годах, задал Ване вопрос Макаров. – Так чтобы не спознал отец твой её

теперешнее состояние да... не начал прежнюю клязу – поспеши, не плошай. Скажи только, где помещена бабушка; я тотчас указец и пошлю воеводе, чтоб, до выздоровления, управлять вотчинами тебе, а никому иному...

– Не надо, Алексей Васильевич: пусть отец как хочет. Его ведь добро. Мне и царской милости довольно за глаза. Один я что перст остался... чего мне копить? Зачем, подумаешь иной раз, в живых остался?

– Ну, вот уже не похвально!.. Неблагодарному быть перед Богом грех и перед людьми стыд. Да твоя, правду-матку молвить, и жисть-от начинается, чего доброго, теперя, может... пойдёшь в чины... Отличён будешь... силён будешь... Мы тебя, ты – нас оберегай! И всё как по маслу пойдёт. Невесту сыщем красавицу... коли раздумал с Ильиничной родниться. А мой совет: Дуньку не бросать – подпора будет, и крепкая, и надёжная. Затем, что при лице... И... во как заживём?! Никакие Андрюшки Ушаковы не будут страшны! – заключил свой совет Макаров и сам вперил в Ивана свои быстро бегающие, вечно улыбающиеся глазки.

– Мне Андрея Ивановича и то бояться нече... На что, в крепости прошлое дело покрывал как мог, не тиранил, – так и привезли к нему: милость обещал и обошёлся словно родной. Да и родной другой так тебя не встретит, не обласкает Сам, веришь Богу, и государыне представил и при мне же говорил: "Грешно будет вам Ивана не помнить... Что не выдал – уж я засвидетельствую..." А я в ту пору – сказал мне только Андрей Иваныч про смерть жены, да про бабушку – я, знаете, словно шальной был... в чаду: говорить не мог, как теперь с тобой. Только упал государыне в ноги да ну плакать. Не плаксив я, Алексей Васильич, – я думаю, знаете сами, а тут слёз удержать не мог – плачу-разливаюсь. Выплакался – и словно полегчало. А государыня милостиво изволила мне волосы разглаживать, словно мать родная, да тихонько уговаривает: "Перестань!.." Как полегчало, я схватил ручку её величества да ну целовать... Такая смелость нашла! А её-то величество осчастливила меня: в лоб поцеловала!.. Вот я мало-малю и оправился.

– А-а! Вот как!.. Так это Андрей тут посодествовал? Ну, коли тебе милость, – Господь с тобой... От тебя зазору да лиха не ожидать – свои люди. Я тебе поперёк дороги не стану Ты всегда меня знал – спервоначалу Я тебя, знаешь, не выдам, ты – меня. Что скажу – ты как следует, начистоту выполнишь. Я – в свою очередь... А насчёт Ушакова... Я тебе, братец, скажу по душе: на его лисьи подбеганья ты не сдавайся! Есть ли такой другой шельмец?! А коли знать хочешь: в вашем деле поноровку чинил Андрюшка – и то, разумеется, не ради тебя. А сам он плут преестественный, и подлипала, и мошенник – может, почище ещё Павлушки Ягужинского, хоша и тот угар! Ты не гляди, что у Андрюшки свиное рыло: уж коли умел отвести очи что ни есть зоркого государя покойного, так, значит, всем шельмецам голова! Чего доброго, закабалит он тебя своим приголубливаньем в соглядатаи всем добрым людям на беду? И ты не поддавайся, смотри у меня! Узнаю, что Андрюшке поддался, – беда тебе: на глаза не пущу! А Дуньки Ильиничниной держись, не плошай. Чтоб её у тебя из-под носу какой ни есть немчик голштинский не увёл. Голштинцам, братец ты мой, лафа теперь, я тебе скажу. Эти голштинские немцы уж на что лучше щука, чем светлейший, – и того осилили. С виду простаками прикидываются: и выпить не прочь или там песенку спеть, а дело у них делается! И дружно стоят как один за своего. И герцог голштинский, к примеру молвить, добряк, а все себе на уме! Он теперя жених цесаревны. Помолвили – ты не слыхал, должно, – в Катеринин день. Тебя, может уже услали тогда?

– Нет ещё... а скоро потом увезли в Ревель проклятый! – сказал и с досадою плюнул Иван Балакирев, припомнив заключение.

Пришла Ильинична, и за нею следом Дуня.

Макаров встал и вызвал Ильиничну, заявив, что ему необходимо переговорить с нею немедленно.

Дуня осталась с Ваней, и только началась между ними интимная беседа шёпотом, как послышался за дверью лёгкий шорох. Балакирев подлетел и, распахнув дверь, отступил на шаг в крайнем изумлении. Это же ощущение охватило мгновенно и Дуню.

Перед смущённою парюю оказался сам Павел Иванович Ягужинский, не менее изумлённый, но к тому же взбешённый.

По всей вероятности, гофмаршал или не сюда шёл, или шёл видеть Ильиничну, но никак не думал найти Балакирева. Найдя же не того, кого хотел, при всём смущении первый нашёлся:

– Так как ты, Иван, вступил по воле её величества в бессменную службу в приёмной государыни, то я требую раз и навсегда, чтобы ты был исправен в выполнении своих обязанностей. А обязанность твоя заключается в том, чтобы ты доносил мне ежедневно о лицах, принимаемых на аудиенцию её величеством. Чтобы ты все приносимые письменные посылки передавал женщинам в следующую комнату, а сам в опочивальню не входил. Чтобы, получив письмо, спрашивал, от кого оно, и докладывал об этом. Но ты не обязан ни с кем из приходящих вступать в объяснения. За малейшее опущение в чём-либо из перечисленных теперь твоих обязанностей я строго взыщу. Государыня непременно хочет, чтоб её воля исполнялась буквально, несмотря ни на какое лицо. Если же в чём противно поступишь, не жалуйся.

– Всё, что мне когда бы ни было поручалось, я твёрдо помнил и исполнял, кажется, так что не заслуживал выговоров, – почтительно, но твёрдо и с сознанием своей правоты ответил, кланяясь, Балакирев.

Павел Иванович, хотя посмотрел на новопожалованного слугу государыни по-прежнему неблагосклонно, но уже понизив тон отдал последний приказ:

– Главное, мой милый, мне аккуратно доноси об удостоенных аудиенции...

Затем Ягужинский, не желая, должно быть, слышать о неудобствах выполнения этого своего приказания, поспешно оборотился и направился к лестнице.

– Отлучаться, сами изволите знать, мне нельзя, – заговорил Иван, но этого, вероятно, не расслышал гофмаршал.

III НОВОЕ ЗНАКОМСТВО

В новом Преображенском мундире прапорщика, Иван Алексеевич Балакирев сидел в приёмной её величества. Приходили с письмом от светлейшей княгини. Письмо Иван взял и подал её величеству, да по приказу государыни распечатал и прочёл. Выслушав и выразумев смысл грамотки, велено было передать посланному, что её величество соизволяет, чтобы светлейшая княгиня пожаловала и привезла старшую княжну – прокатиться с их высочествами в санях.

Передав ответ, Балакирев стал спрашивать посланного, провожая его до дверей, про Шульца, управляющего: здоров ли, была ли свадьба у дочери его и где зять пристроен?

– В канцелярии светлейшего, известно... протоколист по военной коллегии, годный человек... смыслит дела...

– Как прозывается-то? – полюбопытствовал Иван.

– Дитрихс... из курляндчиков. Да никак он сам сюда идёт и ведёт с собою ещё какого-то молодца, бравый из себя... и коренаст довольно.

– Да... Он, кажись...

Договорить не удалось, как распахнулась дверь и в переднюю вступили двое молодых людей, довольно статных и пригожих из себя.

Посланный из дома светлейшего поклонился, и ему ответили поклоном.

– Не знаете ли, – спросил Дитрихс княжеского посланного по-немецки, – к кому здесь следует обратиться, чтобы рекомендовать его честь господина камер-юнкера, приехавшего с чрезвычайным поручением к её императорскому величеству от её высочества светлейшей герцогини Курляндской?

– Чрезвычайные поручения передаются через посредство иностранной коллегии, – ответил по-немецки же Балакирев.

– Позвольте, благо вы разумеете по-нашему, вам высказать особенные побуждения герцогини писать государыне, – обратился к Балакиреву камер-юнкер. – Уделите мне две-три минуты внимания, и вы поймёте, что коллегии иностранных дел этих интимных излияний доверять не следует. Усердие чиновников ничего не усмотрит из родственной формы обращения к душе и сердцу императрицы признательной её

племянницы... А государыня умеет тонко определять, не по формальным фразам, выражения преданности, теплоту чувства и доверие герцогини к неуклонной правоте и святому беспристрастию её величества Эти чувства дали её высочеству смелость просить её величество допустить меня, преданнейшего из рабов её высочества, до личной аудиенции, без свидетелей, где бы я мог высказать что мне повелено и что ни в каком случае не должно быть передаваемо кому бы ни было кроме её величества... Бумаге доверить этого нельзя... Понимаете?

Выслушав эту тираду, Иван Балакирев не шутя призадумался. Как быть? Рассудок и сердце подсказывали, что камер-юнкеру необходима секретная аудиенция, но останавливал личный запрет Павла Ивановича Ягужинского: не смей позволять себе вступать с её величеством ни в какой разговор и не пытаться что-либо добавлять дальше подачи принесённого письма, произнося только имя приславшего. Наказано было даже, передав женщине в следующей комнате письмо, немедленно поворачиваться и уходить, не выжидая ни одного мгновения. Если бы последовало монаршее повеление, то её величество изволило бы выслать свою женщину или приказать, чтобы прапорщик лейб-гвардии вошёл. Такова неизменная воля её величества, желающей, чтобы её как можно меньше тревожили и не прерывали докладом её августейшую думу.

Видя Балакирева, предавшегося раздумью, Дитрихс и курляндский камер-юнкер переглянулись. Первый легонько взял за обшлаг Балакирева и, приподнявшись к уху его, прошептал по-немецки:

– Не медлите, камрад; благодарность будет – верная... господин камер-юнкер боится, что приезд его сюда будет замечен и, чего доброго, случай немедленно видеть её величество будет потерян из-за одного вашего промедления...

– Господин Дитрихс, – сказал ему громко Балакирев, – промедление, вами замечаемое, не более как невозможность с моей стороны выполнить требование господина камер-юнкера. Подав письмо, хотя это мне и запрещено, я выполню всё, что желал бы господин камер-юнкер... Но вы хотите, чтобы в прибавок к передаче письма я доложил и о просьбе

камер-юнкера, представиться её величеству немедленно, для личного сообщения воли её высочества герцогини Курляндской? Не так ли?

– Точно так, – ответил камер-юнкер.

– Вот этого я сделать не смогу, имея строгий наказ от господина обер-гофмаршала.

– Но... может быть, вы, мейнгер, не так понимаете данный вам наказ? – с живостью спросил, подступив к Балакиреву, камер-юнкер.

– Нет... Совершенно так, как я вам докладываю... Мне указана обязанность подавать письма (и то от одних здешних особ, не принимая ни одного, привезённого помимо почты). И, подав письмо, произнести: от такого-то или от такой-то... Затем, добавив – посланный дожидается, самому немедленно уходить. В настоящем же случае я не знаю: могу ли я доложить её величеству о том, что письмо это привезено на имя государыни от царевны Анны Ивановны? Оно ведь, как я сказал, должно быть передано в коллегия, и оттуда уже его привезёт курьер или передаст мне тамошний рассыльный

– Мой любезный господин! Вы окажете величайшую услугу её высочеству герцогине, если возьмёте здесь от меня письмо и прямо передадите... Её величество наверное не прогневаётся на вас за это отступление от буквы закона... Сущность его от того нисколько не изменится, и вам не будет высказано неудовольствия.

– Не смею, – отвечал Балакирев и остановился снова в раздумье. Дитрихс, взглянув на задумчивого Ивана, что-то сказал на ухо камер-юнкеру, а тот, вынув из кармана куверт, вложил его в руку царского слуги, сделавшего недовольное движение в сторону.

– Не могу брать, сказано вам, – возвращая куверт, молвил Балакирев, оправившись.

Камер-юнкер с поклонами стал подаваться назад и лишь глазами выражал свою горячую просьбу. Балакирев остановился и снова погрузился в раздумье. Ему припомнились сказанные государынею накануне слова, что её величество изо всех племянниц больше всего расположена к Анне Ивановне. При таких чувствах, питаемых к её

высочеству государынею, может быть, ей и будет приятно письмо от герцогини? Да может быть, она и ожидает семейного сообщения по какому-нибудь делу, ей лично доверенному, чего коллегии и вправду знать не следует?

Но эти мысли, придя в голову Ивану ещё более усилили в нём решимость: принимать не велено деловые бумаги, а если это не деловое и такого сорта письмо, за которое спасибо скажут, что принял, а не отослал?

Под влиянием этой мысли Балакирев спросил камер-юнкера:

– Уверены ли вы, однако, что это прямо к государыне следует?

– Да, как же... Если её высочество решительно отдала мне повеление доставить его, даже лично, государыне... и повторить, без свидетелей, наказанное мне передать одной её величеству.

– Последнее немисливо... Вы знаете, что удостоить личной аудиенции зависит вполне от расположения государыни. Я могу передать, пожалуй, только письмо. А если спросят, как оно сюда попало, я должен буду сказать – сославшись на вас, господин Дитрихс, – что мне именно говорено: что это родственное, а не деловое сообщение её высочества.

Дитрихс наклоном головы подтвердил точность услышанного.

Балакирев оставил обоих немцев, вступив во внутренний коридор и тщательно притворив за собою дверь.

Никого не было ни в коридоре, ни в двух первых комнатах её величества. Постояв в первой из них и не слыша никакого звука вокруг, Балакирев подумал, что никого нет... Государыня вышла, может быть, к цесаревнам; а женщины её величества – по своим комнатам. Последнее было и действительно так. Считая апартамент государыни пустым, Балакирев влетел в опочивальню, и ноги его как бы примёрзли к полу. Государыня лежала в шлафроке на диване и прямо смотрела на вошедшего.

Видя смятение, овладевшее верным слугой, её величество тихо сказала ему:

– Там никого нет?

- Н-нет! – едва вымолвил Балакирев, пересиливая своё смятение.
- Что же ты, голубчик, так переполошился? – милостиво обратилась монархиня, желая ободрить растерявшегося.
- Ваше величество, простите мою оплошность... что я осмелился войти... все тихо... никого нет... Вот письмо к вашему величеству... посланный умолял немедленно передать. Как ему наказано...
- От кого? – кротко спросила её величество.
- От государыни царевны и герцогини Курляндской, Анны Ивановны.
- Что же она пишет? Садись, читай.
- Может, писано тут, ваше величество, что-либо, что нашему брату не след знать? – почтительно доложил Иван Балакирев, не приступая к вскрытию куверта.
- Ты верность мне доказал. Тайна, если бы и была, тебе может быть доверена без опаски. Ты не предашь меня, неправда ли? Да с царевною у нас нет особенных тайн.

Иван всё ещё держал куверт в руках. Государыня сломала печать сама, вынула из куверта письмо, развернула его и, подавая, взяла за руку Балакирева и усадила на табурет, примолвив для одобрения:

- Оправься же и будь покоен. Я тебя ни на кого не променяю.

Балакирев сел и начал читать:

– "Всемиловитая государыня матушка-тётушка. Уведомляю ваше величество, что по милости Всевышнего, получив скорбное известие о кончине государя батюшки-дядюшки, во-первых, оплакала я сию слёзную потерю нашу, но утешаюсь, что Бог оставляет нам неключимым на радость и во утешение Ваше императорское величество. Соизвольте, государыня матушка-тётушка, покорную вашу племянницу Анну воспринять в вашу неременную милость и щадение, продолжая вашу милость неизменно к почтительнейшей служнице вашей. Не откажите, премилостивая государыня-тётушка, выслушать от нашего камер-юнкера Ивана Эрнста Бирона те словеса, кои мы наказали ему одной вам, милостивейшая государыня матушка-тётушка, пересказать устно. И не откажитесь принять материнское участие в том деле, которое вы от него,

нашего камер-юнкера, услышать изволите, и вспомогите, родственно и дружелюбно, елико вам Господь Бог на душу положит..."

– Тут что-то есть особенное, – промолвила про себя Екатерина. – Почему племянница не писала, а на словах хочет, чтоб нам передали?! Да и кто такой этот посланец?

– Камер-юнкер, ваше величество, здесь... в приёмной. Прикажете позвать?

– Как ты думаешь? Тут не жалоба кроется на кого-нибудь из близких к нам? Аннушка всё жалуется на Бестужева. А я не могу терпеть этих жалоб через третье лицо... по поводу Бог знает откуда переданных слухов.

И государыня, под впечатлением пробуждённого негодования, не шутя начала было волноваться, подразумевая в сообщении смысл очень далёкий от того, который желала передать ей герцогиня Курляндская чрез своего посланного. Балакирев, понимая, что возбуждённое неприятное чувство может расстроить добрую и благорасположенную ко всем государыню, осмелился доложить, что в прочитанном по повелению её величества письме герцогини, скорее всего, намёк на обстоятельство очень сублильное, которое касается самой царевны-вдовы. Иначе не стала бы она передавать его с очей на очи, только её императорскому величеству.

– Какое же, ты думаешь, сублильное... обстоятельство то? – милостиво спросила государыня. – И насчёт чего?.. Привязанности какой или союза разве с кем? – в раздумье, вслух, молвила государыня, ещё переспросив Балакирева: – Посланец-то племянницын каков из себя? Приличен?

– Да, ваше величество, учтивый, как следует... курляндчики эти кавалеры изрядные, и, как видно, посланец в милости у её высочества находится, коли доверено словесно высказать... такое дело.

Любопытство её величества было сильно затронуто объяснением Балакирева, и, подумав ещё, она сказала:

– Введи этого посланца царевны и будь при мне. Я потом спрошу, если что не совсем пойму. Только опусти занавеску.

Балакирев опустил занавес и, тщательно обдёрнув боковые складки, ещё раз посмотрел, отойдя к дверям, не может ли быть видно что-нибудь между складками, сбоку. Успокоенный и на этот счёт, он вошёл в приёмную и кивком головы дал знать камер-юнкеру следовать за собою. Введя его во внутренний коридор, Балакирев тихонько сказал камер-юнкеру по-немецки:

– Когда я вас введу и поставлю пред занавесью, вы знайте, что за занавесью находится государыня, письмо ваше уже передано и что писано – её величество знает... Вы войдите, станьте и говорите... А если что государыня спросит, отвечайте, но не подходите близко.

– Очень благодарен за наставление. Но как же государыню я должен видеть? И вы будете слышать мои слова?

– Да... Такова воля её величества, и вы не настаивайте на изменении этого решения.

– Но что же я скажу её высочеству, если спросить изволит: какое действие возымело мною высказанное... недовольство или...

– Я вас понимаю... и могу, если вы пожелаете, узнать, как принято. После аудиенции подождите несколько времени и узнаете, что последует... можно будет сделать вас участником тайны; я не скрою, а искренно отвечу правду.

Камер-юнкер пожал с признательностью руку Балакиреву и прошептал:

– Я вполне полагаюсь на вашу доброту и искренность.

Сделав ещё несколько шагов, Балакирев ввёл камер-юнкера в опочивальню её величества и сказал:

– Ваше величество, камер-юнкер царевны Анны Ивановны во исполнение воли её высочества имеет передать изустно поручение.

– Пусть говорит, мы выслушаем, – сказала по-немецки государыня из-за занавески. – Здорова наша племянница?

– Не совсем... У её высочества болит нога, и врачи не позволяют выходить из комнаты. Это и помешало её высочеству быть здесь теперь, чтобы отдать последний долг в Бозе почившему государю, супругу вашего величества.

- Как же у ней болит нога? – с участием спросила государыня.
- Нарыв на ступне, ваше величество. Когда я уехал, врач её высочества ожидал уже облегчения, но несколько дней были очень болезненны... её высочество лишилась сна и чувствовала лихорадочные припадки.
- Очень жаль. Что же нам племянница не написала это? Тут, я полагаю, нет большой тайны, и огласка не может быть вредна настолько, чтобы искать устной передачи.
- Устные сообщения вашему величеству поручено мне сделать не насчёт недуга светлейшей нашей герцогини, а насчёт обстоятельств, касающихся предложений, делаемых её высочеству... и на которые... светлейшая повелительница наша ещё не изволила дать какой-либо решительный ответ, не узнав милостивого, родственного изъявления благосклонного мнения вашего величества.
- А-а! Сделаны предложения... насчёт...
- Союза её высочества с светлейшим графом Морицем Саксонским. Его светлость её высочеству может показаться не противным, если ваше императорское величество соизволит удостоить подобные предложения одобрением. А её высочество всёмилостивая наша повелительница, находясь в таких ещё годах, когда новый союз, позволено надеяться, может оказаться и благоплодным и... усладить может скорбные дни её высочества... тем более что светлейший граф, по связям своим родственным, принадлежит к династии, от которой всего более зависеть может упрочить благосостояние герцогства... введение умиротворяющих конъюнктур в беспокойное сословие дворян... словом, ожидать может и в правительственном отношении облегчение для её высочества забот, неразлучных с долгом государыни и нравами её высочества на общую преданность и сочувствие. Союз с светлейшим графом обещает всё это... конечно если ваше величество соизволите обнадёжить всепочтительнейшего докладчика в сохранении тайны о переданном из прямого усердия и преданности к особе вашего величества и к милостивейшей повелительнице нашей.
- Будь покоен, тайна останется выслушанною, без передачи кому бы ни

было... а наш слуга, доверенный, – нам предан вполне. – Произнося последние слова, голос её величества получил трогательную теплоту и оживление искренности.

Камер-юнкер ещё раз поклонился и продолжал:

– Союз с светлейшим графом, если взирать на него, измеряя настоящие затруднения её высочества при управлении страной, где дворянство своевольно и чрезвычайно проникнуто своими правами... союз, смею доложить, не может не считаться невыгодным, а тем менее ещё не одобренным благоразумием... Но, ваше величество, её высочество имеет изволит свои, возможно и многозначачие для чувства и привычек повелительницы нашей, отношения к среде окружающих особ. Эти отношения, несомненно, могут измениться не без чувствительно-болезненных ощущений для любвеобильного и милосердного расположения её высочества. Так что союз с графом Морицем, хотя и заслуживает предпочтения перед другими, имеет, однако, и свои неудобства. Соизволяя принять предложение, повелительница наша надеется на душевную силу и могущество своей воли, способной поддержать её высочество в принимаемой высокой роли. Если бы не существовало некоторых неблагоприятных условий и обстоятельств, её высочество, конечно, не желала бы изменения своего независимого положения, хотя и неразлучного с одиночеством и своего рода огорчениями. Потеря супруга, без сомнения, была тягостна для безутешной юной вдовицы, но время всеисцеляющее и эту горькую участь успело по возможности усладить преданностью искренних почтительнейших рабов нашей всемилостивейшей государыни. Так что ожидание перемены в положении её высочества, при заключении нового союза, одобряемого рассудком, представляется смелым шагом, и страшно впасть в ошибку в расчётах, основанных на вероятностях. Эти соображения и сомнение в возможности полного осуществления приятных отношений, сулящих прочное благосостояние и покой её высочеству, – в заключении союза с графом Морицем – заставили повелительницу мою доверить вашему величеству свои надежды и

опасения и просить родственного душевного совета. Мудрость и любвеобильное тёплое чувство вашего императорского величества известны давно уже её высочеству, и на них прежде всего и больше всего светлейшая герцогиня рассчитывает, доводя до сведения вашего величества о своём настоящем положении... своих опасениях и принуждении сердца и чувства.

Произнося последние слова, камер-юнкер ещё раз поклонился. Настало молчание, которое государыня, погружившись в думу, не собиралась, казалось, прервать.

Балакирев сделал глазами знак камер-юнкеру, чтобы он удалился, но тот стоял словно не замечая ничего и как бы упорствуя в желании добиться личного ответа. Но его, как чувствовал чуткий слуга государыни, не могло последовать.

Прошло более четверти часа напряжённого смущения, становившегося для участников этой сцены с каждым мгновением более и более затруднительным. Иван решился покончить это неловкое положение, взял под руку посланца герцогини и повёл его к приёмной.

– Поди сюда, Иван! – раздался голос государыни, очевидно наблюдавшей, не быв видимою, за выражением на лицах посланца и своего верного слуги.

Балакирев ловко приподнял и опустил занавес, прежде чем глаза камер-юнкера могли что-либо увидеть, и предстал пред очи монархини, указавшей, чтобы он сел на табурет. Взгляд верного слуги в то же время дал понять, что посланец не вышел.

– Я передам потом мою волю, можешь идти, – молвила государыня докладчику герцогини, и он поспешил воротиться в приёмную.

– Я подозреваю, – начала вполголоса Екатерина, обращаясь к своему слуге, – что этому человеку наказано было передать не совсем то, что мы слышали?! Не можешь ли ты разузнать поближе, кто он таков и какие побуждения тут скрываются. Как он близок к племяннице и кто сватает ей жениха? Сделай это так, однако, чтобы никто не узнал, что я это хочу знать. После скажу, для чего это...

Балакирев поклонился и поцеловал милостиво протянутую монаршую руку.

Поручение, данное теперь Екатериною, выказывая полную её доверенность к нему, в то же время ставило его в такое положение, из которого, даже с помощью всей своей изворотливости, Иван не рассчитывал выйти с честью.

Оставив опочивальню государыни, Балакирев невольно замедлил шаг, задавая себе вопрос: с чего начать приступ к делу, чтобы не промахнуться?

Первая попалась ему навстречу Ильинична. Ей, недолго думая, и задал вопрос Иван Алексеевич:

– Авдотья Ильинична, есть у вас знакомые во дворах у князя Никиты Волконского или Бестужевых?

– Есть, конечно. Да кого тебе?

– Человека бы такого, который про митавское житьецо мусил.

– А что такое тебе требуется? Прямо говори.

– Да вот государыня велела узнать скорей: кто таков этот самый камер-юнкер, которого сейчас я представлял ей от царевны Анны Ивановны. И наша мать заприметила, что слова его будто с подвохом; да и мне сдавалось, как он заговорил, что, чего доброго, не то баёт, что наказано. Оно будет понятно, как дознаемся, что за птица такая. А птичка не простая, с полёту видна... и, может, не без закавык... Отвод глаз тоже смекает, не хуже кого другого. Всё, сдаётся, не впрямь, а вкось норовит... то же, да не так выговаривает... И на близких упирает, и жениха словно не хаёт, да нет-нет и проговорится, что, коли б отъехал ни с чем, разлюбезное дело бы было...

– Да ты, Ваня, может, сам не вслушавшись это говоришь, а может, оно в чём и иначе?.. Конечно... и то сказать... Вдова не стара, своя воля... Замужем будучи, хотя и немецкий человек, а всё муж... Сноровить ему нужно, мало ль что царевна... Да кого ж прислала-то Анна Ивановна... новый человек, что ль?

– Новый, кажись; такого не видал я при ней, как позапрошлый год была

здесь её высочество. Другие были, да набольший Пётр Бестужев; знаю... у него дом здесь... сыновья в службе... где-то посольства правят никак... А дочь-то, Аграфена Петровна, за князем Никитою Волконским; из себя такая здоровенная и далеко не глупа... в родню пошла свою; не в пример мужниной, простякам. Вот при этой самой барыньке нет ли у тебя кого из людей толковых, с ней живших в Митаве? Ведь помню, как в Ригу мы ездили, и в Митаве я был, она у отца в ту пору жила, и государыня её жаловать изволила.

– Знаем княгиню Аграфену Петровну, и она нас знает довольно... и у ней нужно прямо спросить. Когда же надоть это самое?

– Да чем скорее, тем лучше. Сегодня бы, к примеру сказать, вот бы скатала ты к княгине не откладывая да выпросила бы... истинно бы оказала мне родственную поддержку. И я бы тебе, что понадобится, ответить мог, коли что повелишь; да – можем...

– Почему не так, паря. Съезжу. Что сказал – не запомню. Только надоумь: какой бы предлог изобрести к ней явиться?.. Чтобы невдомёк... Наша не любит, чтобы прямо, без нужды, её назвать да упирать, что она сама велела узнать.

– Разумеется... так подъехать нужно, чтобы про того, о ком желается разузнать, помину не было. Да как не придумать; вот дай срок... потрянём мозгами... покалякаем потом; дай спровадить курляндца спервоначалу, из передней. Да, знаешь, вот сейчас ещё мне кое-что пришло в голову. Авось ловчее подведём турысы к кому следует – дай срок... Пovýдим мало-помалу окуньков попрежде у своего бережку...

И сам направился к затворённой двери в переднюю. Там сидел, уже без Дитрикса, камер-юнкер царевны Анны, и ему на ухо нашёптывал что-то Лакоста на своём ломаном жаргоне, мало понятном для непривычного уха.

От этого рода сообщений лицо камер-юнкера выражало страшное напряжение и любопытство.

Появление Балакирева прекратило повествование или внушения Лакосты, к явному его неудовольствию, так как ему пришлось не только

остановиться в начале рассказа, но и уйти по знаку Балакирева, указавшего ему на дверь, и он не успел предупредить Бирона, когда и где он может снова увидаться с ним.

Когда Лакоста исчез, Балакирев подошёл к двери, за которою тот скрылся, и внезапно распахнул её, думая, не притаился ли он тут же, для подслушивания. Затем Иван дошёл до другой двери, сквозь которую можно ещё было пройти на половину цесаревен, и запер её на ключ. Это же сделал, возвратившись к Бирону и с дверью из передней. Тогда, усадив его к окну и сам сев против него, он сказал весело, прямо смотря ему в глаза:

– Велено мне изготовить ответ государыне царевне Анне Ивановне. Напишите вы его так, как желали бы видеть решение её величества...

– И вы позволите? – почти вскрикнул камер-юнкер с особенным оживлением, показавшим всю неожиданность подобного предложения, на которое он не смел и рассчитывать.

Улыбка самодовольствия, прикрываемого полнейшим расположением, осветила умные черты Ивана Балакирева. Он надеялся, что из ответа камер-юнкера видно будет, чего тот желает: если в письме его окажется разница с тем, что он говорил императрице, то истинные цели его легко можно угадать. Бирону, конечно, такое предложение не могло представляться подобного рода испытанием его мыслей. Камер-юнкер, ничего не подозревая, просто отнёс это поручение к желанию Балакирева получить с него хорошую взятку, как дельвали обыкновенно с немцами. И он сам в подобном положении ничего не сделал бы без тяжеловесной благодарности. Мало того, у Бирона, вслед за возбуждением предательской радости, родилось ещё желание поторговаться с простяком, прежде чем отсчитать ему червонцы. При этом, думал он, следует пустить в ход в свою очередь и изумление как бы, если напомнит слуга царицын о взносе. А затем уже, идя на уступки, думал камер-юнкер, мы рассыплемся в уверении, что поступили подобным образом только из желания услужить государыне. Он, вероятно, получив поручение составить ответ, недостаточно к нему

подготовлен? Тогда, понятно, самая работа наша могла сделаться для него источником хлопот, затруднений и ещё риска, пожалуй, – заслужить немилость неудачною стряпнёю?

– Я напишу вам как можно проще, – молвил Бирон. – Но не беспокойтесь, я постараюсь всё так обстоятельно изложить, что впасть в ошибку при переписке вам решительно будет нельзя.

Говоря с таким апломбом, Бирон смотрел на Балакирева, конечно, свысока. А тот из тона сказанного ещё больше убеждался в ограниченности его ума.

– Очень буду благодарен. Конечно, где же понять мне, новому человеку все посольские извороты вашей немецкой речи? Только, господин камер-юнкер, об одном смею просить, поторопиться. Чего доброго, завтра потребуют и что я тогда?. Конечно, помню я кое-что из ваших слов и в случае крайности что-нибудь написать могу, но коли бы вы сами – дело бы чище и лучше вышло.

– Может ли быть какое сравнение между работою вашей и человека, как я, выросшего между дипломатами? – прихвастнул Бирон и смерил надменным взглядом слугу царицы. Тот, в свою очередь, тоже смотрел на него, прищурившись и с усилием удерживаясь от смеха.

"Сём-ка, – думает Иван, – запустить разве ему ещё загогулину, да пощупать с той стороны, которая ещё больше на руку нам... Авось и того не разберёт"? Помолчал-помолчал, да и брякнул:

– А что, смею спросить, вы, батюшка, имеете надёжного приятеля или родственника при дворе царевны Анны Ивановны, кто бы вас уведомить мог или поддержать, при случае когда вороги станут пытаться вас оттереть?

Бирон вздрогнул невольно при этом напоминании и вытаращил на Балакирева свои большие глаза, как бы желая на лице его вычитать: как он успел проникнуть в тайну души его. А именно – заговорить о принятии мер для предотвращения опасности, могшей последовать, пока его нет в Митаве. Не далее как идя во дворец, Бирон поверял Дитрихсу свои опасения, чтобы Бестужеву не удалось теперь подставить ему ножку. Не

отвечая на вопрос Балакирева, приведённый в смятение им, Бирон продолжал смотреть на Ивана со страхом, похожим на суеверный ужас человека, верящего в колдовство, при рассказе о действиях оборотней.

Заметив ужас на лице камер-юнкера, Балакирев понял, что недалёкий хвастун действительно теперь находится в случае и боится сильных врагов. "С этой стороны для нас довольно, – решил про себя Ваня. – Попробуем-ка узнать, каков его случай". И, помолчав ещё, Ваня начал разговор как бы сам с собою, вслух, забывшись...

– Царевна Анна Ивановна – государыня взыскательная. На неё трудно потрафить... И то не так, и другое не ладно. Иное дело как особа величественная и умом, и станом, и сладкою речью довольна, и повадки самые важные, и нравом угодить успели... тогда, разумеется, отсутствие заметно... Слушать других скучнее бывает; не в лад они и слово молвят... Приятства такого нет. Сравнение само собою придёт в мысли: этот и этот наскучат, такого-то приятнее нам видеть и послушать отраднo... и вздохнётся, как ещё нет налицо... С тоски без него пропадёшь... скажет сама с собою, да и напишет: будь скорее!

Говоря эти слова, Ваня посматривал искоса, неприметно, на лицо молчаливого Бирона, то вспыхивавшее ярким румянцем, то терявшее краску. Такая же перемена была заметна и в глазах его, которые то тускнели, то сверкали при проявлении румянца. Уста Бирона начали наконец раскрываться сами собою, как бы порываясь заговорить, но он не знал с чего начать разговор. Заметив это, Балакирев предупредил его вопросом:

– А смею спросить, вы долго думаете у нас пробывать?

Новое смятение на лице камер-юнкера и несвязный ответ:

– Долго, я думаю... хотел бы монархине вашей удосужиться представить мою преданность. Где ни служить – всё равно, не правда ли? Лишь бы ценили преданность. Скажите... прошу только быть искренним, обращаясь к вам как друг: у вас ничего не слышно о какой-либо партии... которую намерена сделать её величество?.. Наша герцогиня, знаете, воли не имеет ни в чём. За нею сотни глаз... А ваша... сама

повелительница своих действий. Благообразна и не в таких летах, чтобы не могла увлечься... поручиться, сами знаете, трудно!

– Её высочество герцогиня Анна Ивановна ещё моложе... десять лет, сударь мой, не шутка! У её величества свадьба дочери на руках... Другая – впереди... Вдовство недавнее ещё. Так что не трудно вам ответить, что у нас ничего не слышно, да и трудно слышать. Ничего, правду сказать, и не замечаем. А набирать разве могут во двор к герцогу Голштинскому? Там немцы всеконечно... и вам нужно бы пристроиться... да только там своих – пруд пруди!.. и уже, кажись, набрали едва ли не полный комплект. Да вам незачем покуда и переменять, полагать надо, службу? Где вы вдруг удостоитесь такой великой поверенности? Прошлого расположение воротить – в случае даже утраты – легче, чем приобретать новое.

Ещё раз вздрогнул Бирон при метком намёке Балакирева, и Ваня решил в уме своём, что пытаться его покуда нечего. Подробности ничего не прибавят к главному, а оно им отгадано! Насчёт же того, что намерен человек предпринять, – даст ответ немецкая отповедь его царевне для переписки по-русски!

Посидев ещё несколько минут молча, смотря в окошко и бросая на кось взгляды на Бирона (крепко озадаченного всем услышанным от царицына слуги), Ваня встал и извинился, что ему пора идти к государыне за приказаниями.

Бирон очень сочувственно, если не сказать даже с подобострастием, пожал руку Балакирева.

Теперь он вырос для него до чудовищных размеров, и камер-юнкер стал соображать, нельзя ли будет заручиться дальнейшим содействием Ивана. В предложении его написать ответ герцогине Курляндской он видел личное сочувствие Балакирева, которым должно было пользоваться не теряя времени. Теперь дело стояло, так сказать, за ним самим.

– Чем скорее принесётся ответ, тем лучше! – сказал он. – Это не ослаблять следует, а усиливать, чтобы получить поддержку. – И эти две мысли, заменяясь одна другою, заняли вполне ум вышедшего из дворца

камер-юнкера.

IV ШПИОНЫ

Балакирев, выпроводив Бирона, пришёл в комнату Ильиничны.

Её не было, но голос её слышался где-то по соседству, то прерываясь и переходя в полушёпот, то возвышаясь и принимая тон горячего оживления.

Иван вслушивается в эту трескотню внимательнее, и ему удаётся отличить нередкое повторение своего имени.

"К чему бы такому я понадобился Авдотье Ильиничне? – думает он. – И с кем это она перемывает косточки, поминая, никак, меня, грешного? – Говор приметно близится, и вот уже яснее слышна, от слова до слова, частая речь Ильиничны – Это с Анисьей Кирилловной", – прошептал, отличив другой голос, Ваня.

– Не говори мне больше про этого тихоню! – кричит Ильинична – Воды не замутит, а сводки сводить – куда горазд. Всё слушает, молчит, что истукан какой... дурака корчит, а сам себе на уме. Всё переводит. Да про кого ещё и кому? Про матушку нашу паскудным тварям... всё ехидство своё – аль не видишь? – не оставляют. Только с другой стороны вести принялись подкопы под нас... только бы им оттереть нас, чтобы самим в руки забрать и её, и вас всех. А вы, глупенькие, и в толк взять не хотите, что сегодня нас ототрут, завтра – вас! А послезавтра своих наставят и начнут творить всё, что им угодно. А вы уши развесили, что это Иродово племя, шут непутный, на меня вам с умыслом околесицу несёт. Что ему стоит из своей чёртовой головищи выбрать что ни есть попричиннее клевету. Не в том сила, чтобы её доказать, а чтобы сомнение навести да грязью своей замарать. А сам он предатель ведомый. Монса предал, Балакирева предал. Матушку продал... Светлейшего продал. Везде, пролаз, путь нашёл! Нет уж, не хочу ничего больше ждать. Сама пойду к Андрею Ивановичу и слёзно буду молить, чтоб шуту проклятому язычишко поганый повытянул да поукоротил, чтобы он...

– О чём вы кричите так, паскудные бабы? Я только задремала... так нет

чтобы дать мне покой – принялись орать. Я вас ужю! – раздался гневный окрик государыни.

– Ваше величество, не осмелилась бы я возвысить голоса, коли бы дело шло про мои делишки, а то – отпусти, государыня матушка, вину мою невольную – по горячности, что не выдержала, высказала Анисье Кирилловне правду-матку насчёт дела вашего береженья... Тут паскудный Лакоста, предатель, взводит на ваших верных слуг заведомые лжи, с тем чтобы прикрывать своё воровство. Попался он мне не пять, не десять раз, в подслушиванье того, что говорите у себя. Выслушивает это всё и передаёт, мерзавец, Чернышихе, что под тебя, государыня, сами вы известны, как в недавнее время, при покойнике, подрывалась и клеветы возносила. И направила она, пакостница, с Ягужинским Павлушкой, донос на Монса несчастного... А вы, государыня, досель эту пакость терпите и жалуете и извести не повелите такую гадину, как шут, например... А Анисья Кирилловна его словам веру даёт и мне выговаривает, зачем, дескать, неладно молвила. Коли я, государыня, не токмо ничего не молвила, а, просто сказать, вот те Христос, и во сне не грезила, что он, лгун, на меня взводит. А причина известная: надо ему что ни на есть измыслить, из боязни, что я терпеть не буду, а выскажу, как ловлю его на шпионстве. Притаится, гадина, в тёмном углу, за дверью; и не видно его, а он целые часы простоять может и всё выслушивает, что ваше величество у себя...

– Замолчи... довольно! Анисья Кирилловна, не мешайся не в своё дело. А с Лакостой я велю расправиться Ушакову: пусть допытается, для кого он за нами шпионит. Тут кроются скверности! И если обнаружатся какие-нибудь из твоих свойственников, Анисья Кирилловна, я подумаю, что и ты с ними заодно, коли заступаешься за шпиона.

Гнев государыни проявился теперь в такой силе, что Анисья Кирилловна хотела уйти, давая державному гневу уходить. Вышло противное: гнев Екатерины I получил новую пищу, переменяв направление. В уме государыни возникло мгновенное подозрение, что девица Толстая, преданность которой ей была уже давно вполне известна, уходит, чтобы

предупредить сторонников о предстоящем допросе Лакосты. Государыня сильным движением руки остановила свою любимую спутницу в разъездах и постоянного секретаря, едва произнеся в ярости:

– Куда? Шашни, видно, раскрываются? Так надо дать знать, что я велю за шута приняться!

Анисья Кирилловна опустилась на колени и зарыдала от обиды. Горе в эту минуту заставило девицу Толстую всё забыть, предавшись неудержимой скорби. Слезы на Екатерину Алексеевну всегда производили сильное действие, и этот поток слёз с громким всхлипываньем скорее, чем можно было ожидать по силе гнева, переменил его на милость и даже – чуть не на нежность к старому другу. Государыня положила обе руки свои на плечи Анисьи Кирилловны и сама склонила голову к плечу её, успокаивая её.

Не скоро, однако, успокоилась и при таком искреннем проявлении сочувствия девица Толстая. А успокоившись, она прежде всего высказала, что хотела уйти, заметив гнев её величества, не считая своевременным оправдываться и думая выждать время в своей комнате.

– Вы знаете, дальше вашего дома мне и уходить некуда, – закончила она свою речь, целуя милостиво протянутую ей руку монархини.

– Однако согласись, Анисья Кирилловна, – оправдывая свой справедливый пыл, спокойно теперь говорила государыня, – не могу же я быть хладнокровной, услышав такие вещи от Ильиничны!.. И ты, и она, я знаю, мне одинаково преданы. За эту преданность я и спускаю Ильиничне подчас и дерзкие слова. Любовь ко мне, как и теперь, заставляет её высказывать, что я, по рассеянности и доброте своей, не замечаю врагов, а они не унимаются, все шипят втихомолку. Клеветы плетут... подмётные письма пускают в народ... Подслушивать без дела ведь не станет же человек? И где подслушивать?.. Что у меня делается и говорится?! Лгун Лакоста всегда был ... клеветал мне на женщин моих... на Ильиничну особенно, не раз... сколько я помню. Да и на тебя доводил мне, кажись, что ты бываешь у Петра Андреича и там судишь да рядишь, как я обращаюсь со внуком ... что не люблю я его и хотела бы извести.

Так после таких наветов, которым я не верила и не верю, разумеется, как же ты придаёшь какую бы то ни было веру словам этого мерзавца на Ильиничну?

– Я, государыня, Авдотью Ильиничну только предупреждала, что неладное взводит на неё шут. Что он подслушивает, и я, государыня, заприметила не раз. Да и сегодня ещё, ваше величество, как вам докладывал Иван Балакирев про посланца Анны Ивановны, а тот один сидел в передней уже без Дитрикса, – откуда ни возмись этот самый Лакоста; подсел к курляндцу – и ну шушукать. Пришёл Иван и прогнал мерзавца. Да и дверь запер вторую – к цесаревнам на половину. Увидевши это самое, я стала говорить Авдотье Ильиничне, как этот шут теперь повадился к нам шмыгать. И откуда он, говорю, возьмётся... вдруг, должно быть, подслушивает – забирается в тёмное место али в шкаф. Ну где его найдёшь?.. Ведь притаится, проклятый, говорю. Вот ономясь меня завидел – должно полагать, собирался подслушивать, – да я его окликнула, с лестницы он спускался потихонько. Он ко мне: начал наговаривать на тебя, Авдотья Ильинична, то и то доводить... А она, не вслушавшись, что говорю по дружбе, а не в перевод, учала мне укоризны делать... что я её выдаю будто... что она не такая... Ну и распелась не по разуму. А ваше величество тут и крикнули на нас.

– Прости же меня, матушка Анисья Кирилловна! Сама плачу, что между нас притча такая случилась из-за проклятого шута, – сквозь слёзы ответила из коридорчика Ильинична и, не дожидаясь результата своих слов, вбежала в опочивальню государыни и рухнулась в ноги перед Анисьей Кирилловной, как-то особенно быстро и неотразимо. Ещё быстрее вскочила Ильинична и поверглась в ноги перед государынею, милостиво положившей ей руку на плечо со словами:

– Ну ладно, прощаю... Не кричи только так. Помиритесь с Анисьей Кирилловной.

Поцеловать руку государыни и наброситься с поцелуями на Толстую было для Ильиничны делом одного мгновения. За этим действием, разумеется, последовала успокоительная развязка сцены, обещавшей

поначалу грозный характер. Как единственный результат возникшей было кутерьмы из-за шпионства шута, последовало, однако, повеление государыни призванному в опочивальню Ивану Балакиреву сходить к Андрею Ивановичу Ушакову и передать волю её величества, чтобы допросить шута Лакосту и разузнать доподлинно, для кого он шпионит. Приказ этот, заметим, отдан был Ивану государынею после того, как она отпустила от себя примирённых соперниц – Ильиничну и Кирилловну. Слезы последней, без сомнения, тронули Екатерину I и по-прежнему расположили было к ней, но припоминание слов того же Лакосты снова, по уходе старого друга, возбудило не изгладившееся совсем подозрение. "Ведь Толстые все люди тонкие! Анисья Кирилловна не выродок же в семье... Слезы у неё, чего доброго, явились и не без цели – дать другое направление мыслям моим о ней... – думала теперь государыня. – Ведь я остановила её на бегу? Мало ли что будет она мне рассказывать в оправдание! Может, оттого долго и рюмила, что не знала что отвечать, пока не придумала. Постой, постой, и ещё припоминаю... Ильинична говорила, что застала у неё утром сегодня Петра Андреича, как и накануне. Когда обморок со мной случился за панихидой! Баба моя говорила, кажись, что Толстой выпрашивал: что и как это со мной было?"

– Иван! – раздался призыв государыни.

Балакирев мгновенно вырос в дверях опочивальни.

– Подойди ко мне ближе и давай своё ухо! – молвила государыня шёпотом. Длинный Балакирев стал на колени и приблизил ухо к лицу монархини, готовясь внимать наказу, произносимому ему тихим шёпотом на ухо:

– Поди к Ушакову и скажи, что я велела ему взять Лакосту и допросить обстоятельно о его шашнях. Разузнать: где он бывает и у кого? Пристрастить шута позволяю... только не очень... Он трус и всё с одного страха выболтает! Ты расскажи сам что знаешь и заметил про него. Слушай же: теперь... сейчас иди... вели Андрею Иванычу принять меры не мешкая. И всё, что скажет и как он тебе показался, передай мне

обстоятельно... Да, ещё забыла... Спроси Андрея, что он думает насчёт Павла Ивановича, каков он ему кажется, и насчёт Петра Андреича. И пусть мне завтра всё отапортует, что узнает. А если ещё кого нужно будет ему взять к допросу... пусть... Мы позволяем – скажи! А сам приходи от Ушакова прямо к нам.

– Слушаю, ваше величество: исполню в точности, – молвил Иван, подымаясь на ноги.

Когда он исчез за дверью в сени, с половины царевны тихонько отворилась дверь мадамой Ла-Ну, гувернанткой их высочеств. Её – верную союзницу свою, ссужаемую деньгами по первому востребованию, – Лакоста, прогнанный Балакиревым, послал разведать на половине её величества у кого можно будет, что слышно. Сам он не смел показаться на глаза Балакиреву и ожидал, что может последовать какая-нибудь вспышка, если зародилось на его счёт подозрение. А уже прямым подозрением, и ничем другим, объяснял он окрик Балакирева и то, что он прогнал его и запер двери. Промежуток времени между удалением своим и присылкою Ла-Ну (француженки, служившей орудием Лакосты) он употребил на посвящение дамы в подробности возлагаемого им на неё экстраординарного поручения. Преданной себе считал шут на половине её величества только судницу, бабу Матрёну. Она любила зашибаться хмельком, и за мелкие подачки на выпивку готова была на всё – даже на кражу, если бы потребовал щедрый плательщик. В её комнате Лакоста по вечерам устраивал в потёмочках надёжное дежурство своё, или за печкою в коридоре, за ковром, повешенным наискось, – перед выходною дверью. Одна половина этого ковра, по пути следования по коридору входящих и выходящих, разумеется, поднималась и опускалась; а другая половина, за печкою, в углублении, оставалась в покое, за ненужностью её отдёргивать. За завесой и скрывался Лакоста, как в самом удобном пункте наблюдений. Он не только слышал здесь всё, что говорится в трёх комнатах апартаментов её величества, но и то, что происходило в коридоре и на лестнице. Ему оттуда долетали даже, при тонком слухе, развитом постоянным напряжением этого органа, – звуки и

сверху, с антресолей над вторым этажом, где жила Анисья Кирилловна Толстая. Её, как особы расположенной по внушению графа Петра Андреевича Толстого в свою пользу, Лакоста, конечно, не боялся, и в бытность у него кабинет-секретаря Макарова или княгини Меншиковой даже проходил в соседнее с ней помещение, где был тёмный уголок за шкафами. Не терпел он только Ильиничны, и боялся её рысьих глазок, открывавших не раз его подход таким образом, что нельзя было и уйти незаметно. Заметив наблюдателя, Ильинична ограничивалась только угрозой перстом; но это движение бросало в лихорадку осторожного Лакосту, и долго не приходил он в себя после каждого такого жеста Ильиничны. Она его инстинктивно ненавидела, как и он её, взаимно.

После сцены с девицей Толстой Авдотья Ильинична ещё более усилила бы своё нерасположение к шуту, если бы оно могло у неё увеличиваться. Но и без того уже раздражение на шута достигло в ней крайних пределов. При таком состоянии у ненавидящей особы пробуждается даже своего рода ясновидение, и оно помогает отгадывать иногда людей противной партии по самому незаметному для других признаку.

В то мгновение, как мадам Ла-Ну проходила коридором к суднице Матрёне – за справкою о положении дел шута, – она столкнулась лицом к лицу с Ильиничной, спускавшейся с лестницы, идя от себя. У лестницы было в коридоре окошко на двор, дававшее достаточно света и, заметим, единственное во всём коридоре. Ла-Ну, для отвода подозрений, держала в руке выпяленные уже прошивки гладью, порядочно загрязнённые во время вышиванья в пяльцах. Предлог – отдать их выстирать Матрёне – был очень благовидный и не мог, казалось бы, возбудить никакого подозрения. На беду посланницы Лакосты, шут в виде любезности возвратил мадам Ла-Ну её перстень, который был у него давно в закладе и который она не могла выкупить. Она даже отказывалась от своей любимой вещицы, заложенной лет пять назад беспутным её супругом. Считая перстень своим, Лакоста, любивший украшать свои худые пальцы кольцами с алмазами, часто носил и вещицу, теперь переданную владелице для побуждения её к большему усердию выполнить его

поручение. Страшно памятливая и пронизательная едва ли не больше самого Лакосты, Ильинична, года за два, через третьи руки приторговывала у шута перстень Ла-Ну. Теперь, увидя его на её руке, Ильинична по перстню мгновенно поняла, что гувернантка – одно из орудий шута. Конечно, первая мысль при взгляде на перстень была ещё тёмное подозрение; но для такой личности, как Ильинична, этого оказалось достаточно, чтобы немедля решить наблюдать за гувернанткой. Та мелькнула в уголок к Матрёне, а Ильинична обошла с другой стороны, чрез гардероб её величества, к самой перегородке, отделявшей помещение судницы от коридорчика, и спустя две минуты лицо мамы цесаревен осветила зловещая улыбка. Она уже обладала новой нитью сношений Лакосты с государыниной половины. Шорох по ковру не был слышен, и подход Ильиничны нисколько не нарушал царствовавшей здесь тишины, в которой отчётливо отдавались слова, произнесённые шёпотом двумя женщинами.

– Так нитшево после крика и не было?

– Ничего... разошлись и помирились оба врага, – разумеется, для вида... Каждая осталась при своём. Готовы опять, при случае, уколоть друг друга и наябедничать.

– А про... ничево?..

– Ильинична кричала, что пора его схватить и допросить.

– Н-ню? А на гетто ште-тя?

– Анисья Кирилловна подтвердила, что видала Петра Ивановича сегодня, и Балакирев его, говорит, прогнал на вашу, значит, половину.

– А после ештё?

– Разошлись, говорю... и ничего кажись.

– А кута Ивван пошшёл?

– Не знаю. И не видала, сударыня ты моя!

– Слушай... Матрёнишка. Ем-му после эттафа не скоро мошно стесь покайзайтсья... Ти би постлютчифала... и ффетшерком... скотил ты к Павлю Иванитшю или на Афтоця Ифановна... Понимить... Т-там татуть... типе... тостатосне...

– Почему не так? – ответила покладная Матрёна, представляя для себя не без удовольствия открытие нового источника поживы.

Как ни сдерживалась Ильинична, но это неожиданное открытие взорвало её окончательно, и она брякнула нарочно тазом, чтобы перервать беседу и спугнуть райскую птичку, проповедующую так удачно о шпионничанье и его целях.

При раздавшемся ударе по тазу французенка, положив свою вышивку, поспешно отретировалась, считая себя по совести исполнившею посольство и добившеюся надлежащего результата.

– А-а!.. – выйдя из своего тайника и смотря вслед уходившей французенки, молвила Ильинична. – Матрёнку нужно прямо вон.

Послушаем другого посланного и его сообщения Андрею Ивановичу, повеселевшему при появлении Балакирева в своей рабочей комнате. Туда слугу государыни – заранее был отдан приказ – пускать без доклада.

– Добро пожаловать... Наконец-то! Ну как здоров? Садись-ко рядом со мной да поговорим ладком. Иванушка! Да и каким молодцом, братец ты мой, в нашем мундире! Ведь ты знаешь, что находишься прапорщиком в моей роте?! Коли бы ты другую службу нёс, мне бы пришлось пожурить за неявку к командиру, а тебе, знаю, не до того. Ну, рассказывай, что там у вас?

– Да скверное дело, Андрей Иванович, завёлся мерзавец-шпион... у нас! Чёрт его знает, для кого и для чего? Лакоста! Всюду втирается... Торчит непременно, где только есть уголок. Государыня приказала вам сказать, чтобы вы его забрали да допросились в досталь, кому это он шпионит? Ведь подслушивает, что творится в опочивальне, что там говорит кто... Да ещё наклепил на Авдотью Ильиничну Анисье Кирилловне, и промежду их распря произошла... и государыня было разгневалась, да всё кончилось благополучно.

– Ну, брат, что Лакоста шпион – ты мне говоришь не новость... И кому он шпионит – я тоже знаю. Нужно бы прихватить, убравши слугу покорнейшего, и господ почтенных... Тогда мир и спокойствие будут

полные, а без того что пользы, что похлещу я старого пса, или почешут ему там, где он не желал бы?! Дела останутся по-старому, коли не прихватить кой-кого выше...

– Да, на этот счёт, Андрей Иванович, государыня приказала вам сказать – полная мочь вам даётся... Коли кого потребуется, говорила её величество про вас, может он взять, и мы... соизволяем...

– Этак, дружок, будет поладнее. Тут можно поусердствовать, и его превосходительство Павла Иваныча попросить пожить на новой квартире. Да чтобы не скучно ему было в уединении, можно и даму пригласить... побыть по соседству... Нужно, однако, на это письменный указик! Тогда наш брат явится и поосведомится: как спали-ночевали да что во сне не видали ль?

– Её величество повелела мне всё донести: как и что вы намерены предпринять во исполнение переданной мною высочайшей воли; и чтобы вы завтра отрапортовали сами, что сделаете.

– Да коли действовать, голубчик, до завтра долго ждать. Нам нужно получить указец сегодня бы. Тогда не теряя времени, как мы со светлейшим, к примеру сказать, накрыли сторонников царевича, – Андрей дремать не станет! А если указа не даст её величество, пусть нашего брата в генерал-адъютанты свои пожалует, и словесные приказания, не глядя на лицо, исполнять будем. А до того нельзя нашему брату руки далеко запускать: есть, братец, особы, до которых сам коснуться покуда не могу – руки не доросли, хоть бы сильно хотелось...

– Так и прикажете донести?

– Конечно, так. Да ты погоди мало-малю. Я черкну кое-что, да вместе с тобой и пойдём, пожалуй. Да и дальше я тебя с собой же возьму, как являться стану на свиданье к милым друзьям нашим.

Произнеся эти слова, Андрей Иванович Ушаков принялся писать. Воцарилось гробовое молчание. Генерал писал, потирая по временам лоб. Потом он, перечитав написанное, начинал строчить ещё поспешнее. Наконец кончил; засыпал песочком; вложил написанное в сумочку, и через минуту уже оба они, Ушаков и Балакирев шли к Зимнему дворцу по

набережной.

Рысьи глаза Андрея Ивановича увидели издали человека, выбежавшего из-за угла дворца, с канала, на Неву и направившегося к спуску на лёд.

– Стой! – крикнул Андрей Иванович этому человеку и бросился бежать за ним.

Балакирев последовал за генералом. Сделав шагов тридцать, они увидели, что удалявшийся вначале как будто остановился и нагнулся, должно быть, наклонив голову, так что из-за епанчи стало не видно шляпы.

– Остановись! – крикнул ещё раз Андрей Иванович и, опередив Балакирева, схватил за плащ остановленного его приказом.

– Тебя и надо! – весело сказал Ушаков, поворотив как перо человека в плаще к себе лицом. Это был Лакоста, очевидно направлявшийся на Васильевский остров. – Пойдём куда с нами, назад! – сказал генерал растерявшемуся шуту совершенно дружески. – На пару слов...

Глазами показал Андрей Иванович Балакиреву, чтобы он пошёл сзади, а сам, взяв за руку Лакосту, двинулся с ним в паре рядом. Войдя на дворцовый двор, генерал привёл шута в караульню и велел берейтору отвести Лакосту в свой дом, не позволяя ему ни с кем говорить по дороге.

Отдав этот приказ и посмотрев вслед Лакосте, удалявшемуся с ефрейтором, Андрей Иванович направился с Балакиревым во дворец, на половину её величества.

У НА СЛЕДУ

Авдотья Ильинична Клементьева, в полном придворном трауре, подъехала к дому князя Никиты Волконского и, выйдя из саней, поднялась на крылечко.

Каменный дом Волконских построен был на Неву, между 9-й и 10-й линиями Васильевского острова, общею складчиною отца и матери княгини Аграфены Петровны, в подспорье не особенно значительному зятнину достатку. Строить же велено было князю Никите, когда, злобствуя на Петра Михайловича Бестужева, светлейший князь велел

внести зятя по первой статье. Официальная справка о поместных дворах 7188 лета показывала 1002 двора (вместо 602-х), а после 1716 года за отцом князя Никиты Волконского и пятидесяти дворов не было, потому что в пожары 1708 и 1715 годов сгорело 14 его усадеб, причём уничтожено больше семисот крестьянских дворов. Стало быть, в наличности всего ничего. Против справки однако же не сговоришь; под ответ можно попасть и под опалу, пока выяснится неправильность дьячьей выписки. Да и князь Никита был не из горластых, а о деловитости и говорить нечего. Вечный собутыльник генерал-адмирала, он ему, разумеется, пожаловался на безвременье, да тем всё и кончилось. Граф Фёдор Матвеевич Апраксин не только словесно выразил соболезнование, но и съездил к светлейшему представить подлинное положение состояний Волконского. Меньшиков якобы и впрямь расчувствовался, обещал поправить дело и побранить дьяка Щукина за неподходящую справку. Да на обещанье и отъехал себе.

Дело ни на йоту не изменилось, и требования – строить – следовали одни за другими, всё настоятельнее. Отписал князь Никита к тестю с слёзным молением о помощи, тот и приказал приказчику своему запрячь кирпичу, навозить камней (на фундамент) и нанять рабочих на его счёт со всеми проторями. Так зятю тесть и вывел каменный домик на славу.

Ясно, что дело князя Никиты, человека незаменимого за бутылкою, при графе Фёдоре Матвеевиче устроилось и относительно дома, как и во всех других случаях, только благодаря тому, что супруга его, Аграфена Петровна, дочь умных родителей, и сама была умница из умниц. Отец её, Бестужев, изобрёл себе в отличку ещё особое, якобы иностранное прозвание – Рюмина, желая при дворе казаться европейцем. Мать, русачка, у такого сожителя была безгласное орудие высокомерных планов, хотя не лишена была ни природной сметливости, ни дальновидности. И дети – дочь и два сына – умниками выросли в отца, а осторожностью в мать. Аграфена Петровна особенно была, в отца и брата Алешеньку, сладкоглаголива и вкрадчива. Она к кому угодно в душу

влезет, дайте только доступ – речь завести.

Силу этой добродетели испытала на себе в этот вечер сама хитрячка не последняя и сладкоговорка не из заурядных – Авдотья Ильинична Клементьева. За язычок свой да за размазыванье и расписыванье живыми красками якобы дела важного – пустяков, Авдотья Ильинична и в баронши попала из коровниц; стало быть, по части сладких разговоров баба-дока. Да и та в присутствии Аграфены Петровны оказывалась ученицей пред профессором.

Аграфена Петровна умела понять, что каждому приятно, и в приём этого лица, до разговора ещё, распорядилась так, что уже с первого шага в её доме принимаемая особа чувствовала себя чуть не на седьмом небе. Вот хоть бы и приём Авдотьи Ильиничны, помешанной на честолюбии, оказывался образцом дипломатической сообразительности княгини Волконской.

У русских баров долго вёлся азиатский обычай не вдруг допускать до себя гостей неожиданных или не приглашённых. Такие гости, хотя бы и равные рангом, подъезжая к дому, засылали слуг, чтобы узнать: дома ли, примут ли, да как ещё примут? Трактация об этом растягивалась самое меньшее на полчаса. У княгини Аграфены Петровны наказы прислуге давались раз навсегда, и прислуга не сбивалась ни в чём. Зная слабость самопревозношения Авдотьи Ильиничны, для неё был церемониал у княгини Волконской самый блистательный. Главные двери на парадную лестницу – настезь, и вести двум лакеям бережно, под руки, чтоб не споткнулась. Третий, дежуривший у входа, казачок, завидя остановившиеся сани и позвонив вводителям – принимать, полетел к боярыне. И она сама уже вышла в светлицу встречать Ильиничну, пока с неё снимали шубейку.

Вышла, приняла в объятия, ввела к себе, расцеловала и посадила против себя. Неприметно мигнула – и поднос несут с наливками да с заедками (dessert). Как тут не растаять Ильиничне и не почувствовать себя столбовою боярынею?

– Свет ты наш, княгиня Аграфена Петровна, – начала приведённая в

восторг гостя, – что так давно не изволила жаловать к нам, сиротинам? Легко ль, шестой день никак севодни! Уж так-то я встосковалась, что и сказать нельзя. Переждала утро, вижу – нет как нет, к вечеру и поплелась. Первое дело, сон видела, кажись так себе, не дурной, может, да очень занятый. Вот уж расскажу... Ваша милость, слышали мы, мастерица сны толковать. А другое дело – и новенькое есть кое-что... вам, княгиня моя милостивая, надо ведать про то...

– Ну, начинай же... хоша со сна, хоша про новости, – вымолвила княгиня будто безучастно. А в самом деле сгорая нетерпением от предположения, верного в основе, что прибыла Ильинична никак не даром.

– У нашей матушки севодни уявилось посольство одно, да довольно загадочное.

Тут она рассказала эпизод Бирона и его речи, бывшие надвое, будто бы без цели.

– Бирона как не знать, – выслушав донесение Ильиничны, высказала княгиня Аграфена Петровна. – И что ему не по нутру должны показаться делаемые предложения царевне, тоже в порядке вещей. Он ведь женат для прикрытия. Самое лучшее, если бы всемилостивейшая государыня отписала племяннице: я тебе устроить своё счастье с Морицем Саксонским не думаю препятствовать. Это было бы самое разумное и вполне справедливое решение, желательность которого самой царевной очевидна. А что Бирон высказывает свои взгляды несогласные, – в его сторону нечего заглядывать. Да и здесь его незачем приглубивать. Как в Митаве всех он ссорит, так и здесь постарается. Иначе ему нечего и делать.

– Я тоже, матушка княгиня, сама смекала, что так следует нашей поступить. Сумеет внушить, как и что. Да и ты, княгиня дорогая, не оставь своим посещением нашу половину.

На этом кончились речи о политике. Начались усердные возлияния со стороны Ильиничны и ублаживанья княгинею-хозяйкою, скоро доведшие гостью до крепкого сна. Уложив её, княгиня принялась писать об узнанном отцу, и к утру уже уехал посланный с письмом.

Ильинична действует у княгини Волконской, а в комнатах её величества идёт трагикомедия.

Андрей Иванович Ушаков, явившись по призыву, прежде всего бросился на колена пред государынею и прикинулся совсем погибающим человеком. Он с трепетом чуть выговаривал от волнения, представляя необходимость для него высочайшей поддержки.

– За Лакостою, мать наша, стоит целая толпа ваших врагов. Прежде чем приказать его пристрастить, осмелюсь просить: дайте указец взять кое-кого, других прочих, на первый случай... Пригласите цесаревну Елизавету Петровну и повелите контрасигнировать приказ, вашим величеством мне отданный...

– Да разве нельзя без этого, Андрей Иванович? Я тебе, батюшка, верю во всё и полагаюсь на тебя.

– Да, те-то, другие прочие, кому невыгодны будут мои у них хозяйничанья, словесному моему заявлению вашей воли воспротивятся. А приказ совсем иное: читай и повинуйся!

Императрица вздохнула. Она не любила крайностей и слова "арест" с минувшей осени не могла слышать без содрогания.

Видя на лице её величества колебание и холодность, Ушаков повторил просьбу о приглашении Елизаветы Петровны.

– Да зачем это? Кто такие могут быть ослушники?

– Первый – Павел Иванович! – брякнул, совсем неожиданно для её величества, Ушаков.

– Да разве его ты думаешь брать? – вымолвила монархиня, бледнея.

– Нельзя иначе, ваше величество. Он-то и есть корень зла! Могу поклясться вашему величеству, он главный предатель... С ним вместе Чернышёва, старого шута, с сожительницею прихватим да душегубца старинного же... Толстого.

– Нет, нет, нет!! – вскрикнула в ужасе государыня и замахала руками. – Помилуй, Андрей Иванович... все ведь возопиют на меня, скажут: если эти враги, кто же друзья?

– Как угодно вашему величеству... их не брать – напрасно и Лакосту

допрашивать. Он шпионит для них. А что они хотели бы смастерить – откроется разом, как только разрешите захватить да поспросить наедине, поодиночке. Авдотья Ивановна с перепугу не такое ещё признание учинит, как Балкша... тогда...

Ужас Екатерины I достиг высшей степени при этом напоминании.

Государыня закрыла глаза руками и чуть слышно произнесла:

– А если не они? Тогда что?

– Тогда я готов положить голову свою на плаху! – не задумался ответить с достоинством Ушаков, чувствуя, что из-под рук у него ускользает интересное дело.

– Если ты так уверяешь... пожалуй, согласна, – скрепясь и помалу приходя в себя, тихо и медленно проговорила государыня, прибавив: – Только ты их не очень притесняй... чтобы не плакались на меня...

– Я даю слово, государыня, бережно с ними обращаться, но не допросить нельзя и не пристрастить, чтобы правду выболтали – без того не обойдётся.

Государыня снова погрузилась в думу, и её величеством вновь овладела нерешимость. Добрая императрица представила себе, как на этих высокопоставленных особ должно подействовать самое взятие их в допрос.

На счастье Ушакова, случайно вошла сама цесаревна Елизавета Петровна, беззаботная, как птичка, с улыбкою на устах. Её высочество с горячим родственным приветом обратилась к государыне-матушке и села затем подле стола.

– Ты, душа моя, верно отгадываешь, когда есть в тебе надобность... сбиралась было послать за тобой, а ты и тут, – молвила ласково государыня.

– А что вам, мамаша, требуется?

– Её величеству угодно, – заговорил Ушаков. – чтобы ваше высочество изволили подписать два указа. – И он положил на стол свои бумаги.

– Да, мамаша, подписать? – переспросила цесаревна, взявшись за перо.

– Д-да, конечно... – ответила рассеянно монархиня, снова погружаясь в

свою думу.

Помолчав с минуту, государыня про себя произнесла:

– Но надо подумать, видишь...

Ушаков в это время уже брал подписанные бумаги.

– Так что же прикажете: не давать Андрею Ивановичу или... уничтожить?.. – в свою очередь спросила цесаревна.

– Ваше величество! – с жаром возразил Ушаков. – Уничтожить теперь указ – значит отдаться самим в руки ваших врагов. Я ваш усерднейший раб, готов пролить последнюю каплю крови моей, защищая интересы вашего величества, но все усилия мои будут бесплодны, если слово вашего величества остановит теперь дознание. Всякое промедление в настоящем случае увеличивает опасность, усиливая дерзость крамолы.

– Полно, полно, Андрей Иваныч, не пугай меня... Я, пожалуй, согласна, чтобы ты разузнал, как говоришь, все, только меньше шума и угроз, – спокойно произнесла государыня.

Ушаков поклонился и поспешил удалиться. Он уже мысленно рассчитывал шансы своей полной победы, взяв с гауптвахты половину караула и подведя его по набережной к дому Чернышёва. Темнота в окнах, однако, возбудила в разыскивателе подозрение.

– Никак улизнули, окаянные! – не выдержал Ушаков, рассмотрев закрытые изнутри ставни.

Войдя с командой на двор, Ушаков подошёл на свет к одноэтажному жилью и стал стучать в окно.

– Кто там? – раздался голос из запертых сеней.

– Которое крыльцо к его превосходительству? – спросил он, совсем изменив голос на какой-то рабский.

– Да на что тебе? Боярин с боярыней в Москву поднялись, ащо позавчера, с утра... дома-ста нетути ни души...

– А ты кто?

– Мы-ста дворники...

– А люди ещё где?

– Всех забрали с собой, бають, в обоз...

– Надолго, стало быть, уехали?

– Не знаем-ста, нам не докладывались.

Ясно – нечего и продолжать расспрос. Ушаков и тут не потерялся. Он мгновенно сообразил, что со двора Чернышёва есть калитка на двор Ягужинского, и пустился с отрядом своим искать эту калитку. Нашёл и понажал щеколду. Низкая дверь подалась без шума, и открылся вход на соседний двор. Окно рабочей комнаты хозяина было завешено ковром, но сбоку ковёр не доходил донизу, и узенькая полоса яркого света проходила наискось по двору.

– Слава Богу, здесь обретаться изволят! – весело выговорил про себя Андрей Иванович.

Взглядом генерал дал понять одному ефрейтору, где расставить людей у каждого из выходов. Другого ефрейтора с тремя гренадёрами Андрей Иванович взял с собою, найдя без труда впотьмах входную дверь в переднюю и отворив её без звука.

Здесь было пусто, но по ковру, в соседней комнате, расхаживал хозяин. Махнув ефрейтору (став на полосе света, в проёме двери, между петлями) ввести солдат, Андрей Иванович поднял ковёр и вырос перед Ягужинским.

– Как поживать изволите, Павел Иванович? – с злорадством приветствовал Ушаков.

Ягужинский поворотился и невольно попятился, увидев за разысквателем ещё ефрейтора.

– Добро пожаловать, Андрей Иваныч, – робко молвил хитрец... – С чем тебя поздравить прикажешь? – попробовал он задать вопрос каким-то не своим голосом, стараясь придать звукам исчезнувшую мгновенно твёрдость.

– Прежде всего с тем, голубчик, что вижу тебя на ногах и могу предложить недалёную прогулку.

– Да я никуда не выхожу. Вот новость! Что за шутки с больным? Видишь, показаться не могу в люди! – И Павел Иванович показал рукою на свежий шрам, перерезывавший щёку.

– Очень жаль... Впрочем, можно будет тебя и дома оставить, дав в кумпанью вот этого молодца. – Он указал на ефрейтора. – Скажи только, где твоя шпага?

– Да ты, Андрей, как я вижу, принимаешься шутки неладные шутить? Какой чёрт позволил тебе проделывать со мной издёвки?! Забыл разве, что я генерал-адъютант и сам могу таких, как ты, генерал-майоров, отправлять под арест!

– Когда на то есть высочайшая воля... почему не так! Но, во-первых, я уже не просто генерал-майор, а генерал-адъютант, как и ты... во-вторых, выполняю августейшую волю и всемилостивейше возложенное на меня поручение взять генерал-адъютанта Павла Иванова сына Ягужинского и прочих. Читай сам указ и повинуйся!

Ушаков проворно развернул одну из бумаг, которые держал в руках, а затем подал другую и, разложив на столе указал Ягужинскому на слова в строках.

Лицо Павла Ивановича внезапно получило мёртвенный колер. Ноги подкосились, и он не сел, а опустился на кресло у стола, когда глаза упали прямо на слова, указанные перстом Ушакова.

– За что такая беда надо мной! – произнёс потерявшийся Ягужинский шёпотом отчаяния.

– Тебе ли об этом спрашивать меня, после доноса, погубившего Монса! – отрезал язвительно Ушаков.

– Да я, как член суда, не один подписывал приговор Монсу, и другие тоже.

– Сила не в приговоре, а в доносе!

– Я тут ни при чём!

– Так ли, полно?

– Совершенно так. Могу образ снять со стены.

– Полно, руки отсохнут. Говорят, Бог не допускает до явного посмеяния святыни.

– Какое же тут посмеяние, когда человек не имеет ничего от навета защититься, как икону взять?

– И начать с иконой лгать?! Ну, это, скажу я тебе, плохая защита перед тем, кому хорошо всё подлинно известно, как мне, например.

– Андрей Иванович, мой милый друг, неужели же имеешь ты на меня, несчастного, такое подозрение?

– Тут уж не подозрение, а прямое свидетельство людей, которых призывал к себе за этим генерал-прокурор, ныне гофмаршал.

– Да как они смели? Да разве можно оставить без наказания клевету?

– Клевету нельзя оставить ни на минуту без доказательства; и доказательства имеются налицо, да такого рода, что не может возникнуть ни малейшего сомнения в точности их. Не думай увёртываться, не поможет. А ты лучше садись и пиши подлинное признание.

Как ни был не в себе Павел Иванович, но при последних словах подошёл к Ушакову и сказал ему на ухо, указывая глазами на ефрейтора:

– Как ты неосторожен... Можно ли такие слова говорить при ком-нибудь?

Андрей Иванович улыбнулся самою коварною улыбкою, одновременно и поощрительною, и бросающею в холод, и также на ухо, прошептал Ягужинскому:

– Пиши только. Я его отошлю в переднюю, а то на крыльцо. А не захочешь ты сам писать, примусь я. И буду тебе нарочно громче задавать вопросы, чтобы и солдаты слышали. Да и ответы буду прочитывать громко.

При такой угрозе Павел Иванович вздрогнул и шёпотом сказал:

– Хорошо, писать я буду, где допросные пункты?

– Если ты требуешь, чтоб я предложил тебе вопросы, твоё признание не в признание. Я, по дружбе, не хотел быть следователем вины твоей, а только посредником в испрошении пощады, подавая признание кающегося. При этом только могу и уверить в раскаянии твоём и будущей неизменной преданности.

Воцарилось молчание. Ушаков взглядом велел ефрейтору уйти и затворить дверь, так что грозный гость остался вдвоём с хозяином. Ягужинский быстро забегал взад и вперёд по комнате. Он чувствовал себя уничтоженным, и гибкая мысль его была окончательно сбита с толку

немногими решительными словами разыскивателя. Дав своей жертве время совсем потерять энергию, Ушаков наконец повелительным взглядом показал Ягужинскому на стол и бумагу. Павел Иванович машинально сел и, ещё раз вычитав в глазах Андрея Ивановича выражение непреклонного требования, схватил торопливо перо и принялся строчить.

Вместо хозяина стал прохаживаться гость. Долго писал Ягужинский, то останавливаясь и прочитывая написанное, то переправляя и опять принимаясь за дело. Рука его стала ходить медленнее, и за прежним смятением наступил страх, что Ушаков знает более и представит что-либо ещё, чего оправдать его ум никак не может. Под впечатлением этой неотвязной мысли Павел Иванович заключил собственноручно писанные признания. Ушаков подошёл к столу и стоя впился глазами в бумагу. На лице его не было ни кровинки, одни глаза горели и метали искры. Дочитав до конца, Андрей Иванович указал пальцем, где должна быть выведена подпись, и ею украсился оригинальный документ.

Но, выведя подпись, Павел Иванович устремил на Ушакова умоляющий взгляд и тихонько, словно про себя, промолвил:

– Лучше бы поправить... поглаже выразить. Как ты думаешь? Скажи, Бога ради, как друг, искренно, если, как говоришь, пришёл ты не предавать меня и хочешь поступить по-приятельски...

– Пиши другое, посмотрим... – А сам взял написанное и опустил в карман.

При этом манёвре сыщика Ягужинский потерялся окончательно, и перо выпало из рук.

– Не бойся, пиши... – подбодрил струсившего совсем Ягужинского Ушаков. – Посмотрим, говорю, что выйдет лучше и для тебя выгоднее, то я и подам. На меня, я уже сказал раз, можешь положиться вполне.

– Н-ну... а как ты думаешь: в объяснение-то моё можно... вставить, ну, знаешь кого... и указать... то есть что я только... а они... понимаешь?

– Пиши всё что хочешь, никого не жалея, если думаешь, что так будет выгоднее... А обо мне выбрось из головы, якобы я тебе был враг. Знаем

мы всё, да не возбуждали же дела без приказания: разыскать и разузнать впрямь...

Струсивший Ягужинский принял всё за чистую монету. Утопающий хватается и за соломинку, потому Павел Иванович больше чем с охотой ухватился за позволение Ушакова писать всё не стесняясь. Мало того, дописав второе признание, в котором сильно запутывались Чернышёвы, и передав писанье Ушакову, Ягужинский надумал, что всё же мало себя выгородил, и попросил позволенья ещё написать. И третье написал.

Третье признание было скорее оправданием во взведённой на невинного Павла Ивановича клевете: якобы он принимал участие в кознях против императрицы. Он, напротив, будто бы слышал о кознях Чернышёвых, Толстого и Матвеевых, а сам только старался их самих обратить на путь истины, чести и совести. Виновным себя находил Павел Иванович разве в том, что не рассказал о замыслах тех господ. Но если он и не сделал этого, то потому только, что не придавал значения их затеям и бредням. Прочитав все три признания, не только Ушаков, но и человек совсем неопытный должен был прийти к заключению, что Павлу Ивановичу ни в чём не следует верить.

– Ну, как ты находишь моё признание? – спросил автор сыщика, взявшего все три экземпляра и уже уходившего.

– Ты сам знаешь, что хорошо, – отшутился Ушаков, прибавив внушительно: – Смотри же, никого не принимай, сам не выходи, а люди мои могут в передней быть... до каза.

Распростившись прелюбезным образом с одним, Ушаков поспешил домой и, придя к запертому Лакосте, отдал ему следующий приказ:

– Смотри, я не бью тебя, как велено, потому что знаю, что ты, как умный человек, из боязни за свою шкуру предпочтёшь верно мне служить и выполнять строго что накажу!

– Путу... путу, – шептал струсивший шут.

– Ступай же к Петру Андреичу теперь. Ведь ты шёл к нему, когда я схватил тебя?

Лакоста кивнул утвердительно головою.

– Молчок, что я знаю о ваших тайнах. И продолжай своё дело как ни в чём не бывало, но не уходи до моего прихода. А если ты изменишь, что видно будет уже с первого взгляда, – запорю... Смотри же... Мы за тобой следом, или лучше будет, если с тобою же мы и проедем до сени Толстого... ты укажешь, куда и как пройти.

Лакоста ответил утвердительно.

Ушаков оделся и вышел с ним вместе; команда не дожидалась и уже двинулась от дворца.

Генерал на этот раз посадил Лакосту с собою в сани, и они быстро покатали сперва по набережной, потом по Неве, к 12-й линии.

Всё сделалось буквально так, как рассчитал Ушаков. Когда он и Лакоста прибыли к дому графа, команда находилась уже там. Шут повёл всех через чужой пустой двор сзади, во двор графский, к лесенке, ведущей на вышку, что итальянцы прозывают бельведером. Там жил старый граф.

Всё было пусто, так что, пропустив вперёд себя в светлицу шута, по коврам, неслышно, в переднюю в потёмках прошли и солдаты. Прошли беззвучно и притаились.

Лакоста как ни в чём не бывало начал пересказывать свою затруднительность шпионить теперь, когда произошла распря из-за него между государыниными женщинами.

Старый дипломат начал преподавать ему практические советы, как поправить сколько-нибудь дело для продолжения наблюдений, но речь его вдруг перервалась на полуслове, когда он слышал странный шорох.

– Кто там? – крикнул граф Пётр Андреевич.

– Я, ваше сиятельство! – И из-под занавески ворвался стремительно Ушаков.

– Это что значит? – не столько с испугом, сколько со злостью спросил хозяин.

– Имею честь предъявить вам высочайший указ.

И перед старцем Андрей Иванович проделал опять свой фокус с полным успехом.

– За что это? – ещё не придя в себя от неожиданности, спросил, прочтя

написанное, граф.

– Не могу знать.

– Правда?

– Точно так.

– Ты не один ведь?

– С людьми...

– Нельзя ли велеть им выйти, потому что с тобой намерен я поговорить, если хочешь, обстоятельно.

Ушаков дал знак, и ефрейтор со служивыми вышли в сени и расположились там.

Сообщение графа с глаза на глаз Ушакову протянулось на всю ночь, да захватило и часть дня. Лакоста же отпущен был скоро совсем, чтобы не мешать беседе. Тайна беседы этой известна была только одним собеседникам.

Но, видно, они столковались, потому что, оставляя людей, Ушаков просил графа только не показываться и к себе никого не принимать, обещая скоро выхлопотать и отмену принятой меры. Довольный собою, Андрей Иванович, видно, выходя от Толстого, убить двух бобров разом. Столковавшись, как можно полагать, со старцем, он задумал открыть свои подвиги светлейшему, чтобы и с него сорвать магарыч.

Вышло далеко не так. В самом конце игры заколодило. Слушал вначале Меньшиков сыщика более чем благосклонно и внимательно, но вдруг задал вопрос:

– Где же ты их оставил?

– Под арестом, в доме у каждого.

– Это зачем?

– Так велела государыня.

– Врёшь. Читай указ... я выслушал ведь, приказано взять?

– Я было и хотел, когда писал указ да и дал подписать его цесаревне, но её величество наказали только учинить дознание и... не трогать.

Светлейший сделал недовольную мину и крикнул.

– Продолжай!

– Я всё кончил, ваша светлость, покуда...

– Гм... а дальше что?

– Обо всём буду немедленно доносить вам.

– Жду чем скорее, тем лучше, не зевай, смотри, без награждения я не оставляю усердия.

– А теперь, ваша светлость, дворники свободные есть, вот распишись.

И подал челобитье, со списками.

Светлейший стал смотреть, да как напустится на сыщика:

– Ах ты, вор, бездельник! Ничего не сделал, а уж торговаться со мною норовишь!

И как пошёл, как пошёл!..

Андрей Иванович видит – неладно.

– Счастливо оставаться, ваша светлость!

А на поклон его – толчок в шею!

– Ступай вон, мерзавец!

Как сбежал с лестницы Андрей, сам не помнит. Приехал домой и заперся. У себя дал он полную свободу бешенству. Досталось же светлейшему от обиженного им и разгневанного Андрея, сознававшего, впрочем, свою полную неспособность тягаться с всевластным вельможею.

Насытив злость ругательством наедине и начиная успокаиваться уже, Андрей услышал из внутренних комнат, от жены, лёгкий стук. Отворил потаённую дверь, и глазам его предстала княжна Марья Фёдоровна Вяземская.

– Я к тебе, Андрюша, от княгини Дарьи Михайловны. Я у них была, как спровадил тебя взбешённый князь. Пришёл и рассказал, разумеется, вина тебя в неблагодарности. Услышав, что произошло у вас, княгиня на него вскинулась: "Что с тобой, Саша, самых преданных людей оскорбляешь. Ну за что облаял Андрея чего доброго, врага наживёшь вместо сберегателя" Гневливец смягчился и от имени своего и жены просит – ехать сейчас на мировую, с ним обедать.

Ушаков смягчился. Пошептал что-то на ухо княжне. Написал на листе и послал с нею, принявшись одеваться в парадную форму с особенным

тщанием. По дороге он заехал во дворец и донёс государыне о своих действиях, когда её величество уже была совсем одета, тоже собравшись к светлейшему.

VI ОБЛАВА

Ушаков, выйдя раньше государыни, полетел ко дворцу светлейшего, сильно волнуясь от наплыва противоположных побуждений. Он был уверен, что, явившись теперь, найдёт уже княжну с подписанным указом и, следовательно, дворы можно считать верными; но в то же время сердился на себя, что мало запросил.

"И больше дал бы мерзец, если одумался!" – сказал про себя генерал, бросив епанчу и подымаясь во второй этаж. Там он увидел княжну Марью Фёдоровну, которая сунула ему в руки бумагу. Андрей Иванович, как человек аккуратный, получив указец, тотчас его развернул и прочитал до конца. Дочитав же, улыбнулся на подпись Данилыча "поскорее", не только обеспечивавшую получение, но даже дававшую надежду видеть скорейшее исполнение.

Чтение бумаги дало возможность княжне Марье Федоровне войти и заявить, что "прибыл гость желанный...".

Данилыч, когда был в духе, был не последний любитель устраивать сюрпризы. И теперь, при словах княжны, он встал из-за стола – уже сели они за обед, и щи были поданы, – встал и... притаился за дверью.

Едва Андрей Иванович пролез в узкие двери (какие тогда делали) и стал отвешивать княгине и прочим присутствовавшим поклоны, князь хватя его сзади за руки... Разыскиватель сразу понял, кто его облапил, но нарочно начал кричать:

– Стой! Кто тут? Оставь!

А князь держит и дальше не пускает идти. Ушаков думает повернуться – не тут-то было. Только топчется на месте. Возились, возились; светлейший вдруг повернул, как пёрышко, дюжего Андрея Ивановича к себе лицом и вlepил ему крепкий поцелуй в лоб – на мировую...

Андрей Иванович почувствовал себя очень хорошо, но задумал

понежничать и показать себя расчувствовавшимся от обиды. Откуда у него только взялись слёзы – так и закапали, часто таково...

– Бог вас простит, ваша светлость, что незнамо за что облаяли... ни в чём не повинного... Истинно кровью сердце облилось...

– Ну, ну... ладно, ладно! Мировая, – значит, ни слова о прошлом. А то... Андрей благоразумно замолчал и перестал лицедейничать.

Вдруг вбегают с криком: "Государыня!" Все вскочили с мест и пошли навстречу её величеству.

Государыня под руку с цесаревною Елизаветою Петровною шли уже по парадной лестнице. За ними выступал граф Яков Вилимович Брюс, в паре с голштинским министром Бассевичем. За Брюсом шёл граф Головкин, под руку с генерал-адмиралом. Из-за них же выглядывал толстяк князь Алексей Михайлович Черкасский в паре с Макаровым, а в хвосте – Дивиер с женою.

– Рады ли гостям? – здороваясь с княгиней хозяйкой, сказала государыня – Вот я по дороге всех встречных подобрала да к вам привезла...

– Добро пожаловать... добро пожаловать! – повторял светлейший князь, пожимая руку каждому кавалеру, проходившему с лестницы в двери передней, а с сестрой своей молча поцеловался. Пропустив всех, князь последним вошёл в столовую, куда прошла государыня мимо залы.

– Соизвольте, ваше величество и ваше высочество, пожаловать в галерею, а здесь сей момент перекроют столы... ведь вы изволите осчастливить нас отобедать? – нашёлся князь Александр Данилович.

– Конечно, – молвила государыня.

Все гости вслед за её величеством удалились в галерею, как тогда называли собственно длинные гостиные.

Галерея эта выходила на Неву, и цесаревна Елизавета Петровна, подсев к окну на реку, тотчас же сказала:

– И ещё гость... герцог голштинский едет...

Государыня, вступившая в разговор вполголоса с княгинею Дарьей Михайловной, казалось, не обратила внимания на этот возглас. Услышал

его светлейший и поспешил неприметно удалиться, чтобы сделать распоряжения о закуске и столе да вместе с тем встретить светлейшего герцога.

С герцогом приехали на этот раз дети гофмаршала двора покойного цесаревича, или, лучше сказать, кронпринцессы, – бароны Левенвольды.

Эти молодые лифляндцы имели удивительно счастливую наружность и с большим тактом умели вести себя, так как провели юность при дворах имперских князей. Младшему из них было в это время около 30 лет; но по наружности нельзя было дать ему больше двадцати – так он был моложав, или, лучше сказать, юн.

Причиной приезда обоих братьев в Петербург было их желание создать себе при дворе императрицы самое блистательное положение, не пренебрегая никакими средствами. Удовольствия, доступные в их лета, они оба страстно любили; но каждый из них ни минуты не задумался бы ухаживать за богатою пожилою особою, заглушая вполне естественную антипатию, возбуждаемую безобразием, и готовясь, пожалуй, расточать ласки или прикидываться влюблённым, тогда как сердце молчало. Левенвольды слушались только голоса расчёта. В настоящий же момент они из одного честолюбия употребляли все усилия, чтобы обратить на себя высочайшее внимание. Впрочем, эта задача могла быть на них возложена и партией, дававшей им ход с этою целью. Конечно, уже твёрдо зная, что государыня поедет к светлейшему, благородные бароны явились к герцогу голштинскому. Заведя очень интересный разговор, они прервали его в ту минуту, как государыня с генерал-адмиралом и с прочими спутниками направились к палаццо князя Меншикова. С необыкновенною ловкостью, увидя из окна кортеж, въехавший на Неву, старший Левенвольд заговорил с герцогом Карлом-Фридрихом об удовольствии теперь покататься по Неве.

Как ни отговаривался его высочество, не любивший Меншикова, но братья Левенвольды сумели уговорить его, и через полчаса он уже ехал с ними – куда им было нужно.

Герцога-жениха светлейший принял с наружными знаками

утончённой любезности, к которой только был способен Данилыч, ловкий льстец, когда это было нужно. Только голос несколько изменял ему. Но через несколько мгновений лицо его приняло обычное язвительное выражение – когда, глаза его светлости встретились с любезными, почтительными взорами следовавшей за герцогом четы красавцев. Не понять или не заметить мгновенного изменения выражения лица светлейшего братцы никак не могли; но они искусно выдержали злобный взгляд хозяина, как-то неловко кивнувшего в ответ на их почтительные поклоны. Это Меньшикова ещё более разозлило; он, однако, скрепился. Для привычного наблюдателя, каким был Ушаков, эта принуждённость недолго была тайною, и причину перемены в князе он тотчас же разгадал, внутренне довольный, что судьба устраивает теперь самому светлейшему неожиданную неприятность.

Вслед за тем в уме Андрея Ивановича мгновенно сложилась и оценка, довольно верная, братьев Левенвольдов как силы, с которою придётся бороться его изворотливости в обоих случаях: будет ли он на стороне светлейшего или перейдёт к партии Толстого с компаниею. Поэтому Ушаков весь обратился в зрение и слух, стараясь не пропустить ни одного движения, ни одного слова обоих братьев. Это не скрылось ни от княжны Марьи Фёдоровны, ни от Варвары Михайловны, ни даже от Дивиера, смотревшего на Левенвольдов также не совсем благосклонно, ожидая в будущем увидеть их в числе своих противников.

О самом князе нечего и говорить: с первого взгляда при встрече с ними он обнаружил неудовольствие. Когда же дворецкий растворил дверь из залы в столовую, князь попросил её величество к столу. Герцог голштинский повёл государыню; светлейший предложил руку цесаревне и, доведя её высочество до места, откланялся и сел на конце стола, как хозяин. С края подле него поместился Бассевич – с одной стороны, а с другой – зять Дивиер.

Сев на место, светлейший хозяин увидел садившихся ближе к государыне братьев Левенвольдов и не удержался, чтобы не шепнуть Бассевичу:

– Зачем твой герцог эту сволочь с собой ко мне притащил?

Тот только пожал плечами, сам не понимая, как это случилось. Тонкий дипломат, он недолго любил братцев, принципиально видя в остзейцах врагов Голштинии и своих лично. Наблюдать за ними он не преминул, давая себе слово, как останется с герцогом, прочитать ему нотацию: за то, что привёз, во-первых, к князю барончиков, а во-вторых, и за то, что открыл им ход ко двору, потому что Левенвольды успели уже обратить на себя внимание государыни.

Случилось это ещё в галерее, и вот каким образом.

Войдя в залу в сопровождении князя Меньшикова, герцог Карл-Фридрих подошёл к её величеству и, поцеловав руку, пожелал здоровья и всякого благополучия.

Государыня указала ему место подле себя, а братья Левенвольды поспешили обойти их и стать за стулом его высочества. Государыня в это время невольно посмотрела на пару кавалеров, прекрасно, со вкусом одетых, ставших позади герцога, наречённого зятюшки. Окинув кавалеров с ног до головы своим взглядом, её величество нашла обоих очень приятными и милостиво обратилась к герцогу с вопросом:

– У вас, кажется, новый порядок теперь заведён?

– Какой, ваше величество?

– Кавалеры... и, как видно, не из последних, следуют за вами всюду и становятся за вами...

– Я не знаю... – смешался герцог, приведённый в затруднение.

Старший из братьев-баронов поспешил на это тут же по-немецки ответить:

– Это, ваше величество, при иностранных дворах принято: прибывшим с августейшими особами кавалерам, которые остаются не представленными, иначе негде находиться, как за особою, с которою они вошли в дом.

– Вы, герцог, стало быть, тут сделали ошибку, не представили ваших знакомцев... – молвила государыня. – Да... не оправдывайтесь... Всегда, кого мы с собою привозим, должны тех и представить хозяевам и прочим,

кому следует. Но так как вы мой сын, ошибку вашу я сама поправлю. Кто вы такие господа, и давно ли у нас здесь гостите?

Старший Левенвольд, очевидно, ожидал этого вопроса вслед за своим заявлением и очень почтительно ответил, изящно кланяясь.

– Мы, ваше величество, ваши верноподданные, сыновья барона Левенвольда, гофмаршала двора блаженной памяти вашей невестки, кронпринцессы Шарлотты-Христины-Софии ... По кончине её высочества и удалении нашего отца в маентности в Лифляндию, мы служили камер-юнкерами при прусском дворе. В конце прошлого года, попросив увольнения от службы, мы получили аттестат, который имею счастье представить как свидетельство нашей добропорядочной службы. – И он, мгновенно достав из кармана бумагу, опустил на колени, подавая её и говоря: – Всеподданнейше просим принять нас на службу вашего императорского величества!

Когда, произнеся эти слова, он и брат опустили на колени перед государыней, она ещё милостивее сказала:

– Встаньте, господа бароны, я очень рада готовности вашей служить мне. Теперь же охотно принимаю вас... тем же чином, который носили вы при иностранном дворе.

При этих словах все оборотили глаза на эту парочку новых придворных. Дамы, бывшие в зале, нашли их приятным приобретением и решили тут же, что следует их приласкать и завести с ними знакомство.

Наоборот, мужская половина присутствующих смотрела на Левенвольдов как на выскочек и нахалов, с которыми, правда, нужно вести себя осторожно, и только ради этой осторожности их на первое время следует допустить к себе. Впрочем, подумали все, нужно постараться их окружить или поставить в такое положение, которое заставило бы их самих удалиться. И чем скорее, тем лучше. Бароны думали, вероятно, иначе. Поднявшись и удостоясь поцеловать милостиво протянутую им руку монархини, они пошли обходить залу, подходя к каждой особе, называя свои имена и прося принять их, готовых на всякие услуги, в милостивую attention.

Брюс, Бассевич, Черкасский и Дивьер, пожимая руки Левенвольдов, говорили им в свою очередь любезности. Князь Меншиков кивнул двусмысленно головою, а Ушаков, не давая руки, встал, отвесил им молча низкие поклоны и опять сел. С дамами рекомендация их, наоборот, привела к блистательному результату. Все были восхищены их любезностью, начиная с Варвары Михайловны Арсеньевой, которой придумали они первой сказать любезность. Один брат восхвалил её тонкий и глубокий ум, а другой отдал справедливость её чудным очам, назвав их алмазами, в которых отражается высокая душа и тонкое чувство. Злая горбунья, свояченица светлейшего князя, действительно имела и хорошие глаза, и высокий ум. Так что меткое сравнение принято было как явное доказательство ума и приятности представлявшихся. Даже Марья Фёдоровна Вяземская потом признавалась, что она не могла не ощущать удовольствия, когда Левенвольды, обратившись к ней, сказали ей, что она способна увлечься всяким добрым заявлением, будь это одно обещание, а не только вызов на действие. Тонкая наблюдательность и выработанный в совершенстве светский такт братьев были признаны всеми, а это уже много значило в данный момент.

Благодаря Бассевичу и Брюсу, умевшим поддержать нить разговора в обществе, за столом скоро завязалась беседа, в которой красавцы Левенвольды опять поддержали свою репутацию дамских кавалеров. Они не вмешивались в разговоры домохозяина с чиновными гостями, когда он умышленно и даже заметно для всех показывал баронам полную свою антипатию. Императрица первая заметила характер обращений светлейшего с принятыми ею в свою службу пригожими камер-юнкерами, а заметив и угадав верно источник неприязни, государыня захотела удвоенным вниманием к несправедливо оскорбляемым утешить их и показать оскорбителю своё неодобрение.

– Вы, я вижу, господа, – сказала она, – имеете готовый гардероб, потому можете немедленно вступить в отправление своих обязанностей при нас. Явитесь завтра к нашему гофмаршалу и учредите непременно дежурство. Мы желаем часто видеть вас на службе... и при исполнении

наших поручений.

Это окончательно взорвало князя Александра Даниловича, и он обратился к своему зятю с упрёком, полным желчи и несправедливости:

– Со смертью императора ты стал совсем рохлей, я должен тебе сказать. Ни за чем не смотришь, ничего не знаешь, какие проходимцы чёрт знает откуда приезжают или присылаются неведомо для чего, а здесь живут и начинают смуты заводить. Вишь, припала у всех этих мерзцов охота идти к нам в службу. А спросить бы прежде следовало, чем всякому с рылом лезть – благо дерзость велика, – есть ли нужда-то здесь в них? Эта обязанность – знать, кто и зачем сюда прибыл – тобою, Антон Мануилыч, совсем пренебрежена. Я одного боюсь – мошенников да висельников столько наползёт к нам, что будет ни пройти, ни проехать – только того и гляди, как бы не раздавить какую гадину... да и не отвечать бы за такую падаль, которая и вживе-то алтына не стоила!

– Ваша светлость изволите несправедливо меня упрекать в неведении: кто приезжает. У меня в полиции так заведено, что без записки с подлинного документа никого и на ночь не оставлять, а не только жить. Приезжих тем паче. Приехал камер-юнкер от герцогини Курляндской – я позволил ему остаться до выполнения поручения здесь, записавши со слов вашей светлости секретаря г-на Дитрикса и за его подпискою, что знаемый ему человек точно служит у её высочества, да у него в доме и остановился. Я дал реверс сперва на три дня быть. А сегодня поутру приходил опять же Дитрикс и сказал, что присланный из Курляндии камер-юнкер болен – так по необходимости уже дана отсрочка, пока обможется: так велено и по закону. А других приезжих ниоткуда не было.

– А эти, как их, господчики, что к государыне в слуги верные напросились? – вполголоса, но так, чтобы слышал не один Дивиер, спросил, продолжая про себя кипятиться, светлейший.

– Бароны Левенвольды сюда прибыли ещё при жизни его императорского величества – во исполнение высочайшей резолюции государя: "Когда прусский отпустил, пусть сюда идут; посмотрим, на что

будут годны". Они приехали во время болезни государя, с нарочного вызова, и хотя я о них докладывал, но они не могли быть представлены его величеству – за скорою кончиною. Являлись часто ко мне, и я докладывал вашей светлости, коли не изволите запомнить... и графу Гавриле Иванычу говорил... Но резолюции никакой не удостоился получить. А сам я личного доклада не имею у её императорского величества, – как у покойного государя!

Последние слова Дивиера произнесены были довольно тихо, но государыня, вслушиваясь во весь разговор, уже с первой выходки князя следила за ним с напряжённым вниманием и вдруг ответила генерал-полицеймейстеру:

– Прости меня, Антон Мануилыч! Это я просто запомнила, что нужно тебе сказать, чтобы ты у нас бывал совсем так, как при государе было. Не подумай, друг мой, чтобы я к вам меньше государя имела доверенности, это просто по забывению...

– Слушаю, ваше императорское величество... и буду иметь счастье являться видеть пресветлые очи ваши в таком часу, как повелите, – поднявшись с места и кланяясь монархине, отозвался Дивиер.

– Как тебе удобнее... или как прежде было, – ответила Екатерина.

– Боюсь, ваше величество, что тогдашние порядки не подойдут к обиходу вашего величества, – ответил Дивиер, я к государю являлся в четыре часа утра в конторку. А смею думать, ваше величество...

– Правда, правда! В это время я сплю. Позднее... около полудня, коли хочешь.

– В полдень завтра прикажете, ваше величество, допустить меня с репортом на всемилостивейшую аудиенцию?

– Хорошо! – был ответ.

Дивиер встал и, подойдя к её величеству, поцеловал руку.

При последних словах Ушаков весь побагровел, а у светлейшего князя на мгновение слетел с лица румянец, и затем выступили на щеках и на лбу багровые пятна – признаки сильного прилива крови ко лбу. Светлейший схватил графин с холодной водою и выпил разом два кубка.

Апраксин и Головкин ни на кого не глядя кушали, а Брюс и князь Алексей Черкасский переглянулись. Только кабинет-секретарь Макаров, сидевший через одного гостя от светлейшего, когда князь пил, сказал ему что-то на ухо. Должно быть, сказанное им имело успокоительное действие, потому что через минуту лицо светлейшего изменилось и его брови приняли обыкновенное положение. На минуту водворившееся зловещее молчание было прервано вдруг вопросом княгини Дарьи Михайловны, обращённым к младшему Левенвольду:

– Кажется, ваша сестрица, что была фрейлиною у крон-принцессы, в девицах ещё?

– Точно, ваша светлость, у кронпринцессы моя сестра была фрейлиною, но она теперь уже замужем за одним дворянином, по фамилии Шлиппенбах.

– А матушка здоровствует?

– Да, светлейшая княгиня... родительница наша в добром здоровье, хотя в её лета нелегко перенести смерть спутника жизни и друга, каким был отец наш – относительно матушки... Такой друг – каких не много!

– Где вы служили раньше Берлина? – спросила Варвара Михайловна.

– У саксонского курфюрста и у принца-коадьютора Любского.

– Где же показалось вам лучше? – пожелал узнать Брюс.

– Непродолжительность службы при этих дворах, конечно, служит доказательством, что в Берлине нам больше улыбалось счастье. Её величество королева милостиво изволила относиться к усердию брата, – заключил младший Левенвольд и взглянул на старшего.

– Точно так же ценили при берлинском дворе и службу моего брата, – отозвался старший, – но... обстоятельства и главное – желание быть ближе к нашим имениям, по смерти родителя управляемым не близкими нам людьми, решили мой выбор. Я попросил увольнения и получил вот эту аттестацию. – И барон Левенвольд передал в руки Якова Вилимовича Брюса документ с печатью прусской придворной канцелярии, где превозносились до небес его "способности, усердие и редкое знание придворных обычаев".

Прочитав аттестат и возвращая его, Брюс не утерпел, чтобы не повторить вслух нескольких заключительных хвалебных эпитетов официального языка придворного прусского стилиста.

Государыня при словах Брюса ещё раз обратилась к старшему Левенвольду и милостиво изрекла:

– Услышав, как в чужой земле вы показали ваши достоинства, я ещё более радуюсь, что могу считать вас отныне в нашей службе, где открыта будет вам лучшая дорога к снисканию отличий.

Опять братцы, встав с мест и принеся почтительную благодарность за доброе мнение о них и августейшую милость, были удостоены целования руки.

Подали уже последнее блюдо – сладкое. Князь-хозяин счёл нужным обратиться к государыне с извинениями насчёт недостаточности угощения.

– Полно, полно, Александр Данилыч. Мы всем были очень довольны, только недовольны тем, что ты сам спрятался.

– Никак нет, ваше величество! – отвечал светлейший, и, встав с места, князь, подойдя к её величеству, низко поклонился и, целуя монаршую руку, получил поцелуй в лоб.

Все поднялись и в свою очередь принялись благодарить хозяев. Левенвольды, окружив княгиню Дарью Михайловну и сестру её самыми отборными учтивостями, заявили свою благодарность за милостивый приём и угощение.

– Мы всегда рады вас у себя видеть! – ответила светлейшая княжна.

– Если позволит его светлость, мы бы сочли себя счастливейшими из смертных – бывать у вас и свидетельствовать свою преданность! – ответил старший Левенвольд.

Младший подошёл к князю и произнёс ему пышную благодарность, удостоясь опять кивка головою, как бы в сторону выхода. Затем светлейший, поворотясь спиною к нему, сказал Ушакову:

– Андрей Иваныч, что ты так, братец, поспешил утром-то уйти, да и теперь словно норовишь также направить лыжи...

- Ваша светлость, нужное кое-что есть исполнить-с.
- Да поговорить бы нам надо...
- Как изволите ... Будет приказать что – я готов принять приказание.
- Не в приказанье дело. Нужно перекинуться словами двумя-тремя. Пойдём-ка, Алексей Васильич?.. А, Алексей Васильич! – кричал светлейший, ища Макарова, но его уж и след простыл.
- Коли нужно вам, ваша светлость, конференцию учинить с Макаровым, ужо я к нему съезжу, дельце некое справивши. К тому времени, может, и досужней будет вам? Не изволите ли так? Под вечерок али утром... не лучше ли?!
- Пожалуй, так и лучше будет, – согласился князь. – Меньше глаз и ушей лишних-с, ваша светлость, – пошептал на ухо князю Ушаков.
- Правда, правда твоя... Так до утра. Смотри же!
- Будем... часочку к восьмому-с! Не поздно, чай?!
- Пожалуй... Так смотри, я жду вас.
- Как приказано-с. Одно, ваша светлость, если Алёшки Макарова не уловлю... всё едино, сам буду-с.
- Ну, я за ним пошлю от себя ещё, – порешил князь, подавая дружески руку Ушакову, спешившему – кто бы знал куда? Трудно было бы поверить, если бы кто сказал: к Толстому!

Примирение с князем и взятка в сто дворов не помешали Ушакову ехать торговаться ещё и со старым грешником. У него думал Андрей заломить разом столько, что или он вправду раскошелится вдосталь, или – шапками врознь. Случаем нужно пользоваться! Как знать, скоро ли другой представится, и так ли ловко будет подойти да потребовать за содействие, как теперь. "Куй железо, пока горячо – застынет – напрасно руки околотить" – решил, сходя с княжеской лесенки, генерал-разыскиватель.

VII ПЕРЕМЕТЧИКИ И ТУРУСЫ

Уже смеркалось, когда Андрей Иванович поднялся до кельи Толстого и нашёл в передней сторожей, сидевших неприметно за какою-то

занавескою.

Пройдя мимо них к самому графу, Андрей Иванович нашёл у него, совершенно неожиданно, двух посетителей. Калякали со старцем вполголоса граф Андрей Артамонович Матвеев, которого здесь считали жившим преспокойно в Москве, и барон Пётр Павлович Шафиров, совсем поседевший и постаревший во время своего несчастья. После возвращения ему чинов и отличий Ушаков ещё не видел знаменитого дельца. А тот, очевидно, чуть не с отвращением подал свою руку разыскивателю, любезно задумавшему поздороваться с графом и бароном.

– Ну, что? – спокойно спросил генерала Толстой – Новенького не скажешь ли нам чего, голубчик?

– Как же... почему не сказать? Коли бы придворной крысой когда состоял, сказать бы мог – нашего полку прибыло. Государыня сегодня, у князя светлейшего в гостях, приняла в службу двух барончиков, сынков царевичева гофмаршала, в камер-юнкеры к себе... Малые из себя, неча сказать, картины... И уж тонкие-претонкие, доложу вам, господа енаралы, разбести и оба. Словно обошли они мать нашу. Почитай, всё с ними одними и беседовала. И приказала им завтра же быть при себе на дежурстве, всенепременно. Светлейший просто взбесился! Чуть не ругательски принялся их ругать и напустился на Дивиера. "Ты, – говорит, – ничего не смотришь, что здесь делается... кто приезжает". Тот-таки дал ответ молодецкий. Показал, что ему всё известно... И получил опять личный доклад у царицы, по вся утра...

– Вот как! – невольно вскрикнул Матвеев. – Значит, наш курс может и подняться... а Сашкин... колеблется?

– Дай-то бы Бог этому мерзecu скорей шею сломить!

– Да что-то не верится, братцы, и хитёр, и изворотлив ведь он, что леший!

– Была у него изворотливость, держи карман! – вдруг озадачил всех Ушаков, и все на него взглянули, а хозяин дома спросил Андрея Ивановича напрямки:

– Ты с нами, Андрюша, комедь не ломай, а прямо скажи – с подвохом ты теперь Сашку аттестовал, али вправду внял нашим словесам и хочешь к нам пристать? Коли хочешь, прямо говори, сколько за переход?

– Так у нас на мазу, значит, уж? – отозвался Шафиров.

Матвеев же стал ещё внимательнее всматриваться в багровый лик Андрея Ивановича, не произнося ни слова. Он, должно быть, ожидал, что за этим ещё будет.

– А вы честно предлагаете условия?

– Сам посуди по моему спросу...

– Да спрос – спросом, а дело – делом! Коли хотите, чтобы я заодно с вами во всём стоял, обеспечьте настолько, чтобы нужда не потребовала обращаться ни за чем к противной стороне.

– Пожалуй, и так, но, коли человек хочет делать верное дело, довольствоваться можно и меньшим, спервоначалу. Впоследствии, коли всё удастся, никто тебя не обойдёт – тогда требуй и получишь своё, а если ты заранее начнёшь заламывать, так кто порукою, что не делаешь этого намеренно? Чтобы иметь предлог говорить потом: не хотели меня к себе принять, затем и закобенились, когда спросил самую малость. А как и что считать малостью? У всякого ведь свой аршин!

Андрей Иванович принуждённо ухмыльнулся. Ему было неприятно такое прямое объяснение его торга о стоимости перехода, да ещё при двух свидетелях. Бесспорно, положение их относительно князя Меншикова уже настолько определилось, что мудрено было ожидать перехода на его сторону любого из них. Но самому-то Андрею Ивановичу было всё же неловко открываться перед новыми людьми, которых он не ожидал встретить у Толстого. Эти же двое знали Андрея Ивановича как человека преданного светлейшему и им державшегося до сих пор. Они также знали и надобность для Меншикова в услугах такой ищейки, как генерал-разыскиватель. Принуждённость его улыбки была замечена как Толстым, так и его собеседниками. Это, хотя и поздно, подумал про себя и сам Ушаков. Делать, однако, было нечего: неловкость начала чувствоваться всеми четверыми, и хозяин, чтобы прервать неудобное положение,

взглянул отважно в глаза Андрею и сказал ему:

– Говори, однако, всё прямо. Коли можно нам будет согласиться с тобой – ломаться и выгадывать ничего не станем. А нельзя – опять же прямо выскажем. Я тебе сделал предложение как человеку с головой и с расчётом, представив всё начистоту; даже не побоялся я, что ты можешь употребить во зло мою доверенность... Ведь ты не скажешь также, чтобы из трусости я вчера перед тобою сильно изгибался...

– Нет... да то пустяки... Я государыне уже отрепортовал, что на тебя, граф Пётр Андреевич, напраслина скорей. Она поверила совсем и велела мне извиниться да позвать тебя к матушке... самого.

– То-то! Значит, сам этим своим докладом обо мне ты, Андрей Иванович, показал, что нашим союзом не брезгуешь? А мы тебя, поверь, дружески примем – начистоту. Что можем попросишь, так сделаем теперь же, а не сможем, буде потерпится, – подожди... Твоё – твоим и останется...

– Да я много бы и не думал просить... Но сами посудите: у каждого из вас, при теперешней дороговизне, есть чем пробавляться из запасов в деревеньках, а коли дворов-от нет – как хочешь тяни, всё из одного жалованья. А генерал-майорские, хотя и восемь сотен с походцем, на всё не растянешь. Стало, нужда крайняя заставляет перед друзьями высказать неимущество и попросить помочь: заполучить малую толику дворишек, хоша здесь – где ни есть в чухонщине, коли не из новгородских волостей...

– Да будто и впрямь покойник-от обошёл тебя за царевичев-от розыск? – спросил недоверчиво Толстой.

– Обойти не обошёл... и дал кое-что, да при управленьи Разрядом у Зотова в списках стояли дворы якобы наличные, а на деле земляца пуста была, "понеже крестьяне разбрелися, неведомо куда"... Вот мне таких и отсчитали дутых двести дворов господ Сенат, а как удосужился я и с мерзцом Чернышёвым Гришкой, при ревизии, до справки дошло, она показала вместо двухсот дворов только тридцать жилых, да и в тех дворах бабы одни с робятами. Что же тут поделать? Коли бы могли господа сенаторы вспомочь нашему убожеству: вошли бы в разбор

нашего челобитьца да воротили бы мне людей, рабочих, по количеству дворов прежнего жалованья. Ведь, в сущности, награда не в награду, коли до нас не дошла и дано не то совсем, что назначено.

– Оно так, конечно, – сказал Матвеев. – А в какой губернии? Коли из моих – подавай! Выделим и по старому указу. А коли не моей губернии, проси особо государыню, и Пётр Андреич поддержать может.

– Охотно! Как своему не поновить... Только слушай – не ворочайся, коли к нам переходишь.

– Какое тут ворочанье, Пётр Андреич! – чуть не сквозь слёзы выговорил, напустив на себя скорбное чувство, проходимец Ушаков.

– Ладно! Давай лапу... Стукнем на дружбу! Разнимай, Пётр Павлыч! Наш – так нашим и будем считать. Да тотчас и работу дадим на искус. Исполнишь?

– Почему не так, коли можем...

– Как не мочь, коли захочешь...

– Говорите.

– Баял ты, что пара новых господчиков здесь, чего доброго, окажется в приближенье. Так ты сведи-кась с ними знакомство, не трата напрасно времени, да пощупай, как и что. Чего нам от них ждать? Как высоко могут летать, к примеру? Куда норовить стараются? Какие норovy с изнанки есть али открываются? Словом – разузнай и верно назначь – что за люди, чтобы меры взять: как их приручить что ли, али, не то, ножку подставить...

– Да как же тебе этих будет приручить, коли Сапегу смекаешь в ход пустить? – спросил развязно Андрей Иванович.

– Мало ль что думается... Да не всё то удаётся, что думается! Ино и сдумал, да видишь – потерпеть может, и за другое можно попридержаться. Я к Сапеге не привязывался, а коли некого было подсунуть другого, надо было пустить и полячка, коли бы успеть только Сашке нос утереть. А коли слышим теперь про этих ловчаков и про то, что Сашка почуял, что они могут его против шерсти погладить да поотодвинуть от кое-кого подальше... можно и около них попробовать.

– Смотри, Пётр Андреевич, не дай маху только, – отозвался Шафиров.

– А что тебе? Тебе, словно, претят немчики, после того, как вас, умников – и тебя и Головкина – ласковый Остерман оттирать начал? – со смехом ответил Толстой.

– Нет, я не думал об Остермане, теперь ему немцы лифляндские самому не с руки. Любит он связи водить со своими немцами, дальними. А подумал я, как бы этих Левенвольдов не прибрал к рукам сам Головкин? Теперь с Ягужинским породнился, так ино, где сам не успеет, зятя сунет, а тот без мыльца въедет куда угодно...

– Насчёт Павлушки, господа енаралы, не извольте сумненья иметь. Его милость, первое дело, с угощеньца однажды вечером у графа Петра Андреича – рыльца не может людям показать... больно неказист: расквасил как-то. А другое дело, хотя бы и рыльце было в исправности, за проказы прошлогодней весны с доносцем сидеть должен без шпаги. И сидеть будет молодцу столько, сколько Андрею Ушакову Господь Бог на душу положит!.. – с чувством собственного достоинства выговорил генерал-разыскиватель.

– Ого-го, какой же ты, парень, молодец! Дай же на тебя посмотреть взаправду! – крикнул граф Матвеев и подошёл к Ушакову – Так ты, голубчик, как видно, не зеваешь?! Да как тебе удалось разузнать про Павлуху, что это он смастерил потихоньку доносец на такого молодчика, как Монс? Мы думали и говорили даже, что из Кантемировских... Дуня, например...

– Да она-то само собою, а Павлуша, известно, Дуне поноровил, – ответил Ушаков Матвееву.

– Значит, и Чернышейкам теперь не лафа будет? То-то они и заехали в Белокаменную. Никого не принимают. Слух пустили, что Авдотья Ивановна на сносях. "От кого бы это? – подумали мы. – Нет ли потаённого кого-нибудь?" Ан тут вот чем пахнет... Отводец... чтобы покуда не тревожили...

И Матвеев стал ходить взад и вперёд по келье Петра Андреевича.

– А что, не слышно ль у вас было в Москве ещё кой-чего? – спросил с

участием Толстой.

– Да что слышно? Мне вот из Ярославля, с Нижнего и из-за Костромы привезли разом три письмеца. Стал читать – гляжу, а все они как одно... слово в слово... Угрозы Сашке... Обвиненье его в предательстве отечества и в воровстве...

– Ну, то же, значит, что и к нам присылают... И вы говорите, вам доставлены с Волги? – спросил Шафиров.

– Да... оттуда, – ответил Матвеев и сел подле хозяина, ненароком взглянув на него. Тот с чего-то потупился и упорно стал глядеть в пол.

Ушаков мгновенно заметил это и принял к сведению.

На минуту воцарилось молчание.

– Так я, Пётр Андреич, относительно камер-юнкеров твоё поручение, знай, приложу всё своё старание выполнять... А ты будь завтра во дворце всенепременно сам, после полудня. Мы там должны, неотменно помни, встретиться. Я подам тебе челобитье, и ты доложишь благочестивейшей и слово замолвишь насчёт усердия и прочего, чтобы направить дельце-то о дворах как следует. А я вам слуга вполне. Что повелите – всё готов. А теперь прощенья просим. Людей я сниму. А ты держи ворота на запоре да и пролазу с переулка вели забить на свой двор.

– Ладно! Будет всё по твоему желанью. Только не окажись предатель! А то ты вечер у меня кое-что оставил. Коли ты пойдёшь на попятный, мы и дадим ход твоей потере.

– Какой такой?

– Не знаешь, – тем лучше.

– Да, может, не моя?

– Твоя... не изволь сомневаться, руку Андрея Иваныча я знаю хорошо и могу различить.

– Что же бы это такое? – сказал в раздумье Ушаков – Скажите на ухо?

– Сказать – почему не сказать, а дать – не дам! Моя находка. И не спрашивай! Давай ухо!

Ушаков приставил ухо ко рту Толстого, и тот что-то шепнул ему, но так

тихо, что из собеседников никто не слышал, кроме Андрея. Он же вздрогнул и побледнел, закусив губы.

– Так будь же нам верен, дружище! И до той поры, как задумаешь предавать, ничего не опасайся. В сохранности и неприкосновенности твоя потеря. А насчёт её значения для тебя, я сам полагаю, умею судить, не хуже тебя.

– Жаль, конечно, что досталось тебе, да впрочем, пустяки! – стараясь отделаться шуткою, отозвался Ушаков, видимо сконфуженный.

Толстой непринуждённо захохотал, но со злою иронией, как показалось Шафирову, стал поддразнивать Ушакова:

– Пустяк... Совсем пустяк! Только головы чьей-нибудь стоять может.

Когда происходил этот разговор на одном конце Васильевского острова, на другом конце после отъезда государыни и гостей вёлся следующий разговор у мужа с женою. Говорили у себя князь с княгиней, Меньшиковы.

– Верь, Саша, ты доходишь до безумства Ты прямым путём стремишься к гибели... и безвозвратной.

– Оставь, пожалуйста, свои пророчества. Я их слушать не хочу. Я уже не мальчик, чтобы меня насмех поднимали, а я молчал и кланялся.

– Никто тебя не поднимал насмех, а ты сам только дурачился да, обижая других, готовил себе в обиженных новых врагов. Неужели ты думаешь, что эти выскочки, как ты назвал Левенвольдов, простят тебе сегодняшнее обращение?

– Да чёрт с ними, пусть не прощают – прежде чем доедут они меня, я их успею спровадить так далеко, что, пожалуй, оттуда им и не добраться будет до меня!

– Полно... тебе не дадут их теперь и пальцем тронуть. Они скоро так поднимутся, что тебе будет не достать до них. Не суди по прошлым своим размовкам с покойным. Тот и колачивал, может тебя, да просил перед Сенатом пощадить жизнь государственного грабителя... за спасение им своей жизни... Это был человек дальновидный и мужчина. Женщины никогда не способны ни на что подобное. Их могут обойти.

– Пой, голубушка, пой! Всё мы это давно и раньше тебя знаем и перезнаем и рук не опускаем, а держим кого следует на вожжах. Является только чья-нибудь попытка подъехать – мы окрысимся и разгоним дружеский советец. Приятели – одни сдуру, а другие с ума да со злости – нам на каждом шагу подстроивают силки и капканцы. Всё я хорошо вижу, да взять им с меня нечего. Кого не нужно отпускать – не отпускаем, и всякий временный афронт навёрстываем немедленно чтеньем отповеди. Как выслушают такую отповедь до половины, так смотришь – и слёзки покажутся, и прощенья запросят. А мы при этом на мировую и можем запросить, того-то прочь, то-то переменить. Сказано – сделано. А друзья, смекая то и другое, смотришь, и гриб скушали!

– Ну, вот то-то и нет! Ты будешь лаяться, а в сторонке ласкою ерошенье твоё заглаживают да знай своё нашёптывают. А женщина, ты думаешь, долго властна над собой? До первого порыва.

– Толкуй по субботам!

– Не хвались, пока только думаешь делать! У меня так, поверь мне, каждый вечер сердце не на месте, как-то придётся встать с постели? А как день приходит – страх берёт за ночь. Мало ли что в темноте, до рассвета может поделаться? Готовишься ты смести бесследно других – держи ухо остро, чтобы не смели тебя раньше. Ожидай грозы не с той одной стороны, откуда туча идёт. За спиной что у тебя – ты не видишь!

– У меня уши заменяют глаза там, где мне не удаётся смотреть.

– Ничего не бывало. Ты теперь ленив больше, чем когда тебя сам-то подтягивал. Думаешь ты, что удалось посадить, так удастся и управлять. Тут-то ты и делаешь ошибку. Гораздо бы безопаснее было тебе при дочери, а при матери слишком много и друзьям, и врагам твоим искушения.

– А она, ты думаешь, так всякого и готова слушать? Держи карман! Слушает тех, кого мы ей представляем.

– Неправда, неправда! Вспомни парочку подхалимов у нас же, а ты ничего не мог сделать – вломились как вломились. Показались только, и успели привлечь внимание. А это ещё первая попытка! Успех этих

развяжет руки другим. Если русских не найдётся – немцев достаточно.

– Да я и с этими ещё не покончил. Видали мы не только камер-юнкеров, и камергеров под замком!

– Только не при этом порядке... Дерзость теперь может до всего дойти и всех прогнать.

– Стой! Договорилась сама. У кого же хватит дерзости-то столько, как у меня? Стало, всем горло и перерву!

– Надолго ли?

– Сегодня одного сотрём в порошок. Завтра другого, а послезавтра третий не осмелится и подсунуться – остережётся.

– Да, если ты считаешь, что поодиночке будут соваться, ни с того ни с сего с тобой схватываться. Ты думаешь, что окружают тебя все одни преданные? А есть и враги скрытые... Я смотрела хоть бы на Андрея за столом. Знаешь, он мне становится страшно подозрительным. Твоя вспышка такого зверя может оборотить во врага. Из преданной собаки выйдет волк. Он всё смотрел на Левенвольдов...

– Да как смотреть ему зверем на них? Ещё бы! Не зверем он смотрел. Ты ошибаешься... а ловил их взгляды, как ловят улыбку случайных людей, от которых ожидают подачки. Да что ж они могут ему дать? Голыши сами. Я другое дело. Дал и ещё дать могу, когда увижу, что он ко мне одному тянет. Другие ему могут посулить, да не дать. Андрюшка сметливый малый. Не я ли и поднял его, и дотянул до енаральства, при покойном? Он это и понимал, и доказал в розыске Монсовом. Ведь говорила тебе княжна Марья Фёдоровна, как он умно и тонко дал нам знать, что там сильненькие все письма уничтожены?

– Помню!

– А помнишь, так что же сомневаться нам в Андрее? Для нас он выгородил её. При ней не пойдёт против нас.

– Нет, Саша, друг мой, расчёты свои ты строишь на песке, коли так рассуждаешь. Её выгораживал он для себя, и расчёт его верен. Теперь он пользуется полной доверенностью. А тебя терпит она потому, что ещё не пора оттолкнуть. А ещё две-три такие выходки, как у нас с немчиками,

и... прощай, Александр Данилыч!

– Даша... ведь ты, я знаю, не ревнива?

– Так что же? Знаючи твой норов, чего ревновать? Расчёт один ведь тебя может заставить нежничать? Да!

– Ну... нечего дальше и растабарывать! Коли понимаешь, так что же спрашиваешь?! Не поможет или надоедать станет своеобычность наша – напомним старину: как плакали, перешедши к самому.

– Полно, полно! Воды с тех пор много утекло. Ты и мне кажешься другим человеком. Стареешь ты и только бодришься по пустякам. Двадцать лет не воротить, ни тебе, ни кому другому. Там была неопытность, у тебя – сила.

– Так я напомним тебе, что и десятки лет ворочаются. Только не рюмь и не подозревай того, чего не будет.

– Дарья знает Александра лучше, чем Александр Дарью! А коли бы знал, не медлил бы открываться до того, как испортишь дело, да поправлять надо. То ли дело вовремя? Поговоришь и так, и сяк, и выберешь средства не с тыла, не те одни, которые только остаются, а и другие – покамест есть время. Вот что я скажу тебе, друг мой Сашенька! Ты привык высоко летать, да летаючи вниз не смотришь... ан птицу-то бьёт стрелец из-под низу. Ты что хочешь и думаешь – скажи-ко прежде Даше своей; она с тобой и поразберёт, что гоже и что негоже... что к цели ближе приведёт и где проруха может случиться. А главное, старайся не крикам и не бранью брать, бросаясь ни на что не глядя, а обходи бережно, да берись надёжней. Никак не свернётся! От держанья в руках всего скорее отказывайся... делись властью с добряками, как князь Михайло Михайлыч да граф Фёдор Матвеич. Ты им словно шаг уступишь для виду, а они тебе сами два шага дадут перед собой. И в друзья верные годны. Как был и покойник граф Борис Петрович . Держись поодаль; возьми себе местечко надёжное, с которого ни столкнуть никто тебя не посмеет, ни подрываться будет нельзя:

– Я и то имею на примете такое местечко... паном заживём. Народец безмозглый и трусливый. Как загребёшь в лапу – и будешь сидеть до

конца живота, да и сыну в наследство оставить можем... и во владетельных будешь значиться... А то что толку, что я герцог Ижорский, к примеру сказать... Никак ижорскую землю из российского империиума не вырежешь? Вот Курляндский герцог – не титулованный, а заправский.

– Так ты Курляндским хочешь быть, что ль?

– А почему ж не так? Всякие волнения там что рукой снимет; живи да жуй хлебец на старости лет.

– Не ври пустяков. Никто тебе Курляндии не отдаст, и Анну Ивановну оттуда не прогонит, тем паче теперь, коли она и женишка нашла.

– Мало ль что нашла... да не выйдет.

– Кто же помешает-то? Наша благословляет и разрешает. Иди, душенька, коли по душе пришёлся.

– Не одна воля та, которая позволяет. Найдутся и такие, кто помешать может.

– А кто бы, например?

– А я, например...

– Лоб расшибёшь попусту.

– Увидишь, что нет. Добудем герцогство... как пить дадим.

– Кто же тебе будет обделывать там-то дела?

– Я же сам.

– И там и здесь?

– Нет... С полномочьем отсюда уеду туда... и... проживу всё время, пока прогоню охотника сесть на тамошний престол... и велю выбрать себя...

– Ничего не выйдет. Отсюда уедешь – всё потеряешь. "С глаз долой и вон из мысли" – правильно говорят немцы... При женщинах того и гляди, что гриб съешь...

– Я не дурень... смыслю, что нужно так сделать, чтобы здесь образ наш и из отдаления ещё милей показывался. Чтобы ежедневно посыльных турили с просьбою: скорей там дела верши, да ко мне спеши.

– Да? Это может делать твоя Даша, и никто другой!

– И окромя Даши найдутся.

– Прогадаете, смотрите.

– Не прогадаем небось.

– Я и на завтрашний день твоей милости не поручусь теперь. Сильно тронуты за живое, чтобы спустить тебе грубость с милыми кавалерами. Коли велели наутро же им торчать на вытяжке, значит, желают лучше всмотреться.

– А мы, вместо смотренья, дела навалим да ушлём; в сторонке скучать, а не прямо торчать.

– Неладно будет это, смотри... спросят, кто усрал.

– Да я начну не с посылки, а с чего следует. Али ты, Даша, не видывала нас, как умеем мы комедь жалостливую представить... нежности подпустить и...

– Поосмотришь прежде! Могут даже не допустить до представления. Взглядом смеряют тебя таким, каким меряли у нас сегодня. А ты, дурачок, и не заприметил, вишь. Какая же у тебя приметчивость? А сам ещё хвалишься, что далеко видишь.

– Вижу и видеть могу ещё дальше. Норовы дамские исстари заучил наизусть и, коли за руку беру, знаю, что из того произойдёт. Подъедем и разведём балясы... пора, мол, галерею достраивать для свадьбы. За всем буду наблюдать... и то, и сё... И через час окажется ещё лучше, чем за двадцать лет были.

– О том и вспоминать не приходится ни тебе, ни...

– Вот и ошибаешься! Напомним и расчувствоваться дадим.

– Увидим! – был ответ супруги.

– Услышишь... Тебе же будут пересказывать, как своей старинной Даше. Сама посудишь тогда, кто вернее идёт к цели.

Княгиня Дарья Михайловна погрузилась в думу.

Муж стал ходить взад и вперёд.

Часы пробили десять – обычное время для завершения дневной суеты в доме светлейшего князя, и чета супругов отправилась в столовую, где уже накрыт был стол для ужина.

Во дворце была сцена другого рода.

Ильинична, после ночлега у княгини Волконской, воротилась вместе с

нею домой уже по отъезде государыни к светлейшему.

Балакирев передал приказ её величества, и княгиня Аграфена Петровна – благо обе плотно позавтракали перед отправлением – решила ждать возвращения её величества.

Анисья Кирилловна была ещё дома, но, одетая в новое платье, собиралась куда-то и, увидя княгиню, рассыпалась в любезностях и зазвала её к себе. Ильиничну Ваня отвёл вверх и стал ей передавать наказ Андрея Ивановича. Обе они и третья подсевшая, Дуня, занялись догадками, в какую сторону следует объяснять это неожиданное покровительство Ушакова Лакосте? Представляли, разумеется, разные доводы в пользу своих соображений, но думали все трое одно. Им представлялось всё-таки, что, по известной всем склонности Андрея Ивановича, он велел Лакосте шпионничать на себя. А тот, по злобе своей к ним, мог приврать о них или ложно истолковать их слова и поступки.

– Экая пакость завелась, впрямь сказать, у нас, хоть бы этот жид, шут проклятый! Думали – уём ему дадут... ан сам Ушаков заведомо подачку даёт мерзавцу. Надо государыне поэтому нашептывать... я и знаю уж, что и как, – решила Ильинична.

Все согласились, что общие усилия следует приложить всем троим, чтобы и покровителя Лакосты сделать подозрительным в глазах её величества.

Рассуждения их после этого склонились на предмет, для которого ездила к княгине Ильинична. Сообщения, ею сделанные, конечно, оказались очень интересными и незаметно унесли остальное время дня. Совсем уже стемнело, когда пришла Ване благая мысль спуститься вниз и посмотреть, что там делается.

Он никого не нашёл, пройдя до самой приёмной её величества, а там сидел один камер-юнкер – Бирон.

При виде Вани он очень приветливо протянул ему руку и вынул из кармана написанный чисто, по-немецки, проект ответа Анне Ивановне. Ваня бегло прочёл, и для него тут же сделалось ясно, что все первоначальные подозрения подтверждаются вполне.

– Как же вы находите моё изложение? – не утерпел Бирон.

– Вполне убедительным и превосходным. Да иначе и не могло быть, как я понимаю, имея счастье хотя короткое время, но вполне узнать вас, – ответил Иван Балакирев, бессовестно лья самодлюбивому выскочке.

Тот просто растаял и дал слово рекомендовать нового друга, поддерживавшего его перед императрицей, особому вниманию своей государыни – герцогини.

– А что я смею предложить? – начал Бирон, понимая, что надо прежде поторговаться насчёт подарка с нужным русским человеком.

Но Ваня не дал ему продолжать, наотрез отказавшись принимать что-либо. Это, как видно, было ещё любезнее молодому камер-юнкеру, от природы не особенно щедрым, а, напротив, очень расчётливому. Он совсем просиял и принялся жать самым искренним образом руки Балакирева, от внимания которого не скрылись побуждения этих нежных заявлений приязни.

"Ну, дружище, – подумал Ваня, – кто кого чище обделает, ты ли меня или я тебя, – ещё дело покажет".

Оба между тем расточали друг другу уверения в прочности дружбы и надежды на будущее содействие. Приезд её величества положил конец этому свиданию Балакирева с Бироном.

Ну кто мог бы подумать, что теперешний заискиватель у Вани по воле судьбы через небольшой сравнительно срок времени окажется на такой высоте, до которой редко приходится подниматься простому смертному?

Государыня, проходя по передней, милостиво кивнула головой митавцу, и тот понял, что оставаться ему больше нельзя.

Балакирев, сняв охобень с её величества, получил приказание – позвать Ильиничну.

– Дома уж она?

– Давно, ваше величество!

– Где же она была?

– У княгини Аграфены Петровны Волконской... и та здесь.

– А... очень приятно!.. Вот в пору-то догадалась. А мне, теперь особенно,

что-то скучно становится! – И государыня прошла к себе.

Явилась Ильинична и была очень милостиво принята. Началось повествование гофмейстерины, и, должно быть, интересное – всё про княгиню Волконскую. Её величество заинтересовалась княгинею настолько, что вдруг спросила:

– Где же она?

Ильинична показала рукою на комнату Анисьи Кирилловны. Государыня встала и сама пошла туда за нею. Аграфена Петровна Волконская, как мы уже говорили, была действительно приятная собеседница, которая, слушая чужие слова и планы, умела совершенно неприметно направить разговор так, как она желала, вставляя иногда для этого только односложные слова, выражавшие согласие или одобрение. Такой способ слушать других вызывает говорящего на откровенность и способствует неприметно к тесному сближению его с слушающим.

Княгиня Аграфена Петровна приближалась в настоящее время именно к такому выгодному положению по отношению к императрице и, оставшись дожидаться возвращения её величества, надеялась даже на приём у государыни. Для того же, чтобы не терять времени, она решилась выпросить ещё что можно у девицы Толстой. Разговор у них скоро принял, однако, неожиданный оборот, очень пикантный.

– Как вы теперь проводите время? – между прочим спросила княгиня.

– Утром спим, потом приходим к её величеству, если велят, посидеть и помолчать... там иногда отобедать вместе оставят, а коли нет – приходится ехать искать обеда...

– А потом?

– Когда же потом?

– Да перед вечером и вечером? – спросила княгиня самым невинным голосом.

– Всяко случается! – отвечала уклончиво Анисья Кирилловна.

– А-а! – невольно вырвалось у княгини, понявшей, что ей говорят не то, что нужно. Помолчав с минуту, она спросила:

– А не правда ли, Анисья Кирилловна, что молодые ваши – предостойная

чета?

– Какие это?

– Граф Пётр Петрович с сожительницей...

– Какие же, матушка, они нам свои? Мы, почитай, не видимся по десятку лет. Ведь я к ним не вхожа даже совсем, – прибавила девица Толстая, приняв простодушный вид.

– Вот как, мать моя, скажите на милость!.. – будто поверила хитрая допросчица. – А я ведь уверена была, что встретила вас у них на прошлой неделе, столкнувшись в самых дверях, и поклон ещё отдала... и обратно получила... Кто же бы это такой был, дай Бог память?

Анисья Кирилловна почувствовала, что у неё и из-под слоя белил выступает предательский румянец. Однако и в смятении ей страшно захотелось поднять на княгиню глаза, чтобы увидеть, какое впечатление произвело её заpirationство, но силы воли на этот манёвр у неё не хватило.

Аграфена Петровна, впрочем, непременно решила вывести обманщицу на чистую воду и, нисколько не пронявшись решительным её отпором, ещё подъехала с вопросом:

– А почём, смею спросить, брали на платье этот байберек? – И она указала на платье, в котором сидела перед нею Анисья Кирилловна.

– Не помню... – ответила девица Толстая, совсем уже потерявшись.

– Так я помогу, голубушка, твоей памяти! – не сдерживаясь уже более, отрезала княгиня. – Видишь, душа моя, от одной штуки! – указала она ей на своё платье. – Получила и я, с вышивкою также, а вышивали санные девки со двора графа Петра Андреича, и перевод я сама дала, и шёлк мой же. Вышивку делали к свадьбе Петра Петровича, потому что его невеста – своя мне, как вы знаете. А мастериц у матери-то её таких не случилось. После свадебки, однако, и хорошие мастерицы только успели всю штуку вышить; в приданое не попала, а поднесла штучку молодая – свекрови. А она, моя голубушка, и говорит мне: "Знаешь, Груня, всю штуку Анисье Кирилловне я не отдам – много будет по её росту и четверти. Ты себе возьми полштуки, а я, как пигалица такая же, как

Анисья, юбку из остального сошью". Вот я свою половину и взяла. А наутро, в самое Стретенье, сижу у жены-то Петра Петровича, а ты за перегородкой не чуешь, что я-то тут, и поёшь, и поёшь, что у вас делается тут ... по комнатам. Много хорошего я в ту пору узнала и душевно тебя поблагодарила за глаза, что ты всю подноготную графу Петру Андреичу доносишь. Таким-то путём и до наших грешных ушей доходит чего бы не догадывались. Про светлейшего, например, как он утешать приходит и тебе за слепоту да за глухоту на охобенек бархатцу зелёнького уволил. Так вот тебе, голубушка, за эту твою исправную службицу, что всё как есть досконально узнаёшь и пересказываешь, в те поры старый граф шепнул сыну, а тот мать вызвал и байберек вышитый-то взял, да на юбочку и пожаловали тебе. А я всё видела и слышала. Так как же, сударынька, не ты встретила-то со мной третьего дня? Я от них, а ты с новым донесеньем...

Анисья Кирилловна была ни жива ни мертва от прямых улик.

Уста девицы Толстой силились раскрыться, чтобы умолять о пощаде, но, как на грех, она не нашлась ничего сказать, а когда собралась с силами и подняла глаза, дышавшие бешенством, то взгляд её встретился с взором императрицы, неслышно подошедшей к беседующим и выслушавшей самую суть виновности девицы Толстой.

– Оставьте эту тварь, княгиня, и пойдём ко мне! – приказала государыня Аграфене Петровне, уводя её с собою.

VIII ЩЕЛЧКИ СУДЬБЫ

Уведя с собою княгиню Аграфену Петровну, государыня посадила её и прямо спросила:

– Какие такие приходы да утешенья князя Александра Даниловича описывала Анисья?

– Привирала, разумеется, много неподобного, ваше величество.

– Да как?! Ты прямо мне говори всё – как было.

– Уж больно скаредно, государыня, и язык не поворотится прямо пересказывать, даром что я замужняя.

– Ин пошепчи мне на ухо, коли вслух говорить не ладно.

И началось шушуканье. Государыня слушала, а иногда переспрашивала шёпотом же; но по всему видно было, пересказ сильно занимал её величество. Не раз в продолжение своей повести княгиня чувствовала, как августейшая слушательница сдерживала свой гнев, то схватывая стремительно Аграфену Петровну и привлекая ближе к себе, то изменяя невольный шёпот на прерывистое ворчание.

– А кто кроме тебя слышал эти пакостные новости Анисьи? – спросила государыня княгиню, когда та кончила и замолчала.

– Те, кому передавалось, – ответила княгиня.

– Да кто именно?

– Старый граф Толстой, старик Головкин да зять его.

– Так все четверо... Изрядно! И что ж они?

– Ржали, матушка, что мерины. А та, бессовестная, так и выворачивала всё.

– Недаром же я Павлушку да Головкина терпеть не могу?! А с тобой кто был?

– Племянница одна, Петра Толстого невестка; да я её при первых же словах выслала. Махнула рукой решительно, та и сама бежать. Так что кроме тех да меня больше не знаю кто бы слушал... А меня ввела за перегородку племянница, что мне и открыла-то про переносчицу. Как услышала я, и наказала ей: смотри, говорю, как пронюхаешь, что Анисья должна быть, – лети ко мне прямо и дай мне послушать, что она будет там распевать старым лешим да непутному подхалиму – Павлушке. Больше всех он, ваше величество, и трунил, и разные нахальства отпускал. Я издивилась даже бесстыдству Анисьи, как у ней язык только поворачивается?

Гнев государыни больше уже не поддавался сдерживанью и проявился во всей силе.

– Смотри же у меня, Аграфена! – крепко и больно схватила Екатерина за руку пересказчицу, с такою силою, какую было мудрено ожидать от неё.

– Чтобы всё, что ты мне пересказала теперь, тут и умерло! А с теми я

знаю что делать! С лгуней – тоже расправлюсь так, что отобью охоту клепать скверности.

– Ваше величество!.. Коли бы не преданность к особе вашей побудила меня уличить пакостницу – что вы, подкравшись, сами подслушали, – верьте, язык бы мой не поворотился...

– Спасибо тебе, душа моя, что обо мне лучшего мнения, чем эти мерзкие люди. Я сама тебя люблю, люблю вот как! – Государыня крепко обняла, прижала к себе и поцеловала княгиню.

Порыв успокаивающегося гнева разрешился обильными слезами.

– Вот что значит: женщина ими правит! – в слезах, обнимая Волконскую, повторяла императрица. – На меня осмеливаются такие мерзости клепать... распускают нелепые слухи. Да взводят и небылицы-то всё... такие позорные... Знают, что я неспособна, как прежние цари и царицы, язык приказать отрезать или в трущобу упрятать. А могла бы... Стоит только захотеть! Не правда ли, друг мой, Аграфенушка?

– Точно так, ваше величество... но пощадою врагов человек становится Богу подобным... Царский сан ваш при милосердии больше возвысится. Не думайте, государыня, чтобы мерзким людям Бог попустил безнаказанно порочить помазанницу свою... Вы пощадите – Бог найдёт их гневом своим! А вам недостойных окружающих подальше бы держать – это благоразумие и осторожность предписывают, а мстить за себя, конечно, в воле вашей... Но Бог лучше примет милость, чем справедливый гнев. Если попускает милосердный беззакония, Сам и направит во благо злые намерения. Не только против вашего величества и против последнего раба вашего, несправедливо утеснённого...

– Всё так, княгиня, но больно переносить от своих рабов, которых держишь в приближении... Ведь рассыпаются в уверениях преданности, а что сами творят? На кого я теперь могу положиться из этих баб, что меня окружают? На собаку-Ильиничну разве? Сбрех она, я это знаю, да спускаю ей многое за преданность. Ну как, скажи мне, кажется тебе она?

– Верной самой рабой вашего величества. Вчера приехала она ко мне и разговорились мы с ней по душе. Уж плакала, плакала баба,

пересказывая, как замечает она, что все вокруг вашего величества коварствуют... какие под неё-то, под самую, подкопы подводят? А всё та же Анисья, оказывается. Давно, значит, она при вашем величестве начала уже быть надвое?! Вам старается преданность, наружную только, разумеется, показывать... а на стороне, корысти, должно думать, ради, не только предаёт, ещё возводит – в угоду старым беззаконникам – всякие скаредные небылицы. И допытаться бы не мешало, государыня, что те-то затевают? Зачем им понадобилась, с позволения сказать, подслуга такая?

– Я и сама ломаю, ломаю голову, а всё догадаться не могу: что их заставляет отыскивать во мне эти пятна небывалые? Я полагаю, ты, княгиня, ведь сама рассудишь, что я вовсе не такова и далека от того, друг мой?

– Ваше величество, матушка ты наша, да коли бы я не была уверена, что это дерзкая ложь, разве бы я пересказала во всей наготе непутные басни?! Поостережётся невольно ведь приводить на память подлинное дело... тем паче власть имущим... Ино ведь как покажется?

Снова закипело сердце кроткой монархини, и хитрая княгиня Аграфена ловко свернула на зависть вельмож к светлейшему князю, заставляющую их, в слепой ненависти, чернить отношения правящего делами к носящей корону.

– Одна злоба и чернота души человеческой не видят в его светлости, князе Александре Данилыче, разумнейшего кормчего, ещё самым покойным государем так поставленного, что всё было ему вверяемо при всяком отсутствии его величества. Как же ему теперь-то не предоставить первенства над другими, всемилостивейшая государыня? – хитро подъехала княгиня.

– Всё так может быть... почему мне с князем и не посоветоваться, когда он опытнее всех? Я и сама того держусь, княгиня... но верь мне... бывают минуты, когда я сама замечаю, что Александр Данилыч берёт на себя много ведь лишнего. Заносится так, что другие могут подумать... и нелепость... Я перед ним не смею, вишь? Терплю я покуда, конечно, памятуя его заслуги и дельность, а верь мне, княгиня, едва сдерживаюсь,

– как сегодня, например... Вот узнаешь, когда в первый же раз придёт князь, – как отпою я ему прямо, что в последний раз спускаю дерзость. И пусть уж на себя пеняет, если ещё раз.

Княгиня Аграфена Петровна ухмыльнулась и только развела руками.

Государыня, не заметив, кажется, этого движения, предалась своей обычной откровенности и под влиянием её высказывала накопившее на душе неудовольствие.

– Князь, я тебе скажу, сегодня поставил меня в неприятное положение относительно будущего зятя. Тот привёз с собою очень приятных, образованных кавалеров, а Александр Данилыч показал к ним явное презрение, да не удовольствовавшись этим, Дивьера за них обругал, и сам не зная за что. Да так скверно всё это пришлось... за обедом. Я уж готова была бросить всё и уехать, но удержалась только ради княгини Дарьи Михайловны. А она, моя голубушка, уж надо сказать правду, умеет быть и приятной собеседницей, и хорошей, гостеприимной хозяйкой. Та, видя, как муж набросился на людей ни в чём не повинных, постаралась уж лаской своей загладить как-нибудь нанесённую неприятность. А я, назло князю, дала позволение Дивьеру лично ко мне являться с докладом и тех молодых людей приняла в свою службу камер-юнкерами. И ты, княгиня, должно быть, их знаешь? Это дети старика Левенвольда, что у кронпринцессы был.

– Знаю, ваше величество, предостойные люди, особенно старший.

– А мне больше понравился младший. Он из себя виднее и ловчее старшего. Тот больше годен, кажется, для военной, а не для придворной службы, а младший...

– Младший, ваше величество, гораздо хитрее и, несмотря на свою смазливость, души самой чёрной и совершенно без правил. Картёжник страшный и мот. Да ещё за ним водится один не малый и едва ли не позорнейший порок...

– Какой же? – спросила с удивлением императрица.

– Позвольте мне уж не приводить его, ваше величество! Если я принуждена буду назвать этот порок младшего Левенвольда, то могу

показаться в глазах ваших распространительницею самых грязных слухов. Мне и то неприятно, что ваше величество застали нас в объяснении с Анисьей Кирилловной и невольно должны были открыть её неказистое поведение.

– Да, правда, это мне очень больно, что в ком я больше всех была уверена, те и оказались способнее всех меня предать. Этого я Анисье никогда не прощу. В ней, стало быть, никогда не было ко мне ни привязанности, ни благодарности, ни чести.

– Я это вашему величеству давно уже говорила, да вы всё не хотели верить... вот и дождался! – вмешалась подошедшая Ильинична.

– Когда же ты мне говорила?

– Да много раз, и не дальше как вчера по поводу шута довела до слуха вашего, что шпион этот с Анисьей в стачке...да, чего доброго, и сам-от Ушаков, кто его разберёт, кому больше норовит: вам или кому другому?.. Усердие едва ли нуждается в подслушивателе... А что он вам сказал, прикрывая своё воровство, будто за нами хочет подсматривать, это самое, государыня, извольте хорошенько рассудить, и... не его дело, енеральское. Да и потому неладно оно, что иное и понять-то в женских надобностях не удастся мужчине... а не только ещё заставить подсматривать да подслушивать.

Лицо Екатерины I снова покрылось облаком мрачного подозрения. Перед её мыслью не только выяснилась теперь справедливость представлений Ильиничны о неудобстве секретного надзора, но и Ушаков явно показывался вредным человеком. Странное, поразившее всех дам за обедом у князя Меншикова поведение Ушакова тоже припоминалось теперь её величеству, возбуждая разные подозрения. Государыня задумалась.

Княгиня Аграфена Петровна и Ильинична тоже молчали, по выражению лица её величества судя, что в добром сердце Екатерины Алексеевны происходила борьба, направление и исход которой трудно было предвидеть. Но скорее всего можно было ожидать взрыва гнева, не разбирающего, как Божий гром, жертв своей ярости. А это расположило

умных женщин самих присмиреть, чтобы не подать никакого повода к вспышке. Лицо императрицы горело, и глаза метали искры. Екатерине в это время представилось очень многое, невыгодное для людей, к которым она чувствовала симпатию. Прежде же всего, князь Меншиков представился ей человеком, все побуждения которого были своекорыстны, а пути, выбираемые им для достижения желаний, ещё более способны оттолкнуть от него даже людей, питавших к нему сочувствие. Вопрос же о том, способен ли он быть признательным, разрешался в отрицательном смысле; так что государыня невольно содрогнулась. Услуги, оказанные князем, бледнели всё более и более. Екатерине I даже захотелось так поставить себя со светлейшим, чтобы он мог держаться лишь в пределах почтительной покорности и исполнения даваемых приказаний, без всяких советов и предложений.

Мало-помалу мысли монархини принимали всё более мрачное настроение. От князя Меншикова они перенеслись на Анисью Кирилловну, и государыня была тем больше раздражена её поведением, что до того времени она была, можно сказать, самую приближённую к ней особою, заменяла секретаря и была нянькою дочерей её. Отчего тогда она не проявляла такого корыстолюбия? Какую цель имели распускатели лживых слухов? Вот вопросы, которые волновали Екатерину и которые она не могла разрешить. Наконец она выразила своё недоумение в следующих словах:

– Никак в толк не возьму – что этих мерзавцев заставляет под меня подыскиваться, подкупая даже мою прислугу на шпионство?

Княгиня Аграфена Петровна, давно и внимательно следившая за переменою в лице её величества, услышав вопрос, подумала, что он обращён прямо к ней, и поспешила ответить:

– Честолюбцы эти узнаваемым ими нелепостям дают огласку, распуская их в народ посредством подмётных писём...

– Что?! Подмётных писем! Так старый чёрт Толстой и Головкин с зятем мне должны будут ответить за эти письма! О! Теперь я все понимаю... Попались! Сами, мерзавцы, дают против себя оружие... Княгиня Аграфена

Петровна, перескажи мне, кто Анисью-то собирался слушать: граф Пётр Андреич, Гаврила Иваныч и Павел Иваныч? А других ещё не знаешь ты в согласии с ними?

– Не знаю, ваше величество.

– Что же они думают сделать, смущая народ подмётными письмами?

– Добиться, вероятно, заполучения в свои руки всей власти, которая теперь, как они думают, в одних руках князя Меньшикова...

– Неправда, что в его одних руках... Я спрошу тебя, разве князь без меня или без того, что я ему скажу, своею властью делает что-нибудь или распоряжается от своего имени?

– Кто же это знает, ваше величество... Мы не знаем ни того, что он себе дозволяет, ни того, что вы ему приказываете.

– По военной коллегии разве? – задала себе вопрос государыня. – Да ведь и всякий президент коллегии по своей воле может так же распоряжаться. Зависть, значит, одна может выдумать такие наветы на нужного мне человека! Ну, скажи мне ещё, княгиня... Я знаю, ты умница и мне доказала свою преданность... что бы ты сделала на моём месте ввиду этих искательств и подыскиваний одних под других, ближайших слуг моих?

– Ваше величество, вы имеете возможность дать заметить, что вам известны эти недостойные деяния виноватых, и, наверное, они удержатся от дальнейших распрей и смут, – отвечала княгиня Волконская.

– А если это не поможет?

– Предать суду зачинщиков смут.

– Но, я думаю, надобно прежде добиться их признания: зачем они это делали и чего добивались? Не может же быть, чтобы только зависть одного к другому была поводом за мной, не трогающей их, шпионить? Тут другая причина!

– Желание управлять или распоряжаться источником силы...

– Как ты сказала, княгиня?

– Распоряжаться источником силы...

– То есть кем же это? Объяснись проще, пожалуйста...

– Своевольничать и других заставлять делать по-своему, надеясь на своё значение... при особе вашего величества...

– Ну, этого никому от меня не добиться... и князь Меншиков не простирает, я думаю, так далеко своего своевольства?! Я никому не позволяю... управлять... собою...

– Вероятно, эти люди по-своему думают... проводить ваше величество ложными представлениями и заявлениями...

– Да разве можно так безбожно и так явно меня обмануть, чтобы я не поняла козней? – с горечью в голосе вымолвила государыня.

– Да ещё как можно-то, ваше величество, – дерзко ответила Ильинична, – недалеко ходить за примерами... Вот вам представился Ушаков самым преданным слугою и способным всё открыть – кто и почему писал и распространял хотя бы те самые подмётные письма... только потребовал полномочии... ваше величество согласилось, неограниченно ему доверившись, поручить, как надо, разыскивать, и что же? Ничего он не открыл и не разыскал – я все ведь слушала, – а только вздумал вашего же шута, шпиона для других, сделать своим шпионом...

– Это правда, – подтвердила княгиня Аграфена Петровна.

– Мало того, я полагаю, ваше величество, что и Толстого, и Ягужинского он старался сперва только напугать, чтобы сделать своими орудиями... Или они его закружили... потому что похитрей; а дело розыска ведь не подвинулось.

– Да, как угодно, ваше величество, – опять вмешалась Ильинична и не без злобы произнесла, упирая на каждое слово: – А уж Андрей-от Иваныч, и не знаю я, как смело вас думает морочить; хоть бы и этим самым наказом-от своим, шуту...

– Хорошо же! – решила Екатерина. – Никакого наказа его не слушать! А шута я сама допрошу; здесь ли только он?

Ильинична пошла и воротилась с уведомлением, что он на половине цесаревен.

– Позови его ко мне...

Вошёл Лакоста и с подобострастной улыбкою отвесил поклоны её

величеству и княгине.

– Лакоста! Какой же ты дурной человек, что променял меня, твою государыню, от которой зависит даже твоя жизнь, на каких-то пакостников. Знай, они защитит тебя от моего гнева не смогут, а возбудить против тебя гнев могут и должны, заставляя тебя им пересказывать всё то, что здесь у меня делается! Я знаю теперь, что Ушаков тебе ничего не сделал, но зато я прикажу тебя сильнее наказать и... прикажу, если ты мне теперь же чистосердечно не повторишь всё, что ты там на меня лгал, отрезать сейчас же мерзкий твой язык! Не думай же, что кто-нибудь вырвет тебя из рук моих!.. Одно только спасёт тебя – искреннее признание...

Голос её величества, обыкновенно мягкий и ровный, постепенно возвышался, а в последних словах загремел, так перепугав шута, как он никогда ещё не трусил. Он повалился как сноп на пол и, весь трясясь, пытался припасть к стопам её величества, лишившись языка.

Гнев Екатерины I был, впрочем, только вспышкой, скоро утихшею; но и придя в себя, и успокаиваясь императрица продолжала громко приказывать Лакосте признаваться. Тот медленно освобождался от своего непритворного ужаса и стал наконец отвечать односложными звуками, при каждом почти останавливаясь.

Конечно, нужно было много терпения, чтобы выслушать Лакосту и вывести прямое заключение из его слов. Княгиня Аграфена Петровна, несколько минут внимательно вслушиваясь в его процеживание ломаных звуков поодиночке, с последовательными остановками, мигом сообразила, на что бил признававшийся, и обратилась к государыне с предложением:

– Ваше величество, позвольте мне Лакосту допрашивать и записывать всё, что он скажет? А то ваше величество изволите сильно утомляться... Я же, смею уверить... ничего не пропущу и...

– Очень обяжешь, княгиня. Слушай же, Лакоста, не думай, что княгиню тебе удастся провести... и говори как мне... всё ей... я тоже слушаю и буду, при случае, давать вопросы.

Шут наклонил голову, изобразив в фигуре своей воплощённую покорность жребию.

Государыня указала княгине пересесть подле себя с правой руки, к столу, а Аграфена Петровна, сев сюда, на ухо что-то шепнула её величеству. Знаком головы было получено разрешение, и княгиня начала допрос шута, взяв перо и записывая каждый даваемый вопрос по-немецки, вместе с ответом.

Она совершенно основательно решила, что Ушаков будет стараться, конечно, добыть для прочтения допрос шута. И найдутся усердные люди, чтобы показать ему не вынося отсюда; а немецкое письмо и получа Андрей Иванович не прочтёт всё-таки. К тому же, задавая вопросы по-немецки, княгиня могла по-немецки и получать ответы Лакосты, и ему труднее было в этих ответах увёртываться. Тогда как по-русски, в случае надобности, он умел представиться не могшим совсем подобрать слова для ответа. Немецкую речь не могли понять и женщины из низшей прислуги, если бы хотели шпионить. Хитрец Лакоста понял с первого же вопроса невыгоду для себя системы новой допросчицы, и это сознание, произведя в нём робость, заставило предать себя и свои признания воле Божьей. Он уже не пытался – как сперва было он думал – придумывать кое-что другое, скрывая существенное.

Вопрос княгини: "Давно ли ты пустился шпионить?" – уже поставил Лакосту чуть не в тупик. При повторении же этого вопроса государыней он очень тихо только сказал:

– Три года!..

Спрос: "Кому первому начал ты передавать?" – ещё более смутил хитреца. Но ответ: "Ивану Антоновичу" – заставил переглянуться Екатерину I и княгиню.

– Ему зачем? – по-немецки задала вопрос сама государыня.

– Не знаю, – вздумал было ответить, упираясь, шут; но гневный взгляд монархини, указавший на лежавшие на столе большие ножницы, привёл в трепет старого хитреца, вообразившего, что угроза отрезать язык теперь же готова и исполнится.

– Знаю, знаю! – запищал как-то комично Лакоста и прибавил: – Павел Иванович ему поручил.

– А он зачем? – спросила было княгиня, но государыня сама стала шёпотом объяснять ей, что Ягужинский с Авдотьей Ивановной Чернышёвой наблюдали за действиями Монса. – И для того служил он, – указала Екатерина на шута. – А что Черкасов у них был также орудием, я до сегодня не знала, – внушительно, на ухо прибавила Екатерина I княгине.

Много и других неожиданных новостей узнала Екатерина Алексеевна при допросе Лакосты, и княгиня записала всё очень бойким немецким почерком, нисколько не напоминаям руку дамы не только из русских, но и из образованных немок. Княгиня Аграфена Петровна составляла потому настолько редкое, если не единственное исключение, что с детства в родительском доме наострилась переписывать дипломатические бумаги в бытность отца под рукою у Гаврилы Ивановича Головкина. Теперь эта старинная канцелярская опытность неожиданно пригодилась, и с большою выгодой для дела, приведя в удивление императрицу. В глазах её величества княгиня бесконечно выросла, и Екатерина уже теперь рассчитывала заменить эту умную, преданную особю всех наиболее к ней приближённых, не выключая и Макарова. Он с кончины государя чересчур уже предавался приятной уверенности, что его как бы нечем заменить, а потому он может себе позволять чуть ли не всё, что взбредёт в голову. Хитрость этого человека, дававшая ему возможность угождать и взыскательному Петру, с кончины его как бы парализовалась ленью.

Со своей стороны Аграфена Петровна, как дальновидная советница, после признания Лакосты – когда выслали его из комнаты её величества, но оставили ночевать в приёмной, настрого запретив отлучаться, – дала мысль: призвать для личных объяснений всех тех, кто поручал шуту справки и наблюдения.

Государыня согласилась на это, но с одним условием: что её величество сядет у самой завесы алькова в опочивальне, а княгиня поместится за

занавесью, сзади кресел государыни, и при необходимости проявит гнев для острастки виноватого; Аграфена Петровна потянет книзу складки платья монархини, а для удержания вспышки – вверх. Решение принято, и (кроме Ягужинского и Чернышёвых) приказания посланы.

Среди бесед и уговоров наступила глубокая полночь, и комнатные женщины, накрывшие давно ужин, не видя выхода её величества, придумали перенести стол со всем приготовленным прямо в опочивальню. Тихо распахнулись обе половинки двери, и быстро подкатился на колёсах стол с кушаньями и напитками, не потревожив ни её величество, ни советницу и не перервав нити разговора. Затем женщины удалились, а Ильинична сочла нужным обратить августейшее внимание на необходимость подкрепить силы перед сном.

– Вашему величеству теперь больше, чем в другое время, нужен отдых, чтобы подготовиться к тяжёлому приёму людей, с которыми придётся вам крепиться, выслушивая их увёртки и новые плутни...

– Твоя правда, Ильинична... подкрепимся. Но если бы вы знали обе, как сделалось больно моему сердцу при напоминании, что я со всеми должна играть комедию... и...

Её величество не договорила, но взгляд, полный горечи и отвращения, досказал смысл фразы. Предаваясь мрачной думе, Екатерина I машинально налила какого-то вина в стоявший перед нею кубок и залпом выпила его, думая, как бы залить жгучую боль от поднявшейся желчи. Минутное облегчение не ослабило утомления, усиленного неприятными открытиями, и к концу ужина сон склонил на пуховик отяжелевшую голову кроткой монархини.

Ильинична и княгиня, наоборот, бодрствовали; обе советницы не заметили в интересном разговоре, шёпотом, наступления дня. Речи свои они не перервали и тогда, как вокруг них уже началась обычная дневная суета. Уж в приёмной её величества Иван Балакирев вежливо начал отказывать назойливым посетителям, прося прийти в другое время, потому что её величество после болезненного припадка только что заснула. Этот же ответ получили от Балакирева даже Андрей Иванович

Ушаков и Макаров. Оба господина явились во Дворец вместе, с раннего визита и совещания у светлейшего князя, ещё не отучившегося от петровского порядка вставать чуть не с петухами. Так как Ушаков считал, что в первую очередь надо решить все его предложения, то светлейший князь и поручил Макарову с них именно начать свой доклад по кабинету её императорского величества.

Если бы необычный сон её величества не представлял непредвидимой задержки, то Андрей Иванович рассчитывал всё заполучить ещё утром, вместе с распоряжениями о новых лицах и отношениях к ним государыни, по его представлению. В числе этих новых лиц и предположений было предложение немедленно удалить Ильиничну: она видела, как Ушаков подъехал к дому Толстого, по возвращении с обеда светлейшего, и у Андрея Ивановича сложилось тотчас соображение удалить её скорее, чтобы не предала. А что она, баба хитрая, поняла многое при встрече и намотала себе на ус – в этом Ушаков не сомневался. Знал Андрей Иванович и то, что за человек княгиня Аграфена Петровна, ехавшая с Ильиничной в одних санях. И её тоже думал попридержать усердный разыскиватель, а затем хотел предложить – приличия будто бы ради – возвести в церемониймейстеры шута Лакосту, с поручением ему докладывать о приходе разных лиц в приёмную её величества, вместо Балакирева. Того же он предполагал назначить комиссаром работ, с рангом выше гвардейского прапорщика, но с удалением совсем от очей государыни. И сам светлейший будто высказал, что неприлично входить такому молодому человеку в опочивальню её величества или в уборную, где монархиня бывает в неглиже. Макаров даже предлагал, с назначением Балакирева в интенданты, прямо услать его теперь в губернии: ревизовать запасы и переурочивать повинности по дворцовым волостям, которые, за недосугом, лет двадцать не были смотрены никем из верных людей.

– Женим Ваньку на Дуньке Ильиничниной, и пусть он себе зашибает что придётся, а нам поперёк дороги не торчит, – решил великодушно Алексей Васильевич.

– Вот так молодец, Алёша! – похвалил Андрей. – А то этот верхогляд норовит всё выше лететь и от нас рыло воротит, стервец, как я уже заметил. И штука, я вам скажу, ваша светлость! Не смотрите, что исподтишка подходит да чуфисы бьёт ...

– И того нет! – отозвался светлейший, начиная ходить по кабинету, как бывало у него перед вспышкой гнева.

Оба советника по этому признаку раздражения, переглянувшись, заключили, что пора им закрыть совет.

– Одначе мне, ваша светлость, кажись, пора за дела приниматься, – выговорил робко Ушаков да тут же и вставил. – Довольно будет на первый раз. И то заранее трудно сказать, удастся ли?

Макаров также не совсем одобрительно качнул головою.

– Ну, хоть и так покуда... – решил, начиная ещё что-то припоминать, светлейший. – Помните, я буду часов около двух. После обеда сосну чуточку и тогда уже опять буду молодцом.

Произнося последние слова, Александр Данилович приосанился и взглянул в зеркало, проходя мимо него, – ненароком, должно полагать.

Фортуны, однако ж, древние справедливо представляли женщиной молодою и капризною, любившею ежемгновенно изменять положение с поворотом колеса. Лучшие намерения и прекрасно соображённый план советников оказались мгновенно разрушенными от самого прозаического повода – её величество была разбужена раньше, чем должно. А сделала это Ильинична по усиленному о том домогательству Алексея Васильевича Макарова. В сущности, бабе самой хотелось скорее начать заученную роль гофмейстерины, и она рада была, что имеет повод сослаться на другого, если императрица изъявит неудовольствие. Войдя же в опочивальню и став у изголовья государыни, начинавшей уже просыпаться, она громко сказала:

– Неравно головка разболеться может... Вам бы, ваше величество, малюшка да открыть оченьки? Право, так... Да и Алексей Васильич здесь... Покою не даёт который уж раз: "Надо, – говорит, – всенепременно доложить".

– А-а! Что-о?! – зевнув, переспросила государыня, делая недовольную мину человека, отрываемого от очаровательных грёз к гадкой прозе. – Провал бы взял тебя, Ильинична, и с Алексеем Васильичем. Только успеешь забыться, как ты, негодница, и начинаешь меня мучить...

– Да я, государыня, ни при чём тут, сами рассудите. Приказ вы же отдавали: будить непременно, если будет настаивать. Почему я знаю, что вам неуютно его принять? Вижу, вздрагиваете таково неладно что-то, вот я, по рабскому моему усердию, и заговорила неравно – думаю – головка бы не разболелась, коли переспите.

А у государыни действительно началась головная боль.

– Так и впрямь, думаешь ты, лучше будет ещё не засыпать... а разгуляться? Спасибо, коли так, за остережение, а голова подлинно болит...

– Так, ваше величество, лёжа его выслушаете? Он говорить или читать будет, вы услышите... мало-помалу и очунетесь...

– Пожалуй, введи... Только я не встану ещё...

Княгиня стала за занавес, её задёрнула Ильинична и ввела Макарова.

– Ну, что у вас там нужное такое? – сердито позёвывая, задала вопрос кабинет-секретарю государыня.

– Да несколько представлений светлейшего, не терпящих отлагательства...

– Каких таких?! Посмотрим! Читай!

Макаров прямо и зачитал о даче дворов: пятидесяти – княжне Марье Федоровне Вяземской, у которой будто бы деревенька родительская сгорела, да за усердие сто дворов – генералу Ушакову.

– А есть свободные дворы-то?

– Как же, ваше величество... и гаки есть в Лифляндах, и дачи...

– Отдать же княжне, бедняжке, все полтора ста дворов. Я ею довольна была всегда. А на пожарное дело нужно пособить. А Ушаков... переждать может. Он нам всё только обещает приложить усердие. Просил позволения забрать кого нужно – позволила я, а он же пришёл да говорит сам: "Всё пустяки... незачем брать в допрос". Пустой, значит,

человек! Хотелось ему у нас доклад получить да чин генерал-адъютанта?! Посмотрим ещё... да коли ещё что соврёт, так и снимем этот чин. Не стоит... Сплетник и каверзник он. Не больше того!

А Ушаков тут уже был и при произнесении своей фамилии наставил ухо, стоя в отворённых дверях передней. Его как громом поразила высочайшая резолюция, а неожиданный отказ привёл даже в бешенство, которое готово было разразиться над первым встречным, кто бы пришёлся по силам. Но глаза Андрея Ивановича напрасно искали здесь предмета, на котором бы можно было сорвать свой гнев.

Балакирев стоял у окна на Неву и смотрел в него, стоя спиною к генералу. Андрею Ивановичу страх захотелось привести к порядку субалтерного офицера, но боязнь, как это ещё примется теперь, не усилит ли, чего доброго, ещё пуще августейшего неодобрения его действий – остановила даже и этот порыв. Мелькнул сквозь отворённую дверь в коридор у цесаревен Лакоста, но, завидя генерала, сам поспешил ловко скрыться, так что Андрей Иванович не заприметил даже – куда? Словом, образовалось вдруг и неожиданно самое скверное положение, и это после того, как он полагал, что всё пойдёт как по маслу!

Макаров попробовал было сколько-нибудь ослабить невыгодное мнение императрицы об Ушакове и заговорил о наговорах, которые могут иногда несправедливо обнести честного человека.

– Как тебе не стыдно, Алексей Васильич, – с гневом прервала Макарова государыня, – и называть-то честным человеком того, кто сам мне говорил, что Лакосту сделал шпионом для себя! Эта ли заслуга его, которую светлейший находит достойною награды?

Макаров прикусил язык и поперхнулся, а Ушаков, услышавший ещё и это, готов был сквозь землю провалиться. Он судорожно как-то замотал головою и, махнув рукою, с ощущением, что всё погибло, ушёл не оглядываясь из приёмной. А недавно ещё он входил туда с такими радужными мечтами... В воротах с Большой улицы на дворцовый двор с растерявшимся Ушаковым столкнулся сияющий надеждою восстановить своё прежнее положение генерал-адъютант Дивиер.

Он был в полной форме и в правой руке держал свёрнутый в трубочку рапорт о благосостоянии столицы. На крепости куранты начали играть полдень.

Явление генерал-полицеймейстера в приёмной её величества изменило несколько положение лиц, прямо заинтересованных в деле. Балакирев, раскланявшись с Антоном Эммануиловичем по всем правилам придворного этикета, поспешил сообщить о нём Ильиничне, стоявшей в коридорчике перед опочивальней в ожидании Дивиера, о приёме которого ночью рассуждали. Ильинична из гардеробной прошла неприметно за занавес к кровати и шепнула государыне. Екатерина в это время задавала своему кабинет-секретарю разные вопросы, на которые приходилось ему давать медленные и только односложные ответы, очевидно немало затруднявшие не подготовленного к ним дельца.

Так что слова "Ну... я должна встать теперь, покуда прощай, Алексей Васильич!" – очень обрадовали недовольного Макарова, и он быстро удалился.

Макаров встретил в приёмной Дивиера, он на поклон его только ответил:
– Знаю, что поспешили!

Дивиеру, однако, ещё пришлось подождать больше четверти часа, пока он был допущен на аудиенцию. Государыня, уже одетая, с признаком почти сглаженного недовольства на приветливом лице, сидела в креслах своих, вдвинутых в альков настолько, что спинка их, казалось, вдавливала тяжёлую бархатную занавесь, образуя над головой её величества складку, вроде балдахина.

Справа, между креслом и стенкою к коридору, стояла, тоже одетая по форме, в фижмах и с фонтанжем на голове, Авдотья Ильинична, новая баронесса Клементьева, сановитостью поступи и осанки ничем не проявлявшая непривычки к данной ей роли придворной дамы. Дивиер, войдя, склонился перед государынею и, поцеловав руку, выпрямился, подал рапорт, произнеся обычную фразу:

– Имею честь представить вашему величеству рапорт о благосостоянии вверенной мне столицы.

– А что же ты не прибавляешь, Антон Мануилович, по примеру товарищей, что всё у вас обстоит благополучно? – сказала ему приветливо государыня.

Бесстрастное лицо Дивиера подёрнула чуть заметная улыбка, и он поспешил ответить:

– Боюсь сказать неправду вашему величеству, сознавая хорошо, что вы, государыня, лучше меня знаете, что не может обстоять всё благополучно у нескольких хозяев, отдающих каждый от себя приказания. Выполняя одно, устраиваешь невыгодный разлад с другим. Ну... и выходит кутерьма, при которой трудно поручиться, что всё будет благополучно.

– Я спрашиваю не о будущем, а о теперешнем, – прямо поставила вопрос государыня.

– И о теперешнем не смею того же сказать, когда знаю, что мимо меня оцепляет Ушаков дома и входит в стачки с теми, кого берётся арестовать.

– Ты прав, Антон Мануилович. Я виновата, что ему поверила, а теперь понимаю, что ему-то и не следовало поручать ничего. Делай ты всё, что делал при покойном государе, но ты поручись уж мне, что подыскиваньё одних на других больше не будет.

– Не могу, ваше величество, потому что вижу и знаю, что под меня самого больше всех подыскиваются и готовы бы меня в ложке утопить... ещё называясь родными...

– По крайней мере... против родни-то своей поручись мне, что ты готов идти, служа мне верою и правдою!

– Готов, ваше величество! У меня нет ни друзей, ни родных там, где требует долг и моя обязанность. Велите взять – возьму кого угодно... и на уговор не пойду. В этом могу поклясться честью, которой у больших людей, говорят, будто не хватает.

– Зачем клясться! Я и так верю, если говоришь искренно. Вчера я слышала сама, как на тебя напали безвинно. Я тебе помощница и поддержка: не бойся никого, и, кто бы тебе ни сообщил мою волю, – прежде чем выполнить, переспроси у меня.

– Слушаю, ваше величество!

– А что ты знаешь о подмётных письмах?

– То же, что и все, ваше величество.

– А что все знают про них?

– Что это манёвр врагов светлейшего князя – возбуждением ропота в народе поторопить устранение его от дел...

– Для чего же это?

– Чтобы остановить захваты, поборы, бесчинства и притеснения всякого рода всем, делаемые князем и его любимцами, которым он даёт всегда полную свободу наживаться...

– Как же остановить это?

– Арестом князя и устранением его от дел.

– Но ты знаешь, что я ему слишком обязана, чтобы показать себя настолько строгою даже ввиду явных моих на него неудовольствий. Он вправе тогда будет считать меня не ценящею его заслуг и... неблагодарною...

– Ваше величество можете отнять от него только заведование большими суммами и непосредственное распоряжение чем бы то ни было, пожаловав новое назначение – ревизора действий других... Или изволите дать его светлости поручение что-либо осмотреть; или выполнить какое-либо дипломатическое важное поручение, требующее удаления из столицы. Для управления делами здесь потребуются, за его отсутствием, другое лицо... и не одно даже... а в их руках и останется заведование. А там, по возвращении, дать изволите и другое поручение для отъезда...

Екатерине никогда ещё с этой стороны не представлялся вопрос о возможности ослабить значение силы князя Меньшикова. Новость предложения поразила государыню неожиданностью, но природный ум тут же подсказал, что в этом проекте много практической пользы и немало в нём пунктов, где личному честолюбию князя открывается новый путь, суливший усиление его власти, которой всегда и всюду неразборчиво добивался министр из пирожников.

– Хорошо! Я подумаю об этом... Спасибо! Твой совет дельный и... дальновидный! – произнесла государыня с расстановкою, погружаясь в

думу.

Дивиер хотел уйти.

– Останься, Антон Мануилович! Я хотела что-то ещё теперь же приказать тебе... Да! Скажи, пожалуйста, что мне делать с Лакостой! Ушаков...

– Приголубил его для своих выгод... Знаю, государыня... Я давно уже учредил надзор за тем и другим... не прикажете ли также накрыть мне их, как Ушаков у Толстого – Лакосту? Только я посылать вашего шута не буду, как Андрей, а накрою тогда, когда ни тот, ни другой и чуют не будут, что их слушают и видят.

– Нет! Этого покуда не нужно. Старик во всём признался... Я передам тебе его допрос, нарочно писанный по-немецки. Ты сообрази, что нам делать. Где же допрос, Ильинична?

Та – к столу в предпочивальне. Искала, искала, – нет. Пропала бумага.

– Ведь нет допроса! – не без ужаса ответила гофмейстерица.

– Это Макаров стибрил! – шепнула государыне из-за занавески княгиня Аграфена Петровна.

– Как это гадко! – не скрывая неудовольствия и беспокойства, сказала государыня. – Иван! Воротите Макарова ко мне, где бы его ни встретили. Летите... Если уехал – возьмите лошадей вдогонку! Чтобы был сию минуту... никуда не уклоняясь и не свёртывая!

Балакирев полетел. На счастье, вбежав в конторку, он встретил выходявшего надевать шубу свою Алексея Васильевича.

– Сию минуту к государыне! – крикнул Балакирев и, приставив к его уху рот свой, шепнул кабинет-секретарю: – Да с тою бумагою, немецкой, которую вы невзначай захватили на столе, в комнате перед опочивальнею.

– С какой бумагой? – вздумал хитрить Макаров.

– Чего тут спрашивать? – ответил обыкновенным голосом раздосадованный посланный царицы. – Увёртка ни к чему другому не поведёт, как, может, только к отдаче под арест Дивиеру. Сильно сердятся...

Макаров, не отвечая, воротился к своей конторке, отворил её...

порылся... и, что-то запихнув в боковой карман, вновь запер и последовал за Балакиревым, храня молчание. Одни только наморщенные брови и лихорадочно бегавшие глаза показывали сильное волнение и неприятные чувства дельца.

Вбежав впереди Балакирева в переднюю, Макаров сбросил на пол картуз и шубу – и прямо в опочивальню.

– Виноват, ваше величество... Не знаю, как смешал с своими докладами здешнюю бумагу, на столе, – скороговоркою, подавая рукопись княгини Аграфены Петровны, произнёс в своё извинение делец, не придя ещё в себя от сегодняшних неудач.

– Прощаю! Дай только её сюда. Не знаю, однако, как тебе могла попасться бумага, когда ты бумаг своих из рук не выпускал. Не велю одного пускать тебя. А в другой раз, если осмелишься унести, мы поссоримся, Алексей Васильич. Ступай же куда тебе надо. Я не держу больше.

Как оплётанный, совсем растерявшись, выкатился Макаров и, держа картуз в руках, в шубе, с открытою головою, так и дошёл до саней своих.

– Это чёрт знает что такое! – крикнул он в бессильной злости, ни к кому не обращаясь, и, размахивая руками, сел в сани.

И государыню, и княгиню, за занавесью, и Дивиера передёрнуло от последнего пассажа Макарова.

– Ну, этот-то куда воротит? – не удержалась Екатерина I.

Дивиер пожал плечами.

– Ты не знаешь, Антон Мануилович, в чью пользу норовит Макаров?

– Как не знать, ваше величество? Видно, духи были собраны на совещание у светлейшего чуть не с полночи... Он прямо к вам – от светлейшего.

– Так ты прав, мой друг, вполне, советуя князя удалить... Дольше будет при нас – всех людей перепортит. Ни на кого нельзя будет положиться.

– На меня можете, ваше величество. Я знаю, что уже намечен князем – как жертва его мстительности, но боязнь не переменит меня и опасение за судьбу свою не заставит отступить от долга присяги! – со вздохом,

грустно, но торжественно сказал Дивиер.

– Жертвой, пока жива, ты не будешь ничьей, Антон Мануилович! Служи так же и с этою же доблестью, и я вверяю себя одной твоей охране!

– Охранять ваше величество не берусь и не могу, не распоряжаясь ни одним полком. Все войска зависят от коменданта, и караулы – тоже. У меня инвалиды одни да дневальные с трещотками. Так много взять на себя рассудок не позволяет. И комендант – человек преданный тому, кто его поставил.

– Кому же?..

– Светлейшему.

– Что же, переменить его, или ты будешь комендантом?

– Пока светлейший шурин мой – президент военной коллегии, я должен бежать какой бы то ни было военной команды! И без того неприятностей по десяти на день.

– Я тебе дам команду в гвардейских полках.

– А Бутурлин что же будет, ваше величество?

– Разве ты с ним не ладишь?

– Он орудие светлейшего князя...

– Так все военные, по твоим словам, его, а не мои слуги?

– Частью, ваше величество... по крайней мере начальники: каждый думает угодить ему больше, боясь его больше...

– Кто же тогда за меня? – всплеснув руками, с непритворным порывом отчаяния молвила императрица. – Одни духовные?

– Не думаю, ваше величество, – ответил холодно, но твёрдо бесстрастный Дивиер.

– Как?! И духовные... архиереи... преданы князю?

– Президент – да! Вице-президент – нет, потому что виляет и ищет кому служить выгоднее... а прочие – кто приголубит.

– Не лестное же ты, Антон Мануилович, имеешь мнение о владыках!

– Сила обстоятельств, ваше величество, – с тяжёлым вздохом молвил генерал-полицеймейстер.

– А, ты признаешь, говоришь, в обстоятельствах силу... а не во мне?! Что

же это за обстоятельства и в чём их сила и значение?

– В возможности делать что угодно... прямо...

– А разве я этого не могу? – с нетерпением, соединённым с затронутым самолюбием, спросила решительно государыня, бросив на Дивиера молниеносный взгляд.

– Могли бы... но до сих пор не изволили заявлять, а князь...

– Заявляет свою мощь всем, хочешь ты сказать?

– Так точно, ваше величество.

– Жалею же я тебя, что ты так мало знаешь меня! – величественно ответила Екатерина I и, поднявшись с кресла, протянула вперёд правую руку, указав перстом в пол. – Я заставлю склониться своекорыстного честолюбца!

– Дай-то Господи, государыня! Подкрепи вас сознанием... не подчинять верных слуг прихоти подданного.

И голос его задрожал от сильного волнения. При последних словах в дверях приёмной показался старый сенатор граф Пётр Андреевич Толстой и от порога первой комнаты принялся отвешивать низкие поклоны, увидев императрицу.

– Граф Пётр Андреевич, зачем ты у меня смущаешь верных подданных?

– завидя его поклоны, полушутливо-полугневно молвила Екатерина.

– Не могу знать, ваше величество, о ком изволите говорить это вашему преданному слуге, – тоже как бы шутливо отозвался старец, скорчив самую невинную мину.

– Я о тебе говорю, зная верно, что ты собираешь сплетни самые скверные обо мне, даёшь им веру и распространяешь в народе нелепые толки.

– Толковать народу о чём бы ни было ваш слуга хоть бы и хотел, да не может, ваше величество... ноги едва носят... а слухом земля полнится... ино что услышишь от людей и про вашу персону... виноваты те, кто лгут... Слушаешь, иное и нелюбо, а как прямо сказать, что не веришь? Я и про себя скажу, поверишь из десяти одно. А чтобы ничему не верить и всем глотку зажимать – не говори... моя старость не допускает... Тогда все

умники закричат: старый совсем с ума сбрёл! А насчёт чего другого, коли на меня есть донос вашему величеству – ответ держать готов ... и не запрюсь в том, в чём виноват... и без того зажился на свете... Восемьдесят второй уж с Крещения, – чего же больше! А буде в чём невольно провинился, в прошибности... ненароком, ин Бог и государыня, может, помилуют кающегося?

И сам склонился на колени, опустив на руки седую свою голову.

– Я готова простить с одним условием, граф, что ты отстанешь от сообщества пускающих подмётные письма...

– Подмётные письма, говорите, ваше величество? Да я первый враг им... По мне, непорядки прямо обличай! Да я и не знаю, какие у нас непорядки? Один больше всех власть забрал? Так ропот тут и был, и останется, потому что всегда бывают пересуды того, чему особенно не можешь пособить. Все мы, грешные, таковы! И ближнего, и дальнего осуждаем. Да это к предержавшей власти не относится. Почитать предержавшую власть я всегда не прочь. Никто не назовёт Петрушку Толстого не готовым жизнью пожертвовать за главу правительства. А своей головы я уж с сорока годов не щажу – в угодность власть держащим. Царевна Софья Алексеевна старшинств-царя Ивана выставила нам, – мы против вашего покойного супруга сумятицу устроили и выбранного царя, почитая в нём малолетнего, присудили взять, как старшего брата, в соцарственники. Как резня началась – вскаялся я, да не скоро уймёшь стрелецкую чернь. Зато не стал я за царевну, как вырос государь Пётр Алексеич. Не поноровил и царевичу, когда блаженныя памяти супруг ваш велел привезти его. Не против был и воцарения вашего величества, – нас несколько только думали, что доброта ваша, государыня, нуждается в руководстве не какого-нибудь Александра Меншикова, а целого совета, в котором бы он был только членом, со всеми равноправным. А в этом совете должны заседать – чтобы смуты напрасной никто и из нас не заводил – цесаревны, дочери ваши обе, зять ваш, как обвенчается, его светлость герцог Голштинский, внук ваш, царевич Пётр Алексеевич, сестрица его, да из нас, сенаторов,

кого ваше величество почтёте. И все дела докладывать такие, которые Сенату не под силу, также и Синоду тем паче – денежные. Пётр I говорил недаром, что народные деньги – святые деньги и ими корыстоваться хапало какой-нибудь, поостеречься бы должен...

– Какие там хапалы? На кого ты, граф Пётр Андреич, наветы делаешь её величеству? – идя ещё по первой комнате от приёмной и поймав на лету последние слова, с надменностью спросил, возвысив голос, князь Александр Данилович Меньшиков.

Голос Толстого не дрогнул:

– Коли хочешь знать, кого старые сенаторы называют хапалами, так знай – первого тебя!

– Это что значит?! Как ты смел меня обносить вором, в присутствии её величества?

– Так же смел и смею, как ты, в высочайшем присутствии, – кричать на меня, сенатора, такого же, как ты! – вспыхнул неукротимый Толстой, понимая, что выслушанное от него раньше уже порукой, что государыня не поддержит надоевшего ей Данилыча.

– Ваше величество! – завопил Меньшиков. – Защитите несправедливо обносимого таким висельником, как этот Толстой, исконный изменник, стрелецкий ещё... смутник!

– Ну, ещё что выдумашь, Меньшиков? Стрельцами меня корить, а сам забыл, что твой тятка, Данило Меньшик, первый был поджог своей братьи. Да за то ещё царевной Софьей спроважен в дальние остроги и там неизвестно куда сгинул. Стало, теперь светлейшему князю не след меня одного корить делом, где его родитель из первых был.

– Вы оба не правы, – спокойно вымолвила государыня. – Ты, князь, не должен был вмешиваться в разговор графа со мной, а ты, граф, – отвечать на его недостойную выходку. Я с сожалением должна сказать перед всеми здесь теперь находящимися, что князю Александру Данилычу следует не так совсем вести себя в моём присутствии. На людей набрасываться нигде не следует, тем паче умному человеку, а корить кого-либо в моём присутствии – такое забвение всякого приличия,

за которое и заслуженные люди призываются к ответу.

– Я готов подвергнуться гневу вашего величества, но прошу защитить мою честь от клеветы, – ответил не смиряясь Меньшиков.

– Вместо гнева, вами заслуженного, прошу вас, князь, успокоиться и извиниться перед графом Петром Андреевичем в вырвавшихся у вас в гневе словах.

– Он первый меня обидел...

– Вы первые начали... извинитесь вы, и он не прочь будет оказать вам эту честь, – строго и внушительно прибавила императрица.

– Я готов, ваше величество, принести здесь извинение и просить суда на моего врага, – ответил, не оставляя своего раздражения, князь.

– А я на суде готов доказать справедливость своих слов, которые сделались причиной гнева светлейшего князя, – ответил с достоинством Толстой.

– Я, императрица ваша, ценя в каждом из вас заслугу, прошу теперь подать друг другу руки и дать мне слово, что разобрав свою распрю вы предоставляете мне, заявив об этом в моём присутствии. Давайте же руки.

Враги-соперники протянули молча руки, и императрица вложила руку одного в руку другого.

– Я желаю, чтобы отныне вы действовали для общей пользы государства, – рекла Екатерина, – и вы дадите мне слово, что свято выполните мой единственный вам приказ-совет, господа!

– Я готов, ваше величество, – ответил Меньшиков, – когда граф Пётр Андреевич или отступится от своих обидных мне слов, или даст слово не позорить меня и будет держать его.

– А ты как, граф? – спросила государыня промолчавшего Толстого.

– Мне, государыня, лучше ничего не обещать... потому что дать такое слово, как угодно светлейшему, мешает... он знает хорошо что...

– Что же это мешает? Говори!.. – надменно спросил Меньшиков, взглянув через плечо на умного старца.

– Твоя, князь, жажда приобретений, с каждым годом увеличивающаяся.

Как же поручиться, что я не буду вынужден – хотя бы и не захотел нарушить слово, – заговорить о новых твоих поползновениях... если бы я и забыл всю старину.

– Так я и слушать тебя не хочу! С глаз моих... не раздражай меня!

– Что я слышу, князь! Ты так скоро забыл мой выговор? – строго ответила вместо Толстого удивлённая новою выходкою Меншикова сама императрица.

Меншиков молчал, но видно было, что молчание это продлится недолго.

– Оставь же нас, князь Александр Данилыч, и не являйся сюда без нашего указа! – грянула, выйдя из себя, Екатерина I.

Меншиков медленно удалился, пылая яростью.

Он не смел явиться к её величеству и в день Пасхи, памятный по неожиданным событиям.

День Пасхи в 1725 году был превосходный и такой тёплый, какие редко выдаются в это время года. После приёма во дворце предложено было августейшему семейству покататься в фаэтонах, как бывало при начале весны при покойном государе. Её величество соизволила, и наличные придворные кавалеры вызвались править одноколками, заявляя своё уменье.

– Кто меня повезёт? – спросила милостиво монархиня, выйдя на крыльцо.

Левенвольд-младший, вооружась бичом и забрав вожжи, стал у подножки кабриолета-фаэтона и ловко помог её величеству сесть, потом сел сам и пустил лошадей.

Молодой граф Апраксин повёз старшую цесаревну, а герцог Голштинский взялся править кабриолетом, в который села великая княжна Елизавета Петровна.

Одноколки быстро покатали, но на первом же повороте с набережной в длинную просеку, ведущую к Екатерингофу, потеряли из вида передний фаэтон императрицы.

В конце Адмиралтейского острова, перед устьем Фонтанной речки, распутившееся болото ничем не отличалось на вид от обыкновенной

грязной дороги. Но проезжую дорогу возница, по-видимому, давно уже, незаметно для себя, потерял. Положим, и там, где он ехал, была тоже дорога или, вернее сказать, довольно наезженная тропка, но только в сухую пору, потому что весной её во многих местах подмывало. Лошадь, пущенная по топкой грязи, вдруг ушла по брюхо и не могла дальше двинуться ни взад, ни вперёд.

При этом курьёзном пассаже государыня захохотала, не предвидя ничего опасного, но Левенвольду, далеко не привычному к петербургской езде и слыхавшему о трясилах в этой стороне, с испуга представилось, что он попал в одну из них, что ему грозит неминуемая гибель в то именно время, когда в уме честолюбца зароились самые дерзкие надежды на достижение благосклонности августейшей спутницы по путешествию, грозившему так плачевно кончиться. От одной этой мысли Левенвольд лишился дара речи и в пылу отчаяния, выпустив из рук вожжи, соскочил в топкую грязь и увяз в ней по пояс. При обуявшей его при этом панике он сам не понимал, как рванулся вперёд и выскочил на кочку. Но ужас, достигший крайнего предела, поднял у него волосы дыбом, когда кочка, от наскока его, заколыхалась.

А её величество, продолжая хохотать, тронула вожжи и попробовала направить лошадь назад. Добрый конь, поняв манёвр своей повелительницы, действительно подался назад, но почему-то, очутясь на более плотном грунте, своротил вбок и зацепил одним из задних колёс кабриолета за что-то настолько устойчивое, что экипаж остановился. Очутившись в этом положении и одна в кабриолете, государыня заметила пробиравшихся в стороне узкою тропкою двух всадников и стала махать им платком.

На платок подлетел передний всадник, в цветном бархатном не то охобне, не то кунтуше. Он избрал кратчайшую дорогу и, подъехав к экипажу, учтиво заговорил по-польски, предлагая неизвестной для него даме перевезти её на сушу на своём коне.

Монархиня, говорившая по-польски, ответила согласием принять эту услугу, и могучий всадник совершил манёвр пересадки её к себе на

седло чрезвычайно ловко. Затем вместе с своим спутником, избравшим для проезда дальнюю дорогу, герой подвига освободил из грязи кабриолет.

– Кому я обязана благодарностью за освобождение из такого неприятного положения? – спросила государыня по-польски оказавшего услугу.

– К вашим услугам староста Упитский, Ян Сапега, панна милостивая, – отвечал скромно всадник. – Мы, в ожидании представления её величеству, здесь заждались... и ездили по бекасы, как увидели вас...

– Другого представления мне не нужно, князь, и рекомендации тоже, после доказательства вашей любезности! Прошу только вас свезти меня домой, но освободите моего злосчастного камер-юнкера!

Сапега что-то сказал своему спутнику, и тот, сидя на коне, вытащил Левенвольда из грязи, но, увы, в отвратительном виде.

Не занимаясь более ни им, ни несчастным приключением, государыня попросила Сапегу сесть в её кабриолет, поворотить лошадь и ехать обратно. Выехав снова на настоящий путь, скрывавшийся за большою ивовою рощею, государыня увидела вдали кортеж своих спутников.

– А! Вот уж они где! – сказала она по-польски своему новому вознице. – Нам нужно их догнать, чтобы они не стали искать меня.

Князь Ян направил коня по большой дороге вслед за скакавшими кабриолетами, и через минуту её величество присоединилась к кортежу.

– Как же вы, мамаша, позади-то нас очутились? – не выдержала цесаревна Елизавета Петровна.

– Левенвольд завёз меня в болото, и без великодушной помощи князя Яна Сапеги, душа моя, вам бы пришлось долго меня ждать, – сказала государыня. – Поблагодари его ещё раз за меня и проси: быть у нас запросто.

Князь Сапега только раскланивался и говорил с большим тактом любезности, теперь уже не по-польски, а по-русски. Положим, выговор у него был не совсем чист, но при умении говорить вообще остроумно и кстати этот незначительный недостаток с лихвою выкупался у него

содержанием разговора. К тому же, чуть не с рождения обращаясь в придворных сферах, князь усвоил себе самые деликатные манеры высшего общества: Сапега прекрасно говорил по-немецки, по-французски, по-итальянски и по-латыни даже и успевал на любом языке отвечать двоим или троим. Цесаревнам насказал он, каждой, много всяких комплиментов на французском языке и очень ловко вставлял в русскую речь иностранные слова, когда не надеялся выразиться приятно и точно по-нашему.

Наружность его тоже была одна из самых счастливых, и, хотя ему было уже за 50 лет, он казался мужчиной в поре. Обладая же умом и находчивостью, при удивительной ловкости и лёгкости движений, он по части ухаживанья за прекрасным полом мог с честью потягаться с любым селадонем. Все эти качества, при счастливой случайности, давшей князю возможность так удачно выказать их, в один день доставили ему почётное место в государыниной гостиной. Можно сказать, что случай дал возможность Сапеге разорвать как паутину все подготовленные Меньшиковым препятствия к доступу в избранный кружок повелительницы России. Отсутствие же светлейшего во дворце в первый день Пасхи – вследствие запрета по случаю неприличной сцены с Толстым – на вечернем куртаже в Зимнем дворце сделало ловкого поляка душою общества. Голштинская партия, поражённая и удивлённая, ступала перед новым интересным статистом в придворной роли.

Ловкий Бассевич и тут не потерялся, поспешил униженно просить князя: осчастливить посещением его завтрашний же день.

Сапега дал слово и насказал, конечно, кучу любезностей по адресу жениха старшей цесаревны. Увидев же княгиню Меньшикову, ловкий поляк попросил голштинского министра представить себя её светлости.

– Светлейшая княгиня, – начал Сапега, почтительно раскланиваясь с Дарьей Михайловной, – будьте милостивы и примите на себя труд доставить мне приятнейший случай видеться с светлейшим супругом вашим. Верьте, княгиня, что я ищу одного только: заявить лично светлейшему князю своё глубокое уважение и рассеять те

предубеждения, которые, как должно полагать, возбуждены врагами нас обоих. Что касается вас самих, то смею просить, светлейшая княгиня, принять уверения в той горячей преданности вам, которая только и даёт смелость, надеясь на вашу доброту, просить вашу милость оказать посредничество к получению согласия вашего супруга: лично принять меня. Уверьте его светлость, что он не найдёт человека усерднее и почтительнее меня и в роли его преданного слуги.

Взглядом ему предложили сесть подле, а подсев в добрый час, Сапега успел своею беседою окончательно обворожить княгиню Дарью Михайловну, так что она решительно изменила своё о нём мнение, сложившееся прежде по выходкам гневного супруга. Княгиня сочла себя обязанною просить даже князя Сапегу приехать к ним, обещая устроить свидание его со своим мужем один на один. А этого-то больше всего и добивался магнат.

Воротясь домой к скучавшему в одиночестве Данилычу, Дарья Михайловна была засыпана вопросами, и когда, рассказывая всё по порядку, дошла до случая, выдвинувшего Сапегу, супруг не мог удержаться от замечания:

– Значит, курляндчики теперь – шабаш!

Произнеся эти слова, светлейший заходил взад и вперёд по опочивальне, и, очевидно, голова его начала работать с удвоенною силою. Он думал, как воспользоваться затруднительностью положения Головкина по случаю афронта Левенвольда и появления Сапеги.

Княгиня мгновенно разгадала мысли супруга и заговорила прямо:

– Поняв, что за птица Сапега, я, конечно, постаралась бы его к нам пригласить, если бы сам он не обратился ко мне с просьбою: уверить тебя, что он вовсе не враг тебе, а всегда питал к тебе, напротив, почтение и преданность...

– Ой ли! Смотри, баба, так ли ты вслушалась?

– Так точно, и, наверное, – по обещанью моему уладить ваше дело с ним личным объяснением друг с другом, без свидетелей, – он сам не замедлит к нам явиться. Тогда ты, друг мой, прими его поласковее и увидишь, что

кого опасался, тот будет, может быть, лучше многих друзей по имени.

– Да... я не прочь тебе поверить... ты поступила умно и стоишь того, чтобы тебя расцеловать. Один на один всего легче объясниться и дойти до решения как должно поступить. Эдак, Даша, мы авось успеем оттереть Сапегу от старого лешего, что хотел запрячь его в свой воз! И ему, старосте, коли со мной устроит дело, будет лучше, я понимаю. Я ведь посильнее кого другого? Да и скорее смекать умею, с которой стороны ветру будет задуть.

– Ушаков в немилости, – начала княгиня, – Ильинична открыла, что он бьёт надвое... Его выдают теперь почасту у Толстого... Он настроил и Головкина замолвить Самой слово за Ягужинского... Не доверяйся же Андрюшке, а Павлушку не упускай из вида.

– Не заботься... Павлу Иванычу коли кое-что предложим – дело у нас устроится.

С Сапегой оно устроилось само собой и наилучшим образом, при посещении им князя Меншикова и при взаимном объяснении.

IX СВАДЬБА

Свадебные хлопоты на целый месяц не дали никому свободно дохнуть в мае 1725 года. Тогда так распотешены были обыватели Невской столицы, что пышные празднества, бывшие в течение двух недель, заставили говорить о себе во всех слоях общества в продолжение нескольких лет.

После приготовлений пиршественной залы, или, как тогда величали, "церемониальной галереи", в Летнем саду по городу, посланы были герольды: за три дня оповещать жителей столицы о бракосочетании их высочеств – Анны Петровны и герцога Голштейн-Готторпского. Толпы во время чтения манифеста всю глазели, рассматривая пышный наряд тех, кто делал объявление. Высмотреть во время чтения удалось и золотое шитьё бархатного супервеста герольдов, и пересчитать не только перья на шляпах их, но и камешки в банте из ярко-красной ленты с золотыми узорами (приколотой к шляпе и спускавшейся с неё в разные стороны, развеваясь по воздуху при движении кортежа). Яркий красный

цвет и золото виднелись и на трубачах, сопровождавших герольдов. Трубачи играли на своих инструментах при всякой остановке кавалькады, как до чтения, так и после чтения.

Эта подготовка к торжеству и слухи о двухмесячных работах в царских садах расположили к ожиданию чудесных явлений и при самом торжестве. Поэтому в день бракосочетания по первому залпу пушек с крепости, утром, зашевелились обыватели столицы, и все спешили одеться в лучшее своё платье да где-нибудь посмотреть хоть частичку процессии. По всей площади, окружающей Троицкий собор, на Петербургской стороне народ стоял плотную стеной, представляя несчётное множество голов. Солнце приветливо светило на тысячные толпы людей обоего пола и всякого возраста, покрывавшие оба берега Невы от Адмиралтейской крепости до Летнего сада и от царской австерики до дома канцлера на противоположной стороне, на Петербургском острове. Между волнами по-праздничному одетого народа поезд двинулся от дворца государыни сперва к жилищу жениха. Здесь первую роль занимал Павел Иванович Ягужинский, совсем помолодевший. Когда коляска, в которой он находился, остановилась перед домом генерал-адмирала, где жил жених, из неё поднялся старичок с зелёно-жёлтой кожей и багровыми пятнами на носу и около подбородка. Это был заслуженный канцлер преобразователя, родня великому государю по матушке его, – граф Гавриил Иванович Головкин. Не менее тонкий в обращении, чем зять его Ягужинский, Головкин никогда не пускался на рискованные предприятия, хотя бы они и могли увенчаться успехом. Как маршал свадьбы, Головкин об руку с зятем вошёл к высокому жениху и, как старший, повёл речь о причине приезда:

– Не благоугодно ли будет вашему высочеству, убравшись, прибыть уже во дворец её императорского величества, где ваша высокообручѣнная невеста совсем готова, и её величество всѣмилостивейше указала вас о сѣм известить?

Герцог-жених был уже одет к венцу, но, прежде чем отправиться, просил дорогих гостей откушать сластей и испить винца на радостях.

Сладости поданы, и бокалы осушены. Его высочество, в парчовом кафтане и андреевской ленте, встал с кресел. Ему подали шляпу с бриллиантовым аграфом, и маршалы последовали за ним. Он сел в золотую карету, запряжённую шестёркою белых испанских лошадей, и красивые иноходцы медленно двинулись; так что прошло никак не меньше получаса, пока кортеж дотянулся до Летнего дворца. Двое шаферов подхватили его высочество и почти вынесли из экипажа. Отсюда, предшествуемый обоими маршалами с жезлами, высокообручанный вступил в апартаменты её величества, где за столом уже сидела невеста с сёстрами.

Жених сел за стол, и вышла императрица-родительница. Вместо отца с государынею благословлял цесаревну светлейший князь. Благословив, её величество и князь сделали несколько шагов, и за ними двинулись сперва невеста со своими девицами и шаферами, а затем жених – к барже, которая должна была перевезти всех их через Неву, к Троицкому собору.

На другую баржу села её величество с светлейшею княгинею и своими дамами. Третью баржу заняли поезжанные мужеского пола – заслуженные люди. Между ними попал граф Пётр Андреевич Толстой, Шафиров и державшийся в сторонке с известного утра постигшей опалы Андрей Иванович Ушаков.

– В хвосте-то лучше нам, старикам... словно в обозе, за армией, – со смехом заметил Шафиров, садясь на конце баржи под тень зонтика.

– Я с тобой совсем согласен, барон Пётр Павлыч. Где не видно нас, там всего лучше. А мы в свою очередь, невидные, можем видеть всех кого надобно али желательно нам, – отозвался Ушаков.

– А кого же тебе, к примеру сказать, желательно бы было видеть? – спросил его не без иронии граф Толстой.

– Да, разумеется, самых что ни есть хороших людей... Павла Иваныча, например, да самого светлого из светил, у которого наш бывший союзник спутником, бают, теперь...

– Ты всё по-учёному ныне разглагольствуешь, Андрей Иваныч...

– Умудриться, вестимо, хочется как в дураках остаёмся! Неравно ещё и в науку пойдём, граф Пётр Андреич. Доселе неразумен был, вишь... чуть по шее и не надавали... вот мы и смиренствуем и не показываем себя на очи, чтобы не вызвать гнев. Не мы первые, не мы последние за правду страдали. – Хитрец вздохнул.

– Конечно, друг, осторожность нигде не вредит, и никто из нас тебе не посоветует лучше, как ты сам ведёшь дело. Да сдаётся мне, сегодня-завтра Сашка останется в таком же точно положении, как был месяц назад... когда, по примеру твоей опалы, и его не приказано было пущать, как и тебя теперь...

– Это как? – недоверчиво спросил Ушаков, не вдруг вникнув в смысл слов Толстого.

– Сам поймёшь – как; коли глаза по старости не изменяют и можешь видеть, что происходит на передней барже.

Ушаков мгновенно направил в указываемую сторону рысьи глазки свои, и ему представилась картина, неожиданно изменившая выражение его лица из недовольно-сердитого в улыбающееся, слегка даже насмешливое.

Андрей Иванович усмотрел государыню в оживлённой беседе с одетым в пышный парчовый кафтан, ценностью, пожалуй, подороже, чем на женихе-герцоге, – князем Сапегою, лицо которого сияло беспредельным довольством. На губах её величества скользила самая благосклонная улыбка. А в нескольких шагах от этих праздничных физиономий мрачнее ночи стоял герцог Ижорский, очевидно вслушивавшийся в интересную для него беседу её величества с магнатом. Подле светлейшего видна была его горбатая свояченица и жена Ягужинского, относившаяся с почтением к цесаревне Елизавете Петровне. Сам Ягужинский, по старой дружбе, фамильярно держал за руку Авдотью Ивановну Чернышёву, болтавшую со смехом с шаферами жениха-герцога.

– Поладили, должно быть, все, – пробормотал Андрей. – А что будет дальше? И сам дедушка почешет в затылке, как спросить бы его.

– Да он бы тебе ответил, первое, что разгадка должна начаться с

Сашки... Он, вишь, отец посажёный и должен выдавать любимое чадо со всеми пожитками, с которыми и не подумал бы расставаться, да велят! А затем пойми, что эту чёрную тучу на посажёного отца навёз не кто иной, как братец же его названный, которого он в сей момент готов бы, чего доброго, бултыхнуть в матушку Неву.

– Может, ты и прав, граф Пётр Андреич... по части Сапеги и Сашки, а чем же объяснишь ты мне чернышихину близость, спросил бы я тебя, умника?

– Да тем же самым, чем и первое. Ужели в толк не возьмёшь, что Сашку успели как болвана обойти – Сапега с Павлушкой, и подбили они его замолвить слово о Дуньке, мастерице сводить кого угодно... коли это самое требуется... А Дуня не спесива и не ломлива, не чета кому-нибудь другим, прочим. Поманили – она и тут как тут. И, посмотри, денёк-другой, Ильиничну она на первый случай спихнёт к новобрачной, а сама сладит что-нибудь совсем неожиданное. А Сашке в этом стряпанье приходится помои расхлёбывать да благодарить за угощенье. Вот он, как понял теперь всё, на статью... видит, что маху дал, – и надулся, и померк вконец. А погляди, что дальше будет. С горя как хватит за стол... да прорвётся, как ни есть безобразно ... так что его и шемелой с двора, чего доброго?! И все это, очевидно, устроили друзья ему, приязни ради. А нам теперь не след им мешать... пусть и они потешатся да почванятся. Совсем не худо дать им простор на время, наше не уйдёт! Мы своё возьмём и магарыч доправим. Сашку-то их очередь спихнуть. А нам, подождавши да поосмотревшись, ещё ловчее можно будет резануть любого и повалить их, поодиночке, как заупрямятся; а нет – с остальными в договор войти. Вот что я усматриваю в этой каше, покуда...

Ушаков слушал с полным вниманием, но не считал себя в состоянии ни поддакнуть, ни опровергнуть загадываний Толстого, в которых на этот раз казалось ему мало вероятности для чьих бы то ни было выгод.

Погрузившись в думу, Андрей Иванович совсем перестал наблюдать сцену и чуть не последним вылез из баржи. Он близок был, казалось, к такому состоянию, при котором можно забыть о цели приезда, но его увлёк подвижный старик Толстой, которому думы не мешали все

наблюдать и взвешивать.

Таща за руку почти с усилием совсем упавшего духом Ушакова, Толстой чуть не последним вошёл в собор и успел только добраться до решётки, за которую происходило венчание цесаревны.

Екатерина I стояла уже на своём месте с младшею дочерью и окружавшими дамами, из которых ближайшая к краю, княгиня Меньшикова, в costume своём проявила в этот день такую пышность, что убор её блеском бриллиантов своих далеко превосходил и игру короны её величества. За крайним правым столбом стоял Сапега, сияя своею парчою и бриллиантами не меньше княгини Меньшиковой.

– Вот он где приютился! – сквозь зубы процедил старец и окинул глазами вокруг себя, ища своих спутников и собеседников; но вокруг него стояли все люди далеко не близкие и даже много таких, с которыми он никогда не заговаривал. Поэтому болтливому старцу пришлось довольствоваться немymi заключениями, ни с кем не делаясь впечатлениями и догадками.

Шафирову выпала на этот раз более благодарная роль. В соборе он нашёл местечко подле генерала Бутурлина, а тот посвятил его шёпотом в положение дел, создавшееся чуть не накануне свадьбы цесаревны, далеко не выгодное для Меньшикова. Бассевич выражал неудовольствие на светлейшего князя по поводу денежных расчётов и теперь избегал с ним встречи. До поездки в церковь герцогу Ижорскому удавалось довольно удачно лавировать, но когда воротились в церемониальную галерею и сели за стол по нумерам, то пришлось верховному маршалу, отцу посажёному, сесть против первого министра голштинского двора и волей-неволей обращаться к нему, предлагая тосты. Например, первый тост провозглашён был государынею-родительницею – "за счастливое соединение!". Второй тост предложил герцог-новобрачный, отвечая благодарностию, с пожеланием "здравия, долгоденствия и полного исполнения желаний августейшей родительнице, императрице всея России". Голштинский министр провозгласил "благоденствие всего царственного дома всероссийского и народа русского, управляемого

добрейшей и премудрейшей императрицей".

Ответом на это, разумеется, должно было последовать провозглашение:

– Да процветает Голштиния под скипетром наследственных герцогов, равно близких и России, и Швеции! – Но Меньшиков, погружённый в думу, сидел опустив голову, как бы отделившись от всего окружающего.

Бассевич не один раз взглядывал на недавнего своего друга, но тот хранил неприличное молчание, ещё ниже опустив голову. Бассевич, взбешённый, поводил взглядом, полным обиды, вокруг и около, но вдруг глаза его встретились с пламенным, ярким взором князя Сапеги, который понимающе кивнул ему головой и приподнялся с своего места. Бассевич послал ему взгляд благодарности, поняв, что ему на выручку является неожиданный союзник. Сапега уже действовал. Он подошёл к государыне и вполголоса молвил:

– Ваше величество, позвольте мне, в качестве благодетельствованного вашим августейшим вниманием, ответить на тост министра вашего светлейшего зятя: пожеланием благ вашему и голштинскому родам, соединяющимся для будущего благоденствия.

– Благодарю, князь, вы отгадываете моё желание; уполномочиваю вас, в качестве моего преданного, как вы говорите, слуги... фельдмаршала моего, произнести...

Сапега поднял бокал и громким голосом произнёс:

– Да здравствуют августейшие родственные фамилии, императорский род всероссийский и герцогский Голштейн-Готторпский, в лице юных отраслей их, ныне соединённых на общее благо! Урраа!

Громовое "ура!" всех присутствующих покрыло произносившего пожелание, и под громом его как бы очувствовался светлейший. Он обвёл глазами вокруг себя, словно не понимая, что делается. Взгляд его остановился на кавалере, чокающемся с императрицею.

Мгновение – и этот отважный чокальщик подлетел к герцогу голштинскому, и тут-то Меньшиков понял, что Сапега, названный его брат, явно, должно быть, идёт против него, присваивая себе его роль. Он не утерпел. Встал, подошёл к нему и спросил, меряя глазами

дерзновенного:

– Кто тебе, чужеземцу, дал право за нас пускаться выражать пожелание?..

– Служба и должность, мне пожалованная её величеством.

– Какая?

– Сан фельдмаршала!

– Кто это тебе такую чуху отпустил?

– Пожаловала меня лично Сама, её величество.

– Не слыхал! Не понимаю...

– Тебе и то не удаётся понять, что следует делать, чтобы не ставить свою повелительницу в неприличное положение, да ещё в такой торжественный день, как сегодня, и... ещё за столом...

– Не тебе меня учить! Я сам могу и хочу тебя поучить.

– Поздно!

– Просто прогоню...

– Не смеди!

– Смотри, вместо смеха не было бы слез.

– Я не ребёнок, а ты хотя поглупел, как старая баба, а всё же не нянька моя. Одумайся: где ты и что ты несёшь? Мы равны с тобой теперь чином. Как же ты мне угрожаешь?..

– Я тебе докажу, что не равны... Я...

– Князь! Государыня просит, – взяв за руку Меньшикова, произнёс полушёпотом Ягужинский и, не давая ему передохнуть, потащил к императрице.

– Князь, – произнесла шёпотом, гневно государыня, – я просто не понимаю, что с тобой делается!

– Государыня! Я не могу терпеть унижение от въезжих сюда самозванцев.

– Я Сапегу пожаловала в фельдмаршалы... он не самозванец... Я ему очень благодарна за то, что он вывел всех из затруднения, устроенного вашею милостью...

Меньшиков поник головой и проворчал:

– Новая напраслина!

– Спроси, князь, у Дарьи Михайловны: она лучше всех тебе объяснит это; а теперь прошу не заводить ссоры.

Светлейший сел на своё место мрачнее ночи. Гордость его была глубоко уязвлена, а сознания, что он сам единственный виновник афронта, у Меншикова никогда не было. Он всегда относил свои неудачи и неприятности нисколько не к себе, а все к зависти и ненависти врагов, ни на минуту не начиная сомневаться, что есть что-то неладное и в его действиях. Это не раз раскрывала перед самолюбивым супругом княгиня Дарья Михайловна. Теперь и она была в мрачном настроении, зная норы мужа и понимая, что пассаж его, на свадьбе едва ли сойдёт легко, а главное, что и Сапегу, которого княгиня очень уважала, светлейший сделал врагом своим, как думала она теперь. Вмешательство Сапеги княгиня объяснила себе совсем не так, как князь, а, скорее, желанием его же выручить, прекратив тяжёлое положение, всеми равно чувствуемое и бившее в глаза. Без сомнения, думала княгиня, не явись Сапега, голштинский герцог окончательно бы разгневался и положение создалось бы ещё худшее! А теперь, с Самой одной – можно ещё сговорить и указать ей резоны, которые примутся и объяснятся к выгоде Данилыча. На него давно уже оборотились глаза всех, и на всех лицах можно было прочесть невыгодное для князя решение.

Как ни был раздражён Меншиков, но и он понял неловкость своего положения. Чтобы выпутаться из него, князь схватил бокал шампанского и, подлетев к царевне Анне Петровне, воскликнул:

– Ваше высочество! Я оказался невольным преступником перед вами, омрачив светлый праздник вашего соединения раздумьем, осилившим меня, преданнейшего слугу вашего родителя: когда я меньше всего должен был поддаваться иному чувству кроме почтительной радости. Но... что сделалось – сделалось невольным, потому что овладел моим рассудком мой повелитель, ваш родитель, с которым делили мы и горькое, и сладкое! Я вспомнил о нём и о том, что он не раз мне говорил: "Уж вот как мы с тобой попируем на свадьбе Аннушки!" Я сижу здесь, а

он!.. – У Меньшикова брызнули слёзы, трудно сказать, искренние или поддельные, но мгновенно пролившиеся и сообщившие волнение голосу князя, замолкшего на мгновение, чтобы сильнее продолжать начатую речь: – Я, видите, и теперь не мог справиться с собой, высказывая то, что овладело моею мыслью, когда я совсем забыл, где я... Представился мне государь, советующийся о вашем приёме, светлейший герцог! – Князь приблизил бокал свой к бокалу в руке герцога, и тот невольно чокнулся со светлейшим. – Я, говорил государь, приму его в сыновья, потому что он сирота и сосед его сильно теснит. А сделав своим зятем, я ему помогу. И тогда... процветет Голштиния... под нашею охраной!

Герцог затрепетал и со слезами на глазах прервал провозвестника благоденствия его родины:

– Поцелуемся, князь! Верховный маршал, ты утешил меня так неожиданно, и... я, – раздался звук поцелуя, – никогда не забуду, что ты напоминаешь моей державной матушке завет отца о защите... Я тебя понимаю, и... печаль, что до сих пор нельзя было мне помочь... тебя возмутила ... повергнув в раздумье...

– Истинно так, ваше высочество! Я только и думаю и думал, как напомнить и выполнить завет моего благодетеля, который, любя нашу Богом венчанную повелительницу, разделял свою горячую привязанность между нею и родительскою любовью к вашему высочеству, высокобракная цесаревна Анна Петровна! Прокричать вам с супругом "виват!" и засвидетельствовать искреннее всех свою готовность служить вашему высочеству, в настоящем привете в день вашего соединения, может и хочет Александр Меньшиков!..

– Я всегда была в том уверена, светлейший! – воскликнула Анна Петровна, поцеловав князя и чокнувшись с ним, отпив одновременно с ним из своего бокала.

– Ура! Да здравствуют Анна с Карлом Фридрихом и наша общая благодетельница, мать Екатерина Алексеевна! – dokonчил снова перед монархиней Меньшиков.

– Охотно принимаю благожелания и пью за твоё здоровье, князь! –

вещала государыня, целуя в лоб князя и прошептав:

– Поправился, слава Богу!

– Вы мне отпустите, ваше величество, мою невольную прошибность и смелость, с которой я высказал намерения в Бозе почившего монарха и супруга вашего величества...

– Я сама разделяю вполне эту мысль государя... Что ты, князь, мне напомнил его мысли, я тебе вдвойне благодарна. Это даёт мне новую силу поддержать наши общие требования чем Бог поможет!

– Ура! – крикнули голштинцы. Отозвались лишь немногие русские (в том числе Меньшиков, Ягужинский, Толстой, Бутурлин, Апраксин, Ушаков из своего угла, Чернышёв и преображенские офицеры). Государыня окинула взглядом промолчавших.

Бассевич, встретив Меньшикова у оставленного им места и чокнувшись дружески, сказал не без экстаза:

– За новый мир и восстановление прежних отношений!

– Вольно же тебе, не разобравши дела, меня считать врагом вашим и общим, – отозвался не без горечи князь.

– И со мною мир, что ли? – приближая бокал, сказал Сапега. – Я не злопамятен... тем более когда ты был несправедлив против меня не сообразивши, а теперь...

– Я понял, что ты не во вред мне действовал, хочешь сказать? Понял и... прости, что обидел...

– Это чёрт, а не мужик! – ехидно, сквозь зубы процедил Головкин. – Легко ли сказать... эку вяху отпустил – торжественно заставил государыню дать обязательство вступить за Голштинию! Ведь это прямая угроза Дании? И при посланниках, при всех... Мошенник! Ведь это – война в близком будущем! Отписывайся тут как знаешь!

Шафиров, сидя через пять человек, наискось от канцлера, слушая филиппику, не пропустил из неё ни одного слова и, когда сконфуженный дипломат закончил, проговорил, обращаясь к своему соседу:

– Коли возникнут затруднения из заявлений монархини и заслуженные дельцы голову потеряют, авось и мы, некошные, пригодимся – изыщем

какие ни есть конъюнктуры... как в старину, бывало...

Миловидный барон Остерман чем-то очень интересным занимал своего собеседника, прусского посла, исподтишка посмеиваясь с чуть приметною улыбкою. Беседовал он с человеком, на лице которого ещё труднее было что-либо подсмотреть. На круглой, розовой, нежной, почти женственной физиономии барона Мардефельда, казалось, никогда не выступало ни одно чувство, – и самые глаза его смотрели как-то сонно; а разговор шёл об ответе Екатерины Меншикову. Мардефельд, слышавший, как и Остерман, воркотню Головкина, находил опасения канцлера основательными. А хитрец, его собеседник, вставлял в каждое заканчиваемое им предложение слова – "согласно ходу дел и обстоятельствам". Этим замечанием, понятно, он сбивал его с толку; так что Мардефельд, несколько уже рассердясь, ответил наконец: "Обстоятельства и дела сами собою!" И остался окончательно в недоумении, не понимая, что этим хотел сказать Остерман.

В это время раздались звуки труб и стали подавать сласти. Проглотив свою порцию желе и мороженого, гости встали с мест с бокалами в руке, и Ягужинский в качестве второго маршала провозгласил тост:

– Да будут дни высоконовобрачных так же ясны и светлы, как день благословения их союза!

– А я за что? – шутливо спросил Матвей Алексеевич Ржевский. – Ведь мы пойдём за их же дело; стало, Александру Андреевичу и по долгу звания своего камергерства нас должно угощать...

– Шутники вы, я вижу, – подойдя при последних словах и вслушавшись в предмет разговора, произнёс друг всех троих, прокурор главного магистрата князь Фёдор Фёдорович Барятинский. – Вы уж собираетесь литки запивать, а спросили бы – деньги-то где, чтобы вас двинуть? Последние крохи собрали на свадьбу... а по манифесту при воцарении скидка с подушных, – взять и на то, что нужно, неоткуда. Стало быть, всё останется словами, пущенными на ветер. Александр Данилыч мастер зайчиков пущать, когда лиха беда-невзгода придёт и окрысится на него. А чтобы за дело встать, кто же не знает, что его не хватит?! Да он даже и

думать, я полагаю, забыл теперь о том, что высказано им. Всё сошло прекрасно, чего же лучше?! А кому охота верить его словам как святому Евангелию – и то не заказано.

– И верю, и заставлю верить других, что дело голштинское должно пойти теперь же, – вмешался, заговорив по-немецки, понимавший хорошо русскую речь (освоившись с нею, бывши в плену у нас) один из любимцев герцога голштинского, граф Вахтмейстер, на радостях монаршего обещания хвативший через край.

Друзья посмотрели на него с разными чувствами и молча разошлись в разные стороны.

Вахтмейстер один сел на скамейку и продолжал по-немецки ораторствовать.

– Нет, г-жа Дания! Прощенья просим, – не угодно ли пройти с нами менуэт в первой паре... Мы вам покажем новый фортель, как из-под носа губы украсть. Хе-хе-хе! Мы не другие кто, не шведы например... Русские дают принцессу нам в государыни – так не угодно ли завоевать для неё королевство у датского камрада. Меньше как выгнать датчан на острова мы не хотим. И ни на что другое не согласны! Даёте – ладно! Подадим руку и забудем прошлые счёты... так и быть! Не хотите – пиф-паф! Флот в шестьдесят кораблей, сто тысяч войска – и Копенгаген затрещит! Непременно!

К пьяному подошёл ловкий франтик – Берхгольц.

– Любезный граф, – сказал он ему с напускным почтением, – Его высочество очень беспокоится о вашем отсутствии. Вас ждут на свидание в одной из зал дворцовых. В той, куда я приведу вас... подождите... а там...

– Туда придёт его высочество? Прекрасно! А я тем временем соображу, как начинать. Знаете, я обдумываю кампанию против Дании, вот видите...

– Хорошо, хорошо, пойдёмте же, там поговорим. – И сам поспешил увести стратега в укромное место, где наш герой минуты через две уже захрапел.

В это время что-то грянуло по соседству с Летним дворцом, на лугу.

Выстроенные в две линии преображенцы, увидя идущую к ним государыню, грянули такое "ура!", что и мёртвого могли бы, кажется, разбудить. Однако храбрый Вахтмейстер не пошевелился от усердных возгласов гренадер.

Слыша повторённое "ура!", кучка дипломатов, окружавшая канцлера Головкина, нахмурилась и едва удерживалась от высказываний разного рода довольно оригинальных, и от подозрений слагавшихся в головах этих умников.

Наконец один из них наиболее напуганный собственными измышлениями воскликнул ни к кому прямо не обращаясь:

– Слышите уж объявлен поход полкам гвардии! Вот они кричат "Рады стараться!"

Х РАЗРЫВ, ЧЕГО ДОБРОГО?

– Ну это ещё не много! – с неудовольствием заметил Головкин – Кричать они могут и просто при милостивом обращении к ним государыни. Да вот узнаем, что там такое делается, – прибавил граф, увидя издали идущего зятя. – Нам Павел Иваныч всё расскажет. Павел Иваныч! Ступай, братец, сюда.

А тот не слыша и не смотря в ту сторону, даже не догадывался, должно быть, что его требует почтенный тесть, жаждущий услышать повесть о том, что было при появлении государыни перед преображенцами, так усердно и громко заявлявшими свою преданность.

Видя, что Ягужинский направляется в сторону, а не к кружку, где жаждали услышать от него самые свежие новости, тот же дипломат, которому уже мерещился поход русских и чуть не уничтожение Дании ради восстановления прав Голштинии, вскочил с места и пустился догонять Павла Ивановича. Ему, однако, удалось это почти у самого дворцового крыльца, на которое, как видно, спешил войти маршал, чем-то озабоченный.

– А мы вас, милейший, ждали-ждали и чуть не проглядели! – хватая его за кафтан, прерывистым голосом закричал дипломат.

Ягужинский, занятый своею мыслью, не вдруг понял, чего от него хотят; поняв же, сердито ответил:

– Оставьте, пожалуйста, меня в покое! Что мне за дело до ваших желаний!

– Да видите – граф Гаврило Иваныч усиленно вас просит, не я... не я...

– Что же нужно Гавриле Иванычу?

– Чтобы вы к ним сюда завернули на минуточку... долго вас не задержат, не беспокойтесь. – И сам так умильно глядит на сердитого генерал-прокурора, что тот, как ни был взбешён этою остановкою, не мог удержаться от улыбки и сказал:

– Теперь никак нельзя – через несколько минут, пожалуй!

– Так позвольте я вас здесь подожду?

– Хорошо, пожалуй! – отвечал сухо Ягужинский и скрылся за дверь, ведущей в коридорчик, к опочивальне её величества.

Любопытство назойливого дипломата было возбуждено в высшей степени, и в ожидании возвращения графа он стал перед дверью. Вдруг ему послышались какие-то голоса, и он не мог удержаться, чтобы не приложить уха к замочной скважине, не обратив внимания на то, что дверь отворялась изнутри, а не снаружи. Вдруг – бац! И подслушивающий с визгом полетел в цветочную куртину – окровавленный.

– Виноват! – начал было извиняться размахнувший дверь камер-лакей, но, увидев кровь, быстро запер дверь и скрылся.

Между тем ушибленный вскоре лишился чувств от потери крови и от испуга, так что когда Ягужинский вышел, то увидел, что у самого крылечка лежал в обмороке человек, весь в крови.

Не вдруг удалось Павлу Ивановичу найти людей, и прошло довольно много времени, пока отыскали доктора и унесли бесчувственного в оранжерею. Между тем стоустая молва искажала уже нелепым образом слух о человеке, найденном в крови. К дипломатическому кружку прибежал кто-то из голштинских камер-юнкеров и поведал, что один иностранный дипломат пал жертвою личной мести. Что это сделалось,

когда свадебный кортеж направлялся к церкви и в суматохе никто не слышал воплей жертвы, теперь найденной в кустах.

– Быть не может! – сказал недоверчиво канцлер. – Все наличные дипломаты после обеда были здесь и об отсутствии ничьём не заявлялось...

Другие утверждали, что в кустах найден был труп самоубийцы, избравшего этот момент для расчёта с жизнью, чтобы нарушить общую радость печальной катастрофой.

Что касается пострадавшего, то он рассказывал, что с ним вдруг сделалось дурно и он не может понять, каким образом очутился в куртине.

Пока происходил этот переполох, кружок нерасположенных к светлейшему князю неприметно примкнул к разным кружкам в саду, слушая и соображая, где и что говорилось. Раньше было совещание в самом дворце. Возмущённые ловкою штукою Меншикова, разом обратившего на свою сторону голштинцев, которых хотели сперва употребить орудием для его низвержения, враги решили обдумать: что им делать? Павел Иванович Ягужинский спешил именно на это совещание, когда подвернулся ему любитель подслушивать.

Меншиков с государынею и новобрачными был на лугу, при гвардейцах. Проводив его туда, Павел Иванович исчез и поспел вовремя на совет – что делать с такою зубастою щукою? Председателем маленького кружка решившихся употребить все усилия для низвержения изворотливого временщика был, как и прежде, Толстой. Сторону же его держали: Шафиров, Матвеев, Дивиер и двое князей Долгоруковых.

Столкнуться они спешили теперь же, не теряя времени, чтобы не поставить самих себя в невыгодное положение, так как надежда на главных союзников так неожиданно рухнула.

– Главное и первое дело наше теперь, братцы, – сказал Толстой, озирая товарищей, – следить за всяким шагом Сашки и перетолковывать все его действия на свою руку, возбуждая в Самой и в старшей цесаревне недоверие к его рассказам. Слышно, что он намерен удалить

новобрачных в Лифляндию, рекомендуя путешествие тотчас же после свадьбы... Нужно бы пооттянуть эту поездку до той поры, пока государыня сберётся на флот, а в ту пору внушить, что светлейшему надобно спешно осмотреть флот и прибрежные крепости, так чтобы недели на три его отлучить, а в эту пору дать полную возможность Сапеге закружить головку... Князь Ян, хотя и корчит преданного друга Сашкина, но бьёт на свой пай, разумеется. Не удалось нам приручить его в посту великом, не будем же с ним сходиться явно, а подстроим в его пользу делишки. Не олух же он, чтобы, видя союзников, бескорыстно для него работающих, не оценил нашей поддержки или бы пошёл против нас?

– Я вполне согласен с тобой, граф Пётр Андреич, – высказался Дивиер, – и каждое утро будем напевать о погоде и бурях в море да о неготовности дорог для поездки их высочеств.

– А я, – отозвался Шафиров, – буду зорко следить, чтобы Макарова не допускать до короткости с Сапегой. Алёшка хотя продажная тварь, но его от Меньшикова ни за что не оттянешь: ни волею ни неволею... И к Сапеге он льнёт, конечно, в качестве соглядатая, но ведь тот сам не промах и хорошо понимает, для чего Алексей Васильич так лезет в душу к нему. С князем мы давнишние знакомые. Он меня знает насквозь, я – его... И за то, что он будет нашей шайки держаться, я вам отвечаю.

– И я тоже, – подтвердил граф Андрей Артамонович Матвеев. – Только скажите напрямки Павлу Иванычу, что мы его не чуждаемся и понимаем необходимость, заставившую его по наружности пристать к Сашке. Он тонкая штука и нас совсем предавать не станет, даже тестюшке, а не только Данилычу. Только нужно, чтобы он знал: на что тянуть! Сам он человек умный и не забудется ни перед сладкими обещаньями Сашки, ни перед дружбой Сапеги. Вот если бы удалось нам его пристроить, вместо хапалы, к внучатам государыни, – совсем бы вышло прекрасное дело...

– Ну, это не след теперь и ставить на вид... – подумав, ответил Толстой.

– Гораздо лучше кого-либо своего провести в кавалеры к Петиньке...

– Возьмите и проведите либо моего сына, либо племянника, – вызвался

один из Долгоруковых, – и можете не беспокоиться: внучек попадёт в надёжные руки... так что немцу придётся гриб съесть... Тем паче, что мой Ваня уже известен его высочеству великому князю и ласково им принимается... и руку нашу держат Зейкин и Маврин, отчасти...

– Ну, так, пожалуй, и его можно будет, только подождать надо. Пётр Павлыч уже не откажется намекнуть так и так – Самой улучив подходящий случай, – решил Толстой. – Пусть поддерживает графа и Павел Иваныч. Да вот и он. Лёгко на помине!

– Действительно, я... только нелёгкая навязала мне одного прощелыгу, увязался у самых дверей, здесь почти... иди я с ним растабарывать с тестюшкой! Я и так, и сяк. Уж и сам не знаю, как посчастливилось улепетнуть. Простите великодушно за промедленье! Вы уж, чай, всё перебрали и перерешили? – спросил он, обращаясь к Толстому.

– Да, кое-что надумали-таки, – изволь прислушать...

– Ты мне скажи только главное... куда всё по ряду пересказывать! Спешить, знаешь, нам надо, кончить да разойтись, пока не воротились с луга...

– Изволь, в коротких словах перескажу. Согласились первое – давать ход Сапеге с его планом, второе – наблюдать за Алёшкой Макаровым, чтобы не подлез к Сапеге, третье – самого зубастого пса на привязи держать. А Самой его всякие штуки изображать с толкованьем, что он её в грош не ставит, от себя всё выдумывая и своим всё позволяя, а четвёртое – голштинцам ходу не давать, вместе с прочими иными, под благовидными предложениями...

– И только?

– Да, забыл ещё, – хотим пооттянуть отъезд молодых в Ревель и подбить Самое на посылку ворога крепости осматривать да полки...

– Не много же вы, друзья, придумали! Стоило ли из-за этого собираться! Я ожидал чего ни есть посущественнее да поближе к делу... прицепившись к заявлению о поддержке зятя...

– Да что же ты придумал? Говори, братец... Ум хорошо, два лучше, а три ещё лучше... А твой умок...

– Без насмешек, мой дорогой граф Пётр Андреич. Дело не в словах, а в захвате прямо того, чего держаться. Куй железо, пока горячо! С пыла, значит, и берись.

– Да говори прямо, коли просят тебя! – с нетерпением отозвался Шафиров.

– Извольте. Первое дело, я думаю Самой теперь же представить, что для постановки дела о Голштинии нужно немедленно учредить совет ... и на него возложить измышление мер, не терпящих отлагательства. А в совет нам друг друга и выбрать да зятюшку к рукам прибрать всем вместе и каждому поодиночке, приманкой голштинского дела... Сашка будет тут один, и ему придётся исполнять не свою волю, а нашу. Граф Гаврило Иваныч, как канцлер, первое кресло займёт; я буду его настраивать... понимаете: как и что...

– То есть как же это его настраивать? – возразил Толстой.

– Заставлять нас по вашей дудке, что ли, плясать? Как не понимать! – резко, с нескрываемым неудовольствием возразил, перерывая Толстого, Шафиров. – Вот оно в чём главное-то!

– Ты, Пётр Павлыч, не спеши ещё ехидничать да перекоряться. Можешь уличить, когда будет что похожее на дело; а ради своей старой вражды с моим тестем не след ещё тебе враждебно относиться к образованию совета. Он только и в состоянии связать по рукам Сашку.

– Да! То есть вам передать на расправу, что ль, и самим шею протянуть?! Молоденек ещё, Павел Иваныч, коли думаешь, что плутня твоя не в примету и что на такую уду нашего брата, старого угря, выловишь...

– Ошибаешься и обижаешь. Я и не думал тебя ловить... а говорю прямо: кто не разделяет взгляда моего на важность совета – пусть не садится в него... и даже – пусть против идёт... Сила разума даст надлежащую цену моему предложению в глазах непредубеждённых. А кто предубеждён, с тем ничего не поделаешь. И начинать нечего...

– Да ты, друг, Павел Иваныч, и сам не ершись так. Пётр Павлыч дельно говорит, что коли совет, то Гаврилу Иваныча старшим посадить – нам

немного будет прибýtка. Первое дело – он крепко упорен, да и упорен, заметь, при недогадливости. А это, братец, сам знаешь, в борьбе с хитрецом Сашкой значит то же, что лучше и зуб не оскаливать, – высказался Толстой.

– А я-то на что?! Я ведь говорю, что я его настраивать буду, как и что нам надобно провести... а тесть только будет орудием нашим, не больше.

– Да нашим ли, полно? А может, твоим! Ведь ты говоришь за себя одного, коли ты его настраивать берёшься? И мы в этом нисколько не сомневаемся... тебя ведь мы хорошо знаем, что ты за птица!.. – не отставал оскорблённый Шафиров.

– Я с тобой и говорить, коли так, не хочу и дела иметь не желаю! – вспылил, выйдя не к месту из терпения, Ягужинский. – Можно и без тебя совет составить... коли так.

– А-а! И без него? А – смею спросить, что из этого выйдет-то, голубчик? – возразил Толстой гневному генерал-прокурору. – Вот, перво-наперво, Петра Павлыча побоку, потому что не то говорит, что тебе хотелось бы... Там – меня, скорее всего, потому что и я грешен в том тоже, да и ни за что не подлажусь. Затем – графа Андрея Артамоныча. Он и подавно не уступит, коли что увидит не так. И останетесь в мнимом совете вы, вероятно, двое с тестюшкой своим, ещё Голштинский да Сапега?! Это ли тебе кажется хорошим и нужным, Павел Иваныч, для обузданья зубастой щуки?

– Коли будут все несогласные выгоняться, так какой же прок и какой барыш будет в совете вашем? – поддержал Дивиер.

– Ну... коли так, пошли! Один другого лучше...

– Я вовсе не то говорю и не думал ни об исключении чьём бы ни было, ни о преобладании тестевом и моём в совете, а только – о благовидном прикрытии персоною канцлера нас, истинных воротил дел в совете. А коли Пётр Павлыч не хочет и слышать о канцлере, которого сама государыня непременно и без нашего спроса посадит, коли решит совет, тогда – я говорил – Петру Павловичу не место будет там. Дела идти при такой слепой ненависти его к графу, разумеется, не могут ... Вот что я

хотел сказать.

– Отчего же, смею спросить, идти дела-то не могут у целого совета из-за противоположности воззрений одного члена? – спросил Ягужинского умный и сдержанный Матвеев.

– Могут, не спорю, когда один, а не все будут противоречить... – вздумал увернуться Павел Иванович.

– Не дело говоришь, друг Павел Иваныч, – поддержал Толстой. – Я думаю, что чем больше разных мнений, тем вернее и ближе к цели решения.

– Да какое же решение, когда все врознь... кто в лес, кто по дрова? Единенья никакого тут не будет, а стало быть, и не дойдёт ни до какого решения... – возражал Ягужинский.

– Не спорю, – как бы согласился Толстой, – и так когда-нибудь... могло бы случиться. Но раз, не больше. Совет, напротив, для того и устраивается, чтобы не давать дурачить себя делопроизводителю, а дела вершить разумно, с разных сторон обсуждая полезность и вред, выгоду и невыгоду. И это всё высказывается каждым, думающим по-своему, разумно и основательно поняв суть дела и цель предлагаемой меры. Что за беда, что один-другой и не будут разделять видов докладчика? Хорошее останется хорошим. Большинство станет за дело. А несогласные, возражая, укажут разве с своей стороны, что им кажется не совсем годным? Может, иное и вправду будет полезно, освобождая от возможного подвоха или промаха.

– То-то и есть, что под предлогом ожидания подвоха чаще всего норовят разбить подлинно хорошее предложение! – ухватился, как за соломинку утопающий, ещё раз Павел Иванович.

– А ты укажи, голубчик, на примерах такую якобы нашу страсть портить дело ради самолюбия или паче по недостатку рассуждения... прежде чем взводить обвинение, – холодно возразил граф Матвеев.

Ягужинскому при этом вызове блеснула мысль уколоть, как он думал, ловко самого Матвеева напоминанием дела, повлекшего осуждение Шафирова за ссору в Сенате. Недолго думая Павел Иванович и брякнул:

– Хорошо! Предложение о даче жалованья за труды по службе, кажется, неоспоримо правдиво, но что раз вышло, например, когда, по ходатайству брата переводчик Михайло Шафиров попросил дачи жалованья себе у господ Сената?

– Эк ты куда хватил, Павел Иванович! Большой же ты ловчак! – отозвался Шафиров. – Я буду должен сам тебе на это отповедь дать. Брату следовало жалованье, бесспорно, но Скорняков под сукно запрятал указ тобою не исполненный, приняв временное прокурорство, нороя нашему общему врагу. А чтобы я его не уличал, потребовал моего удаления: якобы я тут был причастен к делу, по родству. Я возразил при этом нахальстве резко, каюсь... Подхватил мою резкость Сашка, такой же мастер концы ловить, как и ты, Павел Иваныч, не обидься за подходящее сравнение... Вот и вышло между мною и им безобразие... Не оправдываю свою запальчивость... Но могу одно сказать, что самый случай подобного греха со всяким горячим человеком может случиться, когда докладчик – вор, и турусу подводит, держа в одну руку с председателем... Ради такой лёгкости распрей и следует в совете, о котором теперь мы рассуждаем, не быть председателю постоянному, а выбирать председателя на одно присутствие. И то в самом заседании, прежде чем садиться, шарами разумеется. Докладчиком же быть секретарю, а никак не одному из равноправных членов. Равенство свободных голосов тогда и принесёт всю пользу, от него ожидаемую.

Павел Иванович Ягужинский совсем растерялся при таком полном крушении своих надежд, ради которых он и подбил на совещание. Он опустил голову, и на лице его выступило недовольство в соединении с враждебностью к выбранным было им в союзники. Так что в эту минуту он готов был переменить мысль о том, что тесть его – на поддержке которого основывалось многое – никогда не может сойтись с Меньшиковым, враждуя с ним единственно ради первенства, которого тот, естественно, не уступал и не уступит. В ушах генерал-прокурора ещё болезненно отдавались последние слова Шафирова, когда Толстой нанёс ещё более отважный и неотвратимый удар его самолюбию, резюмируя

все выслушанное на совещании.

– Из этого видно, господа товарищи, – молвил Толстой, – что нам Павла Иваныча нельзя даже прочить и в члены совета, при высказанной им неуверенности в пользе свободных голосов. По его мнению, нельзя даже в совете прийти к решению иначе как с нажимом председателя! А такого обращения с нашими мнениями мы меньше всего желаем. Один граф Гаврило Иваныч будет равный с ним, не перемогая, как единица, ничьего единичного же мнения. А если допустить поддержку его ещё в члене равноправном, два голоса – уже видный перевес! Поэтому двоим разом – зятю и тестю – сидеть в совете мы допустить не можем, без очевидного подрыва права каждого из нас и всех вообще. Пусть своим Сенатом и заправляет Павел Иваныч, а нас не касается.

Ягужинский уже больше и слушать не хотел. Повернулся и стремительно вышел, заставив всех только молча поглядеть вслед уходящему.

Когда Ягужинский скрылся за оборотом стены в коридорчике, граф Матвеев сказал:

– Последними словами своими ты, граф Пётр Андреич, положил в долгий ящик будущий совет. Павел Иваныч примет, понятно, все меры, чтобы его не было.

– А он будет всё-таки ... и откроется без него!.. – решительно сказал старый граф, вставая с места. За ним пошли в разные стороны все участники совещания.

Неприятный случай с любопытным дипломатом дал Павлу Ивановичу благовидный предлог немедля переговорить с тестем и показать ему, что оба они должны держаться в стороне от союзников.

– Посмотрим, – расставаясь с Ягужинским, молвил тесть, – как-то они без нас успеют? А мы без них и против них можем устроить много такого, что не только помешает им пользоваться плодами грядущих успехов, а, чего доброго, не удастся ещё, может быть, ничего и выполнить из задумываемого. Рано в откровенности пустились!

– Я ещё успею и к князю подойти да...

– Предупредить его небось? Не надо... Нам не во вред с тобой будет

начало их вражды к неприступному. Успеем и тогда на сделку пойти, когда он, ища союзников, сам станет с нами заигрывать.

– Да он ведь и то давал понять, что вам не без выгоды будет с ним заодно стоять.

– Тем лучше... Пусть подождёт да померекает: чем ни на есть нас привлечь. И ещё меньше, при таком расположении, следует допускать спешку! Да, сказать правду, я ещё на него тем паче теперь зол, что он, бездельник, не в свою голову загнул сегодня загадку с непутной Голштинией... Как ещё разобратся придётся с этой похвальбой?! Теперь мне следует ухо держать остро, да и к Самой не подсовываться, а давать понять, что втянул её дружок в такую кашу, что, чего доброго, не вдруг расхлебашь и натошах, а не только сытому и пьяному соваться, вылупя бельмы да ничего не соображая...

– Ну, вы как хотите... а я на всякий случай от светлейшего удаляться не должен из одного самосохранения... – решительно высказался зять.

Головкин холодно вырвал у него руку и сквозь зубы процедил:

– Как знаете... Свой царь в голове...

Вскипев не вовремя и поворотясь спиною к зятю, канцлер заметил толпу возвращавшихся с луга и поспешил сойти с большой дорожки на узенькую. Там он присел уединённо в шпалерник, желая не показываться никому на глаза. В десяти шагах от него, по другой тропинке, прошли, теперь к птичнику, обнявшись, Дивиер с Шафировым. Они не заметили старого канцлера на его наблюдательном посту.

Когда они скрылись, показался Меньшиков, о чём-то тихо перешёптываясь с Бутурлиным.

– Экая досада, что ничего не слышать! – прошептал про себя канцлер и привстал на скамеечку, чтобы из-за листьев присмотреть, кто ещё идёт.

В ту минуту, как приладился было Головкин, никому невидимый, а сам всё видевший, Меньшиков с Бутурлиным поворотились назад и командир гвардейского полка, проведя рукою в сторону старого дворца на Ерике, начал по пальцам словно считать кого-то. Он при каждом приближении указательного пальца к ладони другой руки что-то шептал, кивая

головой в знак утверждения.

– Ведь это, чего доброго, мерзавец даёт отчёт своему милостивцу о неудачном совете, куда втёрся к дуракам, якобы к ним присоединяясь заправду?! Вот те и вся недолга! А Павел ещё хотел такую же штуку проделывать... Вот шутники-то! Один перед другим так и торопятся забежать. Как же Сашке не пыжиться перед такими ослятками, которые в обе стороны норовят?! Вот два Петрушки, да Антон – другого складу; те не пойдут ни доносить, ни лебезить. А это – сволочь! Хоть бы и мой любезный зятёк... только на одно холопство и годен. Срамник!

И вскипев гневом, осторожный канцлер плюнул. Он теперь прятался за ствол дерева, заметив приближение Шафирова с Дивиером, которые хотя и остановились рядом, но говорили так тихо, что он не мог ничего расслышать. Наблюдение и совещание окончательно были прерваны толпами, нахлынувшими в первый сад с луга и следовавшими за государыней с новобрачными.

Все потянулись за ними. И снова, хотя ненадолго, заняли свои места в церемониальной зале.

Подали сласти и вино. За тостами прокричали несколько благожеланий, и тут же все встали и направились к Летнему дворцу, у которого подали экипажи новобрачным.

Маршалы поехали отдельно, вперёд, разумеется. Светлейший сел с Апраксиным, Головкин – с зятем.

– А ты мне, Павел Иванович, дал-таки обильный запас думы: что-то выйдет из вашего дурачества? Прежде чем сходиться, нужно было бы договориться вам хоть настолько, чтобы при разногласии разлада не устроилось, как теперь, говорите, вышло... А коли разлад явный, шапками врознь, скверное дело: друг друга доедать приметесь теперь же, ворогу на потеху. Недаром он и ухмылялся так бесстыдно на шушуканье своего подхалима, Бутурлина! Тот ведь вас всех предал, а себя, ясно, выгородил.

– Как так? Не слыхал!

– Ты у меня спроси... Потеха! Как пошёл ты навстречу старшим, я, не

будь глуп, в сторонку, за шпалерник – вижу, густенький такой, можно важно ухорониться. Присел и смотрю. Широко таково шагают парой, под ручку, Шафиров с Дивиером... так пальцами и разводят. Не слышать только, что баяли... кажись, не по-нашему даже, и не по-латыни. А затем выскакивает другая пара: с Бутурлинчиком – Сашка. И уж Бутурлинчик припадал-припадал ему к уху, а сам руками всё разводит да по пальцам считает. Ну, думаю я, сказать Павлу, чтобы теперь уже отложил попечение: лезть к медведю...

– Пустяки! Я всё же пойду. Даже нужнее чем прежде подбежать... Спасибо, что заприметили Бутурлинчика. Я знаю уж, как начать. С ним главное – приступ! Один раз со смехом и объятием можно, другой – с соболезнованьем... а на этот раз – с поздравленьем!

– Как – с поздравленьем? С чем и про что?

– Это уж наше дело. Машина пущена и замелет исправно, так что любо... Сами скажете: молодец...

– Ой ли! Продувная же ты, значит, Павлушка, бестия, если на этот раз сумеешь повернуть в свою пользу!

– Повернём! – со смехом похвалился Ягужинский.

Тесть покачал головой с недоверием. И он был почти прав, как показал дальнейший ход дел, далеко не соответствующий похвальбе самоуверенного генерал-прокурора.

В передней карете, после того как она двинулась, начался следующий разговор:

– Хватил же ты, братец Александр Данилыч, через край, я тебе скажу, навязывая нам, якобы за покойного, расправу с врагами голштинскими!?

– полусердито, полунасмешливо молвил генерал-адмирал светлейшему. – Вот так ловкая штука, подумал я... и сразу понял, что почуял ты свой немалый промах и вернул вкруговую с другого конца... чтобы глаза всех туда оборотились...

– Да хоть бы и так, Фёдор Матвеич? Ужели меня осудишь за изворотливость? Мало ли что говорится? Иное скажешь – и по душе придётся, словно медку поднесёшь, да потом и отъедешь помешкавши...

Коли понял меня ты, стало быть, не станешь же заправду принимать посулы. Мне, как и тебе, голштинцы никакая родня, а в толпе моих ненавистников – переполох... да какой ещё, я тебе скажу! На чрезвычайный совет тотчас из-за стола собрались, и такую чушь каждый, усердствуя, начал бляеть, что хотелось бы в сторонке послушать такой комеди. Мне уж верный человек всё пересказал, как было и что... Совет хотят: одни – меня укоротить; другие – в отставку меня приговорили, а наш с тобой свадебный строитель, Павел Иваныч, предложил в жоаки своего тестюшку; а себя в заправлялы по совету. Как брякнул он это самое – все, говорят, разом и на попятную. Знают, известно, что за гусь граф Гаврюшка, да и зятка уж раскусили... что он за подлипала.

– Ого? Вот они как. А я баран бараном: ничего не знаю, друг Александр Данилыч! Спасибо, что поведал, какие чудеса, слышь, у нас под боком творятся, а нам, старикам, и невдомёк. Эки шутники! И много таких нашлось?

– Изрядная кучка; да все – я те скажу – дока на доке! А голова у них – Петрушка Толстой, стервец! И смерть-то его словно забыла?! Ведь на девятый десяток перевалил! Пора бы, кажись, в чувство прийти да покаяться мало-малю о содеянном душегубстве... хоша бы стрелецкую расправу попомнил да благословил бы Бога, что его башка на плечах удержалась. Вестимо, Создатель на покаяние время дал! Так нет... всё злобствует... власти добивается!.. И мы ему с тобой первые поперёк горла стали... Хвалится, что счёты адмиралтейские разберёт и корыстование раскроет...

– Вот как широко хватает! Неча сказать, угар-молодец! Ведал бы путём хоша свои мануфактуры да заводы, и того бы за глаза было другому, в порядок да в устройство привести. А он всё на чужую полосу бельмами зетит да под других подрывается. Да видали мы не таких ещё ловчаков, и не из стрелецких опальных, а из верных слуг отечества. К примеру молвить... князя Якова Федорыча: смышлён и деловит был... да когда блаженныя памяти государь сам ему отдал приказ флотские счёты

поверить, так попервоначально взялся, а повертел... видит – нелегко... "Не моё, – говорит, – дело! То особь статья. Моряки одни поверить могут, а не мы, что по земле горазды ходить!" А тут, с позволения сказать, Петрушка Толстой, какой ни есть проходим, похваляется нас поверять?! Пусть попробует! Вот Чернышёв целые годы употребил, да и то, говорят, поверил одну сухопутную службу. А стройку кораблей, говорит, николи не пущусь поверять... затем, что тут мастеру одному сведомо, как и что... Вот оно дело какое выходит.

И вздохнул старичок генерал-адмирал тяжело-тяжело, в раздумье от намерения Толстого: поверить расходы флота, с начала с самого не считанные.

Меньшиков заранее знал, какой результат может выйти от этого заявления, им выдуманного. Довольный впечатлением, произведённым на генерал-адмирала, Данилыч прибавил:

– Да нам с тобой двоим – пока ты меня, а я тебя поддерживать станем – наплевать можно на всякие дурацкие похвальбы! Я тебя только ставлю в известность, куда метят общие благоприятели наши да суют Гаврюшку в набольшие, титула ради канцлерского... словно вправду у него ума палата!

– Это и видно, что палата! – усмехнулся, на этот раз не без ехидства своего рода, добряк Апраксин.

– Не будь секретаря, так палатный ум и отписку сам настрочить замнётся, а не то что иное, потруднее. Вот Шафиров – другое дело. Это писака и делец... И, чего доброго, благочестивейшая, коли слышала Гаврюшкину отповедь, за столом, на речь твою, – за Шафирку схватится. Гаврюшка нахально заругался, – через одного от меня сидел; уж это я всё слышал своими ушами. А Шафиров прямо отпалил: "Коли, говорит, разумным людям в труд будет голштинское дело направить, и мы, некошные, годны будем горю такому пособить... Не олухи родились-таки".

– Ну, Шафирку пустить – кутить и мутить нам, братец, тоже не с руки... найдутся люди и почище Шафирки, да и поусерднее... и из немецкой нации. К примеру взять Остермана... ласковый, и покладный, и усердный

человек! Да и в делах смыслит лучше всех посольских писак... да и немец природный, не по-латыни станет, а по-немецки отписываться с немцами. И на нашу сторону парень склонный, а ещё сам просит поддержки и защиты... от Гаврюшки...

Генерал-адмирал слушал похвалу Остерману, казалось, с напряжённым вниманием, а выслушав, задумался, и на лице его отразились набежавшие сомнения.

– Каков же тебе кажется мой-то человечек? – задал прямой вопрос Данилыч примолкшему Апраксину.

– Да как те сказать?! Не прогадать бы тебе с этим вьюном. Не наш он был, есть и останется! Что ему мы с тобой или хоша все русские люди, спрошу я тебя? Зацепки да ступеньки, чтобы самому подняться. Он всех русских перессорит и продаст, натравит одних на других, а в конце концов добьётся, что будет только в своих руках держать все посольские сношения и вертеть ими к немецкой выгоде, а не на русскую руку. Вот моё, стариковское, тебе, братец, мнение! Представь одно только то, что Остерман и своему же брату немцу, Брюсу, нос наклеил – в Нейштадте... Умел к его делу так присуседиться, что выставил себя более усердным и рачительным к интересу его величества, чем Яков Брюс, генерал-фельдцейхмейстер И таков – поверь мне – будет твой Остерман во всём, что ты ему доверишь! Русак немцем николи не будет и против немца в изворотах немецких не постоит, а способен, по-своему, немца провести. Держаться лучше русского – русскому!

– То-то и есть, дядюшка, – перебил Меньшиков, – что мы своею смекалкой их на другом проведём. Я Остермана могу всегда на вожжах держать и туда направить, куда хочу, зорко за ним наблюдаю.

– Спервоначалу, может, и так... Да потом-то не справиться, коли дать ход. Он сам прибавит шагу незаметно и так далеко в сторону уйдёт, что не догонишь, коли раз выпустил, и с вожжами тебя понесёт куда ему нужно, попомни моё слово...

Оба засмеялись, и разговор прекратился, так как экипаж остановился у дома новобрачных.

– Вот и моя хата! – с лёгким вздохом молвил генерал-адмирал, проворно поднимаясь по парадной лестнице.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ I САМ СКРЫЛСЯ?

Прошло более полугода от памятного дня брака цесаревны Анны Петровны с герцогом Голштинским. Съездили они в немецкую сторону – в Ревель, а воротясь, нашли уже кое в чём перемену у матушки. Подле её величества чаще показывался теперь ловкий гадальщик князь Сапега, веселивший всё дворцовое общество. Даже сам светлейший отложил как бы в сторону свою брюзгливость и нелюдимость. Улыбается он и дружески жмёт руку не только голштинцам, но и русским барам, не выключая и старика Толстого. О подмётных письмах давно уже не слышать. Все лица словно помолодели и подобтели. И государыня стала не в пример румянее. Почасту теперь собирает её величество вокруг себя весёлую компанию, где наперерыв потешают государыню шуточками: княгиня Аграфена Петровна Волконская да Авдотья Ивановна Чернышёва с Матрёной Ивановной Балк, а старая княгиня Настасья Петровна Голицына не в авантаже теперь и только заходит к баронессе Клементьевой, на половину герцогини Голштинской.

Дуня будто бы просила у государыни позволения выйти замуж; жених тоже изъявлял охоту взять её, но государыня не соизволила и велела погодить да приданого покопить. На разживу пожаловала тридцать дворов, на первый случай, в той же Суздальской провинции, где было именье Балакирева. Сообщить об этой совсем неожиданной милости пришла Дуня к тётке, со дня свадьбы их высочеств помещённой в доме графа Апраксина, над спальней герцогини цесаревны.

– Однако, тридцать дворов пожаловала, да и в той же стороне, – выслушав доклад, заметила тётушка, – значит, не отказывает. Делать нечего, подождём. Ведь со стороны Вани ты ничего не замечаешь, как и я... покуда?

– Ничего... тётенька... Он ещё, можно сказать, ко мне не в пример перед

прошлым любовнее и приятнее... вечера все почти у меня просиживает. Уж и знают, где искать его, коли внизу нет.

– То-то, смотрите, однако, чтобы вас как ни есть непригоже не подкараулили да не выставили бы перед Самой, якобы вы преслушники. Меня пугает лекаришко твой старый. Такой мерзавец – и сказать нельзя! Да и я в долгу не остаюсь, разумеется. Жалуются слёзно государыне цесаревне. И та обещалась просить матушку. Я прямо говорила. "Сама уж, государыня, посуди – ворог какой: обесчестить девку обесчестил, а от женитьбы отъехал тогда. А теперь и жених есть, а он норовит помутить согласие между им и невестой. Хоть бы один конец... окрутить бы позволила государыня Дуньку с Иваном".

– Что же её высочество?

– Обещала просить маменьку, как только случай подойдёт...

Дуня с чего-то поникла головой в раздумье. Тётка, однако, не заметила этого, занятая своими планами. Замолчав, Дуня словно спохватилась и, глядя тётке в глаза, как бы всматриваясь, что она? – заговорила:

– А чтобы Лестока отвадить совсем, мой Иван знаете что придумал: светлейшему сказал, – как Штейнбах, камердинер её высочества, помер, чтобы лекаря на вдове его женить. И князь, должно, государыне это самое передал, потому что в прошедшую субботу призывала государыня вдову и спросила её: хочет ли она за лекаря идти? Та, знаете: "С полным, говорит, удовольствием; я, говорит, его, Лестока, давно уже люблю". Выслушав это, государыня призвала Германа, распекла так, что он не знал куда глаза девать, и в заключение велела готовиться к свадьбе со вдовой камердинера. Тот сослался было на слово, что дал Лакосте, но государыня ещё больше разгневалась и подтвердила строжайший приказ – венчаться с вдовой. Сегодня и в кирку ездила её величество – смотреть, как обручали их. Стало, нам можно остаться совсем спокойными на этот счёт.

– Слава те Создателю! – перекрестилась Ильинична, совершенно успокоенная.

– Ну, а Ваня как теперь? – спросила племянницу тётка, передавая ей

серьги, выпрошенные от цесаревны – невесте.

– Покорнейше благодарю, тётенька, за продолжение щедрот ко мне, неключимой! Ваня, вы спрашиваете, как? Да сегодня ещё к светлейшему ходил и теперь, должно быть, у него же. Надзор ему поручен за комнатой внучат её величества. Там чтой-то неладное творится: заползают всякие разные проходимы и великому князю смущение наводят и такое, что государь начинает светлейшему грубости оказывать. Ваня уже всё разузнал доподлинно, кто такие эти смутники. Открывается одна шайка с Толстым никак, да с другими опальными по царевичеву делу, по прошлому. Начинают с заднего крыльца захаживать к его высочеству. Все, видишь, верные якобы слуги его отца страдали за него. А коли начали захаживать, сами посудите, тётенька, чего доброго, на этот раз уж и выкрадут мальчика да такую кутерьму, пожалуй, здесь заварят, что и самой нашей матушке не расхлебать будет. Вот Иванушка, оберегаючи царский покой, теперь лисой тоже к вертопрахам тем примазался, словно держит руку их и заодно с ними, советы выслушивает и сам подаёт, а ухо держит остро и светлейшему всё передаёт. И велено ему от Самой по вечерам у своей должности не быть. Вот таким путём часто и со мной проводит, а кликнул меня зачем – он в ту половину, врасплох. Стоит, впрочем, Ваня крепко за Маврина; а светлейшему хочется его удалить да немцу Остерману передать великого князя в ближайшее руководство; даже в свой дом хочет его перевести и с воспитателем. Только государыня не соизволяет. Своих маленьких не стало, так к внучатам крепче привязывается, начинает их чаще и чаще к себе требовать, а не то сама уходит к ним, садит на колени сироток, качает, целует, а иной раз – расчувствуется и всплакнёт, на них глядя. И дети эти теперь стали другие. Так к ней да к Елизавете Петровне и льнут. А из того, понятно, врагам больше и больше помехи, так что... авось ненавистникам покоя и не удастся их злодейский промысел. А и к нам ко всем великий князь и княжна теперь очень ласковы. Всех нас по именам знают. А моего Ваню великий князь любить стал больше всех с того дня, как прокурат наш дудочку вырезал да показал царевичу, как в неё

дудить, разные распевы выигрывая. Очень эта дуда государю понравилась, и зачал он у Вани учиться играть на ней. Наш-от – кто бы это самое представил? – умеет выигрывать все солдатские походы да побудки! Раз он в дудочку заиграл у себя, меня не было... Иду по лестнице, слышу, гдей-то играют; думаю – таково складно да сладко. Вхожу – ан это у нас! Гляжу – он потешается... что твой соловей! Вот уж подлинно мастер на все руки. Или теперь преизрядно писать стал; и не надо тебе приказного, коли нужно что настрочить. И немецкие люди к нему, вот голштинцы к примеру, тоже очень льнут. Он по-ихнему так развязно калякает, что просто издивленье. Вместе, кажется, в Риге да Ревеле жили, научилась и я немного кое-что высказать и понимаю-таки, а супротив его никак уж мне не сговорить. Словно он с немцами вырос али родился в чужой дальней стороне.

– Уж конечно, куда тебе в ловкости с Ваней равняться! – подтвердила тётка. – Таких ухарей редко встретишь. Уж разумом, почитай, с кем угодно из первейших людей потягаться может. А насчёт смётки, так – истинно можно сказать – такого на своём веку другого, как он, окромя покойного государя, не видывала. Али ещё вот светлейший – штуковат. Только наш Иван – стрёма, никогда не раскинет и всё начеку, а тот, известно, в почёте да во власти и дурость иной раз лишнюю напускает, знает – всё ему сойдёт с рук. Как помнишь, чай, на свадьбе. С чего-то насупился, ночь-ночью, так что всем жутко стало. Одначе вовремя спохватился, стряхнул с себя мнимую дурь и молодцом поправился.

– Вот Ваня небойсь никогда не забудется. Да и скрытен как... видишь, к человеку в душу лезет, а человек этот за то самое ему ножом поперёк горла стал... Спросишь потом наедине: что, мол, ты с этим, так и так?.. Махнёт рукой только. "Мало ль что, – говорит, – я показываю... сердце другое говорит и будет говорить: да рассудок-то на что? Коли всё спервоначалу выказывать, что на душе, – жить нельзя с людьми по теперешнему времени". И тяжко вздохнёт сам. И бросится меня обнимать и целовать. "Ты, – говорит, – одна осталась у меня надежда и услада, Дуня! С тобой душеньку отвожу, а коли ты проведёшь, пропала моя душа

бедная! Буду таким же извергом, как все другие... без Бога и совести".
Иной раз и слёзы из глаз закапают и весь задрожит, сердечный!

– А ты и расплываешься небось на такие его лясы... дурочка! Коли таки признанья чинит... ино Богу молись, а не особенно располагайся. Очень уж мудрён что-то становится парень. Может, и с тобой ту же, что с другими, комедь ломает, благо поддаёшься ты. Осетил он тебя, несмысленую...

– Полно, родная, клепать и на Ваню, и на меня. Я вовсе не забываюсь и головы не теряю. А расположение его вижу к себе нелицемерное, и то никак не подвох аль там что ни есть хитрое. Слова словами и жар жарам... не напускной небось... различим... И смекаю я, что простофилей ему с другими быть нельзя; враг на враге, врагом погоняет. К примеру сказать, возьмём хоть шута непутного... есть ли такая змея где? А Черкасов Иван Антоныч... А Павел Иваныч... А Дивиер либо Андрей Иваныч... все они готовы были бы в ложке Ваню утопить. Да и Алексей Васильич уж... Не тот совсем к нам, что был. Зато светлейший да Сама... с лихвою перед прошлым жалуют и берегут. А Толстой и его шайка, Ваня говорит, на свой пай ублажают и к себе тянут... да я уж пересказывала вам, как тонко он их всех проводит. Знаешь, тётенька, вот что особенно имейте в предмете... нельзя ли вам с цесаревной у нас бывать, хоша изредка... поприсмотреть бы вам на Авдотью Ивановну не мешало. Она словно теперь верх берёт и над княгиней Аграфеной Петровной, и вам бы не мешало к ней прежде... отложить. И чем она в близость вошла – никак вам не понять?! В один голос вторит Сапеге!.. Как двое они у нас – все животики надорвут. Он одно выпустит, она и подхватит. И чем дальше – тем сильнее забирают. Граф Толстой ходит к Самой без доклада теперь... и Дивиер без доклада... и Павел Иваныч без доклада... И с герцогом вашим большие друзья эти трое. Обнявшись иной раз идёт ваш к нам с тем либо с другим... да к нам таскается... Даже, знаешь ли, Чернышиха к нашей герцогине шмыгает... А вы бы, тётенька, половчее сами с ней заговорили, может, лучше бы было, сойтись не мешало бы.

– Кому ты говоришь это! Не мне ли? Я – с Чернышихой?! Да... как я

завижу её, сама скорее прочь, обойду стороной и не показываюсь. Вот что значит бабий-то ум да непостоянство. Попробовали бы к другой подлезть. А тут... всё забыто... в год в один... коли ещё не раньше... Давно ведь уж шныряет... Куда ещё до Рождества. Не думала я о Катерине Алексеевне, что она такая.

– Добра!.. От того...

– Нет... Это не доброта. Ушаков, по зиме я слышала, прямо резал Самой, что она да Павел Иваныч Монса сгубили. Помнишь, как в ту пору возымел было он важность, да не сумел, дурак, поддержать себя. Пошёл и нашим и вашим. Вот теперь и толкись по задворкам. Ведь его не видать у вас, чай...

– Нет... совсем не видать.

– Да и добро, что этот злодей без силы. Он бы всех в бараний рог согнул. Ведь помнишь, фискалить-то велел шути непутному... за нами.

– Теперь зато полная нам свобода. Мы, когда придёт шутник-смехотвор да Авдотья Ивановна, свободно уйдём, накрывши на стол да поставивши заедки, питья да вины. Хоть со двора уходи... не спросит никто...

– С чего же это так? – спросила тётка.

Дуня промолчала; но, подождав минуты две-три, стала собираться.

– Не поздно ли будет неравно... Не спросили бы...

– Коли спешись... не удерживаю, – прощаясь с Дунею, грубо сказала тётка, упорно смотря в глаза племяннице, так что заставила её даже потупить. Это ещё более усилило подозрение. И оставшись одна, Ильинична против обыкновения предалась горькому раздумью.

– Врёт... и все врёт! Научилась у кого-то недоброго... глаза отводить, – не один раз повторила она, раскладывая карты и загадывая на червонного короля. – Ему готовится словно невзгода какая? И всё от крали... Добро... спросить бы как Ванюшку?.. Ох мне этот непутный лекаришка!

В размышлениях и гаданье прошёл почти весь вечер. Когда она сошла вниз, цесаревна была у себя одна и встретила свою гофмейстерину словами:

– Где ты пропадала, Ильинична?

– Разве нужна я была, государыня?

– Не нужна... а жаль, что тебя не было. Услышала бы много прелюбопытных вещей про князя светлейшего и про те два важных оскорбления его, о которых говорят все в городе.

– Какие оскорбления, ваше высочество?

– Да разве ты и этого не знаешь?

Ильинична, захваченная врасплох, принуждена была в первый раз в жизни сознаться, что ничего не знает.

– Видишь ли, какой-то шляхтич, Иван Лярский, назвал светлейшего, публично, вором и бездельником, а в крепости обругала его светлость жена плац-майора Ильина...

– Что же, ваше высочество, князь-от?

– Лярского хотел ударить, но тот сам сдачи дал и, говорят злоязычники, порядочно-таки помял его светлость... пока схватили его. Нарядили суд, но, говорят, сам уже светлейший маменьке сказал, что суд ни к чему не поведёт, а нужно другим путём... что сам он разберётся с оскорбителем... Графу Бассевичу говорили, что Сенат приготовился начать обширное расследование, потребовавши от Лярского объяснений: что привело его к столь необычному поступку с самым главным из министров. А Лярский будто бы подал обширную записку, где, высчитывая личные обиды себе и своему роду от князя, взводил на светлейшего целый ряд самых грязных обвинений. Авдотья Ивановна у меня была и говорила, что Сапега просил мамашу не мешаться в дело светлейшего, разрешив Сенату вести процесс по законам. А князь Александр Данилыч сегодня вечером при мне упрашивал мамашу отдать ему поданное Лярским на письме обвинение – для ответа, говорит, в случае надобности... и настоял на своём...

– Чудеса, ваше высочество... как взглядишься в теперешние обстоятельства! – со вздохом вымолвила Ильинична. – К чему только всё это приведёт?

– Разумеется, ни к чему хорошему, – пожав плечами, ответила умная,

сдержанная герцогиня. – И я, и муж несколько раз уже говорили мамаше, что со светлейшим ей одной трудно вести дела, что нужен совет, и составлен он должен быть хоть не из малого числа лиц, но таких, которые бы могли сдерживать стремления князя: всё забрать в одни свои руки. Совет, таким образом, мог бы предотвращать хищения его, о которых всюду открыто и безбоязненно говорят. И уж опять дерзкие люди пустились волновать... не одну столицу даже... подмётными письмами. Мамаша плачет и ни на что не решается. А нужно будет решиться раз навсегда покончить с князем.

– Ваше высочество... удержитесь вы по крайности от советов государыне, родительнице вашей! Верьте мне, старой слуге, для которой ваше благополучие всего дороже, – верьте: наводят все эти напасти вовсе не благоприятели, а зложелатели вам. Подрываются под князя светлейшего они потому, что он всех опаснее им и может обуздать всех, поддерживая порядок в правлении всемилостивейшей государыни нашей. Если же удастся его столкнуть – самой матушке вашей прибавится больше горя от требований тех же самых честолюбцев, для которых князь Александр Данилыч был и есть гроза. Ведь первый из врагов его – Пётр Толстой – есть и самый злейший и самый низкий подкапыватель под государыню... Ведь он с Павлом Ягужинским научили и Анисью Толстую наблюдать за её величеством и доносить им...

– Я не знала, Ильинична, ничего о последнем и каюсь, услышавши теперь от тебя такие страшные дела Толстого. А я заставила мужа настаивать непременно, чтобы графа Петра Андреича посадить в совете первым и совет учредить теперь же ... Фридрих именно и уехал сегодня к мамаше настоять на учреждении совета...

– Напрасно, матушка, напрасно! Но уже буде этот совет вам дался, по крайности ты, моя умница, цесаревнушка, с муженьком там же сиди, с ворогами вместе. При вас всё же не посмеют кутить и мутить так, как заглазно. Особенно когда графа Апраксина да светлейшего туда же посадить. Тогда Головкин, хоть бы и с Толстым вдвоём, не сумеет ничего провести из своих злоковарных умыслов против государыни.

Цесаревна погрузилась в думу, но видно было по лицу её, что ум дочери великого Петра в это время работал с необычным усердием. Наконец в глазах её блеснул огонь, она встала с места, выпрямившись, и величественно протянула няньке свою руку, сказав:

– Спасибо, няня! Ты меня вовремя надоумила. В совете мне нужно быть, и я буду! Думать буду за себя и за мужа, и, надеюсь, мною останется довольна и мамаша... и все...

Раздались шаги по коридорчику, ведущему из парадных палат на половину её высочества, и в дверях показался герцог Карл-Фридрих, очень весёлый и довольный.

– Будет всё по-нашему! Мамаша приказала указ написать, и сестра Лиза при мне подписала его, так что теперь необходимо быть совету... – весело отрапортовал супруг по-немецки.

– Вот, Ильинична... совет будет. Мамаша согласилась, – перевела герцогиня гофмейстерине.

– Настаивай же теперь, чтобы тебя государыня туда посадила непременно! – дала совет Ильинична, целуя и крестя свою воспитанницу, и, поклонившись молча герцогу, ушла.

II СПРОВАДИЛИ?

Послушаем ещё и беседу у Авдотьи Ивановны Чернышёвой, по возвращении от цесаревны нашедшей у себя гостей, дожидавшихся замедлившую хозяйку. Гости эти были Макаров и Ягужинский.

– Наконец-то и ты к нам завернул, к некошным! – здороваясь с Макаровым, с тенью если не насмешки, то упрёка ласково молвила шутница хозяйка.

– Да завёртывал я и прежде к вам, однако всё случая не имел дома залучить...

– Полно, голубчик Алексей Васильич, отговариваться... не путём. Раз коли не застал, в другой бы пожаловал, если бы подождал, как теперь... Вот я и перед вами. Спасибо, что подождали.

– Да уж было нашего терпенья... и не будь меня, Алексей Васильич бы не

досидел, – смеясь, заговорил Ягужинский.

– Спасибо, спасибо... Экой бедный страстотерпец! – глядя фамильярно по голове Ягужинского, смеялась Чернышёва.

– Да спасибо одного, я тебе скажу, мало, коли мы досидели за полночь, алчущи и жаждущи.

– Напоим и накормим вас, странных – не горюй так да не плачься. Дай только срок. А пока уйду, распорядюсь. А чтобы вам не поскучать моим отсутствием, весточку вам дам на размышленье. Совет будет, и Сенату больше дела, и новые сенаторы назначены... Отгадайте-ка, кто в совет и кто в Сенат?

И Чернышиха исчезла, чтобы распорядиться по хозяйству и сбросить придворный роброн, заменив его шлафроком, тогда называвшимся здесь самарой (samarra).

Оставшись одни, гости завели следующий разговор вполголоса:

– Дуня не знает, очевидно, – сказал Павел Иванович, – что Сама обещала мне раз светлейшему отложить совет. Дала верное слово.

– Понятно верное, когда князь к нам приехал и высказал. Пока не решено, он удерживается, как известно, от сообщений. Да и мне его светлость не велел являться завтра рано, до него, с бумагами. Сам обещал быть прежде и заявит, чтобы Дивиера посадили в военную коллегия, а не в Сенат. И список велел мне подождать подавать...

– Дуня, известно, бабьими вестями довольствуется, что которая услышит да переверёт ещё, того гляди.

– Не переверёт никто мне, голубчик, – услышав последние слова, на ходу крикнула Авдотья Ивановна, шурша своей новой самарой. – Вы, друзья, чего доброго, сами теперь обмануты Меньшиковым... неволью, конечно... а всё-таки обмануты... Его Сама провела, при своей уступчивости и настоянии зятя – сдержать данное слово, неотложно! При мне ведь был светлейший... Точно, просил об отсрочке, и ему обещано. А за ним приехали Сапега с Голштинским герцогом, и тот так просил, поддерживаемый Сашкиным братцем названным, что не устояла Катерина Алексеевна – соизволила. Герцог сходил и за Елизаветой Петровной.

Заставили её написать тут же и подписать указ об учреждении совета. А в этот совет назначила: зятка-герцога, первым после себя; а затем: обеих цесаревен, Апраксина, Головкина, Толстого и Меншикова. Сама я видела, как герцог взял указ с собой, уезжая. Накрыли стол для нас троих, но я, из приличия понимаете, отговорилась головною болью и уехала. Да и кстати. Приезжаю и нахожу: дорогие гости ждут.

– А мы, дурачьё, тебя ещё не только не похвалили, а взводили по заглазью навет, что ты, голубушка, продовольствуешься чужими слухами! Трижды выходим мы дурачьё и яко винные, как подадут винцо, на коленях примем, не иначе, свои стопки. Вот тебе моё искреннее покаяние! – нашёлся изворотливый Павел Иванович, стараясь скрыть неприятное впечатление, произведённое на него этими вестями.

Пока совет не был ещё учреждён, он думал попасть в его члены, но теперь приходилось ему оставить всякую надежду. Разлад в день свадьбы цесаревны с партией Толстого заставил его ухаживать только за Меншиковым, а теперь он пожалел о своей непредусмотрительности. Поэтому, когда внесли поднос с кубками, Павел Иванович с досады осушил свой кубок залпом прежде всех, и, когда хозяйка, взяв кубок, чокнулась с Макаровым, Павел Иванович схватил другой кубок, чокнулся с нею и опять осушил его одним махом. Этот усиленный приём не охмелил его, но кровь прилила в голову и в глазах появилось выражение мрачной злости. Это сразу подметила хозяйка и вкрадчиво произнесла, ударив его по плечу:

– Не вешай головы умной, молодец хороший! Не то мы с тобой видали и не то переживали! А теперешнюю печаль-тоску скоро, будь уверен, снимет с тебя лёгкая рука... как моя, к примеру сказать...

Ягужинский молчал, а Макаров усмехнулся, отозвавшись:

– Я бы, Авдотья Ивановна, от одного такого обещанья не только бы повеселел, но самую вестницу радости расцеловал бы...

– Можно, сударь, целовать кого позволят, – сурово ответила хозяйка на эту непрошеную любезность.

– Да ты и обиделась словно, Авдотья Ивановна, – возразил

ошеломлённый делец.

– Чего тут обижаться... Было бы на кого!.. – надменно обрезала ещё раз генеральша Чернышёва, обратившись совсем дружески к Павлу Ивановичу и принимаясь его утешать.

– Ты, как видно, другого склада, друг; у того нежности на уме, а ты совсем раскис с чего-то. А я было думала, что ты вправду пришёл рассеять мою тоску-кручину без мужа... как погляжу на тебя, ты словно совсем переродился с молодой-то женой? Хуже неутешного вдовца глядишь... Уж не собираешься ли, по примеру прежней супруги, чёрное платье вздеть и вконец отречься от наших сует мирских? Право, я тебя не узнаю! В прошлом году, по весне, что ль, ты, говорят, не к месту перетрусился от посещения Андрюшки Ушакова и стал даже друзей предавать, себя неумело выгораживая. А теперь опять совсем не в себе стал оттого только, что вас светлейший уверил, будто совету не быть, а не выгорело. Да скажи по крайней мере по душе, разве тебя какая корысть связывает с нашим величайшим, прозорливейшим и всевластнейшим герцогом всея Ингрии и прочих?

На этот вопрос, однако, ответа не последовало, а наступила долгая пауза, среди которой раздалось очень кстати заявление дворецкого:

– За стол пожалуйте!

– Ну, алчущая братия... поплетёмся для подкрепления сил своих! Авось, укрепившись, ты, Павел Иваныч, и поведаешь мне свою грусть-тоску великую, скорбь-печаль неразмычную, – со смехом прощбетала шутница, встав с места и приглашая гостей перейти в столовую. Макаров, преразвязно встав, проворно прошёл за дверь. Без него схватила Авдотья Ивановна Ягужинского за мягкие руки и, тряся его, наклонилась и прошептала на ухо:

– Оправься скорей... да сбagri как-нибудь Алёшку... Ты знаешь, как он мне противен... Зачем только ты притянул его сюда сегодня?

Ягужинский отвечал тоже шёпотом:

– Я не виноват тут... ты знаешь его навязчивость и цепкость. Мне бы самому хотелось с тобой один на один перемолвить, он и мне мешает.

– Добро же, я с ним справлюсь, не мешай только! – таща за руку Ягужинского, в дверях шепнула Дуня.

Вот все трое сели за стол, и, разливая по тарелкам похлёбку, Авдотья Ивановна влила в кубок Макарову целую флягу сэка; как можно было заключить по лицу кабинет-секретаря, он был очень польщён этим, не обратив внимания на то, что Ягужинскому и себе хозяйка влила понемножку из пустой почти фляги, предлагая тост – за бывших врагов, превращающихся в друзей!

Макаров с непритворною радостью чокнулся с нею и опорожнил почти половину высокого кубка, не подозревая тут коварства хитрой Чернышихи.

После жаркого – новый тост за общее примирение! Ягужинский и хозяйка только приложились к своим кубкам, а Макаров опять хлебнул так основательно, что показалось дно в опорожнившемся сосуде. Авдотья Ивановна заметила это и немедленно долила кубок Алексея Васильевича как бы вином того же цвета. Но на самом деле вместо вина влита была ею Макарову сладкая, очень крепкая, с мускатным букетом наливка. Тут внесли индейку, и хозяйка предложила sprysнуть её. Переходя от слов к делу, Авдотья Ивановна подняла свой бокал, произнеся пожелание общего мира, причём, первая отпив, сказала:

– Ты, видно, Алексей Васильич, не хочешь жить с нами в ладу, оттого и медлишь пить!

– Н-нет! – запинаясь и уже сильно хмелея, произнёс медленно Макаров и, как только хлебнул из своего кубка, так и совсем охмелел, а через несколько минут скатился под стол на мягкий ковёр, покрывавший пол; хозяйка и Ягужинский, dokonчив ужин, поспешно вышли из столовой.

Авдотья Ивановна тихонько приказала дворецкому ничего не трогать со стола и унести свечи.

– Ну, теперь мы можем по душе поговорить, один на один. Садись.

Павел Иванович сел на софу рядом с Авдотьей Ивановной и забросил руку ей за плечо, совсем дружески.

– Ну, говори же, отчего слова мои о совете привели тебя в отчаяние? –

спросила Чернышёва, взяв Ягужинского за руку.

– Что греха таить... С нашими бывшими союзниками я разошёлся, погорячившись, а теперь вижу, что Сашка ненадёжен и власть переходит к ним. А подходить и сближаться с ними и неловко, да, думаю и пользы будет мало... коли совет составился... Я, значит, остаюсь ни у того берега, ни у другого, и людей, на кого могу положиться, – немного...

– И со мной считаешь.

– Да, и с тобой... если...

– Если что? – с живостью спросила Авдотья Ивановна.

– Если ты не станешь мстить мне за невольное вероломство.

– Я пошутила... Я не изменяю к людям, которых считала когда-нибудь друзьями, – добавила она со вздохом.

– И я таков же! – неуверенно отозвался Павел Иванович.

Авдотья Ивановна взглянула ему в глаза, засмеявшись; он покраснел и смешался. Почему-то зачесались у него ладони, и он начал водить пальцами правой руки по ладони левой, видимо собирая мысли, чтобы продолжить чуть не на полуслове обесчёрченную речь.

Чернышёва была очень довольна действием своего манёвра на собеседника, от которого намерена была потребовать за великодушное забвение его вероломства в свою очередь выполнения дела, успех которого её теперь сильно занимал.

– Видишь, Павел, каково криводушничать? – вдруг молвила Чернышёва, положив свою руку в руку Ягужинского, и полусердито-полумилостиво прибавила: – В искупление своей провинности передо мной ты безусловно должен сделать, что я теперь скажу тебе.

– С полной готовностью и охотой! – ответил виноватый, пожимая её руку.

– Покуда ты с Сашкой ладишь, скажи ему, чтобы Григорью, с назначением в Ригу, дали полномочия делать что нужно... Это, скажи, в его же, Сашкиных, интересах. Взамен того я теперь же постараюсь начать Самой заговаривать, что светлейшему нужно обзреть состояние дел в Риге и... может быть, в Митаве. Это ему теперь на руку, потому что

задумал он прибрать к рукам курляндчиков. Удастся ли это – другое дело... но разуверять его в неуспехе – не нам, да и не время. Нам выгоднее даже, чтобы его светлость осчастливил – двоих особенно – своим отъездом...

– Это конечно... Но зачем тебе-то подсовываться с Григорьем на помощь? Не всё ли равно Григорью сидеть в Москве? Тебе здесь теперь нужнее, я полагаю, быть, чем в Риге?!

– Да обо мне и речи нет. В Москве ли муж али в Риге, я здесь уж останусь теперь несомненно... А его в Ригу решено послать и... не отвертишься... А коли пошлют – выгоднее быть на своей воле, чтобы делать что можно, не отвечая за глупость других

– А разве может, ты думаешь, Сашка Григорью это обделать? Дадут ли другие-то? Узнать бы – не станут ли перечить просто из-за его ходатайства?..

– Ну, тут у Самой можно настоять... и дадут. Только бы заговорил кто-нибудь первый... А коли Сашка что задумает, ты знаешь его – упрётся. И нехотя сделает.

– Да сам-то он, скажи на милость, разве не шатается и не близок к тому, чтобы сгнуться? – задал глубокомысленный вопрос Павел Иванович, уставив взгляд на собеседницу.

Та тоже задумалась на минуту. Сообразив, однако, известные ей обстоятельства, она твёрдо сказала:

– Нет. Как ни стараются его отпихнуть, но, поверь мне, покуда усилия друзей Сашкиных совершенно бесплодны. Есть ещё у него сильная заступа в сознании Самой. Выслушает всё про него и позлится только – верь мне – больше для вида. Пытается заезжать с разных сторон князь Ян. Готова я и с тобой, и с кем хочешь об заклад побиться, что всё это ни на шаг не подвигает дела. А Сашка теперь, относительно своей заступы, ведёт дело умно: не напрашивается, избегает и редко показывается. Но знает он очень многое и умеет пользоваться своим знанием когда нужно. Придёт на несколько минут и внезапным приходом сгладит, как бы и не было ничего из того, что успеют нагромоздить против него приятели...

– Если это правда, Авдотья Ивановна, то незачем ему ехать в Митаву! Или, чего доброго, он нарочно говорит, что поедет, – а только отводит глаза и сам не думает шага делать из Петербурга.

– Ну, и этого не скажу. Ехать он хочет заправду и имеет основания надеяться, что больше сделает, явившись туда лично. А если сказать прямо, когда он поедет, – это, разумеется, и ему неизвестно. Да и зависит от тамошних обстоятельств, а никак не от здешних. Отсюда он может во всякое время уехать; а долго пробыть в Митаве рассудок запрещает. Поэтому раньше, чем нужно, он и не пустится отсюда.

– А здесь ему разве не могут напомнить: не пора ли ехать?

– Тот, кто первый напомнит, из врагов его, может выслушать такой ответ, который отобьёт охоту напоминать.

– А из друзей?! Да из таких, на которых не придётся, может, окрыситься, а разве благодарить за заботу?

– Ну, такие друзья напоминанья не будут делать. Будь уверен. Скорее, враги. А я ничего не слыхала, даже и о приготовлении чего-нибудь подобного.

– А в совете-то, чего доброго, такое определеньице вдруг смастерят, что Сашка один против всех ничего не сделает, и должен будет принять да выполнить неукоснительно? А есть ведь кому такую пульку отлить в совете, мне кажется?!

– А мне не кажется... Алёшка, что дрыхнет там, держит руку своего барина, Сашки, крепко. Верь мне... и сюда он прислан для почёта ко мне самим же лешим. Почуял враг, что со мной теперь выгоднее в миру жить, чем в войне!

– Какая же ты ловкая отгадчица! Мне и в голову сперва не пришло... а теперь, как сказала... сообразивши, могу и я согласиться, что это похоже на правду.

– А коли верно я угадала, так тебе мне не след перечить или мешать. Дуня остаётся – ещё раз повторяю – та же. И не злопамятна. И готова тебя поддержать... не так, как ты...

И тяжкий вздох хозяйки и гостя облегчил их груди; затем гость и

хозяйка как бы инстинктивно поцеловались и обнялись. Прочный мир и союз был заключён, таким образом, без всяких проволочек и колебаний.

– Я ведь – ты знаешь очень хорошо – не особенно льну к Толстому с братьей, хотя и сильны они. Я не верю в прочность их силы. Сашка знает всё, что у них делается, и через Алёшку постарается добыть предложеньице, которое или совсем уничтожит их дело, или даст этому делу другое направление.

– Ну... я не совсем могу согласиться с этим... – возразил Ягужинский.

– Да как не совсем? Полно... Возьмём хоть совет ваш в самую свадьбу цесаревны. У всех у вас закипело сердце от Сашкиной выходки. Все решили собраться немедленно и покончить с ним, учредя совет. Стали рассуждать, и все перессорились. Ты первый, и, правду сказать, тебе-то и непростительнее всего было так поступить.

– Теперь, пораздумав, я, пожалуй, могу перед тобой сознаться, что не признаю себя правым и даже виню во всём. Но тогда... вгорячах...

– Тотчас после обеда... хотел, может, сказать... Тостов так достаточно было, – рассмеявшись, ехидно сострила Чернышёва, а Павел Иванович хотел улыбнуться, но лицо его приняло выражение лёгкой досады, ослабленной, разумеется, смирением кающегося грешника, которому уже отпущен прошлый промах.

Авдотья Ивановна лукаво погрозила пальчиком и промолвила с нежным упрёком:

– Смотри же, Павлуша! Со мной не думай устроить что-нибудь на то похожее. Я сумею проучить, не теряя, как и они, дружбы с тобой, но почувствительнее накажу, чем только обход местом в совете. Я потому должна это тебе сказать, что у нас с тобой кроме партии Толстого с братьей есть противник не им чета. Он опаснее, потому что несравненно умнее и тоньше, да и ближе, чем они, становится нам поперёк дороги... Знаешь, о ком я говорю?

– Не совсем вслушался... Повтори, – отозвался Ягужинский.

– Чем повторять, прямо скажу: Аграфена Волконская. Покуда я успела её от Самой пооттереть... Надолго ли – трудно сказать... А это такая баба,

из которой десять мужиков-хитрецов, вроде твоего тестюшки, выкроить можно... Её цель – забрать власть в свои руки. Подладиться к кому угодно княгине Аграфене не стоит никакого труда, было бы только время да возможность подойти. Стало быть, против неё нет другого средства, как не давать ей хода... Знаешь ли, на что она бьёт?

– Узнаю, коли скажешь...

– А сам и догадаться даже не можешь?

– Да с чего догадываться-то? Я ничего не слыхал даже о том, что она сильна при Самой.

– Так сильна, что и слова нельзя высказать против, а нужно всем соединиться да разбивать всё, что она только ни выскажет Самой... Отговаривать нужно, разумеется, сперва, чтобы позатянулось дело, а потом и подавно, чтобы забылось.

– Да что ж она такое затевает?

– То же, что и мы... только гораздо ловчее... Заговорит-заговорит и подведёт турусу такую, что Сама выскажет то, что ей нужно, а она, хитрячка, словно тут ни при чём.

– Всё прекрасно... но чтобы разбивать её планы, нужно, я думаю, верно знать, на что она метит? – спросил, перебивая Авдотью Ивановну, Ягужинский.

– Да говорят же тебе, что метит она на то же самое, на что и мы, – управлять Самой... Только дело-то её самое мошенническое.

– Не понимаю! Коли бьёт она на то же, на что и вы, то как же вам удастся, отговоривши по её предложению, направить то же самое, только от себя?

– Да кто же тебе говорит, что то самое? Вестимо, то самое нельзя, да и не нужно... А нужно своё пустить в ход, чем государыню занять и чтобы ей больше понравилось. И увидела бы она, что Аграфенино предложение хуже, чем наше...

– Да как же хуже-то, когда по её словам не сделается?

– На словах, разумеется, – договорила с сердцем Авдотья Ивановна, видимо начиная кипятиться от противоречия Ягужинского.

Тот поглядел на хозяйку не без удивления и, дав ей немного успокоиться, прибавил:

– Всего лучше с чего-нибудь начать разбирать Аграфенины затеи. На чём же ты в последний раз, например, заметила, что Аграфена подставляет тебе ножку?

– Да вот на чём: сидим мы да калякаем с Самой, вдруг подходит Бията и на ухо что-то начинает шептать. Её выслушали, махнули рукой в сторону лестницы. Баба кивнула головой в знак того, что поняла, и ушла. Через минуту слышу – шуршит реброн в коридорчике и на лестницу. Выждала я с четверть часа; вижу, Сама мнётся. "Прощенья просим, – молвила я, – никак ваше величество изволите подждать кого ни на есть?"

– Д-да... – с неохотой ответили мне, – в другой раз заезжай.

– Вышла я в переднюю и попросила вызвать попрощаться ко мне Анисью Кирилловну. Пошли за ней, а я стою да смотрю в щёлку в коридорчик и вижу: прёт сверху княгиня Аграфена Волконская. В дверях её встретила Сама и ну целовать... Пойми ты – целовать! словно друга какого ненаглядного, с которым невесть сколько не видалась. Во мне, знаешь, всё поворотило! Вот уж не ожидала-то! Эту толстуху в друзья такие, думаю, приняла... С чего такая благодать? Дней через пять прихожу. Доложили; повелела ждать. А у Самой такие рассказы и смехи и чей-то голос – не вдруг я признала – повесть прехитрую ведёт о том, чтобы матушка-государыня не изволила никому много вверяться. Что все, окружающие её величество, норовят тянуть на свою руку, а до подлинного желанья Самой никому и дела нет. Пела, пела и стала словно вставать, прощаться. А Сама её опять уговорила сесть. Я битых четыре часа прождала... всё меня не зовут... Послала спросить: соизволят ли принять, или в другой раз? В другой раз пусть попринудится пожаловать – услышала я приказ и с бешенством ушла. Иду домой да и думаю: дай-кась и я удеру им штучку. Воротилась... Пообедала у себя... Велела сани подать и... к Сапеге. Чего, говорю, ты глядишь? Не чуешь разве, такая приязнь завелась... что говорят-говорят и наговориться не могут целые дни... всем отказывают. Это неспроста... Тот закручинился. Нечего,

говоря, робеть, а надо в досталь спознать: как и что. Пойдём-ка вместе... Ты скажи, что меня насильно повёз... вот и разберём, по разговорам, что там зачинается.

– Ну и что ж? – нетерпеливо перебил Ягужинский.

– Дай срок, дойдём... узнаешь...

– Так говори скорее. Очень занято...

– То-то, занято... Мне уж было не до занятости. Почуяла, что готовит баба неладное – всех норовит оттереть да одна владать. Врёшь, думаю, это старуха ещё надвое сказала. Приехали. Сапега прямо вломился, а меня ведёт за руку. Сама так себе, ничего... Указала глазами, сесть где мне. Я и села подле княгини Аграфены. Что соловей твой распевает, словно сваха заправская: за что Самой, нашей матушке, век молодой губить – замуж, вишь, лучше идти! Понимаешь ты, куда гнёт? Ну, коли это, голубушка, у тебя в предмете, так наше дело, думаю я, не плошать, неравно и впрямь сосватаешь.

У Ягужинского скользнула по лицу страшная улыбка, и он кинул взгляд на лицо Авдотьи Ивановны, сохранявшее прежнее злое выражение, показывавшее, что она как бы верила осуществлению высказываемого плана! Павел Иванович сосредоточил все силы своего ума, чтобы понять конечные планы Чернышихи.

Желая скорее и точнее проникнуть в них, Ягужинский, крепко заинтересованный дальнейшим ходом рассказа хозяйки, весь обратился в слух, боясь проронить слово из того, что услышит. Но ожидания его не оправдались. Заметив агитацию гостя, хозяйка заговорила о приёме Сапеги и пустилась делать свои заключения о том, как много значил теперь польский магнат при лице высокой особы, на которую думала действовать княгиня Волконская. Но этот вопрос Ягужинский сам обсудил со всех сторон, и потому он не представлял для него интереса. Павел Иванович желал скорее узнать имя предполагаемого кандидата, и нетерпение его росло по мере того, как Авдотья вдавалась в ненужные подробности. Наконец он не вытерпел и спросил:

– Да кто же кандидат Волконской-то?

Эти слова, как внезапно раздавшийся удар грома, заставили рассказчицу вздрогнуть и разгневаться: она забыла и то, что не успела договорить, и потеряла самую нить рассказа.

Выругавши кого-то в третьем лице, она продолжала:

– Мы тотчас и положили настаивать на приближении к Самой внучат. На Елизавету Петровну я взялась действовать непосредственно и к ней приставляю свою верную Дуньку.

– Какую такую? – спросил Павел Иванович.

– Ильиничнину племянницу... Да дело не в ней одной. Она мне нужна не только здесь, а и в других двух местах... уж я сумела её и настроить совсем, как следует... да закружила её так, что она у меня будет верным соглядатаем и за Ванькой Балакиревым... А он...

Ягужинский потерял терпение и, не говоря ни слова, протянул руку хозяйке.

Та, не давая своей руки, а ударив ладонью по руке его, вспылила и была, с своей точки зрения, права, так как Ягужинский не только ничего не открыл ей, но и выведал дружески переданную ему тайну. Уходя поспешно, он заставлял думать, что желает избежать вопросов хозяйки.

– Возьми хоть с собой пьяницу-то, если сам бежишь так нахально от меня! – держа дверь, крикнула на Ягужинского Авдотья Ивановна, в голове которой разом восстали все неблагоприятные действия Павла Ивановича против неё в прошедшем году.

– Кто поил его, тот пусть с ним и остаётся, – не скрывая неудовольствия, ответил Ягужинский и схватился за дверь.

– И тебе не стыдно, Павел, так меня обижать? – спросила Авдотья Ивановна.

– Я тебя ничем не обидел, а ты набрасываешься на меня ни за что ни про что...

– Как – ни за что ни про что, коли ты уходишь, не давая мне досказать самое главное, для чего я хотела тебя видеть...

– Да ты ничего не высказываешь, а городишь неведомо какую-то околёсную, – оправдывался Ягужинский.

– Какая такая показалась тебе околёсная в словах-то моих?

– Начала было, что княгиня сватает с кем-то... в мужья кого-то прочит... не досказала – за Сапегу принялась... С него перескочила на Лизавету Петровну. Там ещё на Дуньку на какую-то! Что же мне до них за дело? И что за дело тебе во всём в этом? Я только вижу, что ты просто насмехаешься надо мной: зазвала по делу, а врешь пустяки одни, никуда не гожие... Чего же мне дальше слушать? Ругательства твои, что ли?

– Дал бы всё высказать, так не то бы было... Понял бы ты; что я в самом деле имею нужду в твоём содействии и что Аграфена – человек опасный...

– Ну, ладно, довольно дурачества... пусти, пожалуйста. Поздно ведь, а мне утром дела есть немало... А Алёшку – коли не дашь ты ему здесь проспать под столом – пошли со своим человеком; пусть отвезёт домой, если его саней здесь нет. А то – говорил он – сани за ним приедут. Может, уж и приехали.

Авдотья Ивановна махнула рукой с неудовольствием, но ничего не сказала; а Павел Иванович поспешил уйти, видимо, не владея собой от злости.

Когда он ушёл, Чернышёва вошла в столовую, и первый предмет, поразивший её взор, привёл её в невольный трепет: Макаров сидел и смотрел внимательно и сосредоточенно прямо на неё.

– Ты слышал? – нашлась Чернышиха.

– Как же... всё... Одного не понимаю: почему ты, Авдотья Ивановна, меня презираешь и ненавидишь, а этого вьюна ценишь настолько, что доверяешь ему вполне именно то дело, которое он больше всех постарается не допустить до выполнения. Так дела не делают. И таких людей, как я, тебе бы не следовало так ценить, коли сам я пришёл и предлагаю дружбу и помощь.

Авдотья Ивановна была захвачена, можно сказать, врасплох. И остаток стыда, в ней сохранившийся, и сознание промаха с горечью испытанной неудачи, и боязнь, что Ягужинский в самом деле теперь уже враг, и враг опасный, – расположили Чернышёву перейти в противоположную

крайность. Она вызвала на лицо своё улыбку и дружеским голосом сказала Макарову:

– Значит, я ловко вела дело, если и тебя провела, Алексей Васильевич! Твой приход одновременно с Ягужинским поставил меня в очень трудное положение, и, чтобы прикрыть наши будущие отношения, я делала всё, чтобы убедить Ягужинского, что ты мне решительно нестерпим. Понятно, что часть злости его произошла именно из-за помехи, которую он признавал для себя в твоей особе. А я было думала, что ты меня понял, когда прикинулся охмелевшим для устранения всяких подозрений Павла... Нам с тобой только вдвоём, без свидетелей можно сговориться... Ты сам понимаешь... Вот теперь, благо Павел улизнул со злостью, нам уже никто помешать не может. Я только накажу: если твои сани приедут, чтобы не перебивали нашей беседы, а дали знать не входя сюда...

Авдотья Ивановна вышла и действительно дала приказ в этом роде. Возвратившись, она села подле гостя, перед которым опять поставила фляжку, что вызвало на его лице приятную улыбку.

– Теперь, – сказал он, – мы можем поговорить откровенно... Я тебя, поверь, знаю вдоль и поперёк и знаю, чего тебе желательно при старом псе Григорье. А насчёт Павла Иваныча отложи, друг мой Дунечка, всякое попечение. Он и сам ещё не сообразил, в каких тенётах запутан женитьбою на Гавриловне. Она на свой пай гнёт; тесть – к себе, и тёща не прочь помыкать такой клячей, как Павел. Подняться ему хочется; но других лазеек, окромя предательства старых друзей, и нет у него. Стало, полагаться тебе на него всё равно что петлю самой для себя завязывать да пробовать, как ловчее затягивается. Это уже разгадали прежние друзья и покончили с ним, обойдись без его участия в совете. А совет, Дунечка, я тебе скажу, дело у нас хорошее. Твой нижайший слуга покамест докладцы из лапок в советике не выпускает и не выпустит; значит, волею-неволею, всех и держит в узде. К тебе, вишь, Алёшка Макаров поспел, побывавши у двух заклятых врагов: Толстому протоколец отвёз, а от него к светлейшему заехал да знать дал, что то-то и то-то готовится.

– А что же готовится? – не утерпела Авдотья Ивановна, дружески взглянув на Макарова, ни одного слова из речи которого она не пропустила. Она уже начала видеть в недавно презираемом Алёшке силу и потому решила с ним сблизиться.

– Я и сама хотела с тобой договориться допряма, – продолжала Чернышёва, – чем я тебе, а ты мне полезны можем быть.

– Да я на всё готов и тебе вовремя всё узнаю, направлю дело и научу, как просить...

– И ты готов по первому моему спросу прямо делать и отвечать что укажу или спрошу?

– Готов.

– Сделаем опыт... Что тебя заставило к Меньшикову ехать прямо от Толстого?

– Открывать совет завтра... Так...

– Толстой думает прямо и предложение подать...

– Да...

– Невыгодное Сашке...

– Не совсем...

– Значит, ты и там и сям виляешь...

– Делать нечего, покуда.

– А этак, предавая и тех и других, ты не думаешь, что все от тебя отступятся?

– Догадаться им будет нелегко, и не теперь, разумеется, когда станут подозревать – узнать можно. Тогда примем меры. Ведь ни одного предложения нельзя внести в совет, обойдя меня; а как будем заносить в регистр для доклада, так и поймём, что и для чего. Вот светлейший: хоть я ему о затее Толстого и не сказал, а он и сам понял, продиктовал мне и сам подписал предложение: "Сенаторам, усердным к интересу её величества, для здешнего жительствова, остаточные дворы раздать в Новгородской провинции да гаки в Лифляндах". Сомнительно, чтобы кто на это восстал? Государыня, разумеется, соизволит, тогда князь и даст кому знает... Разом и получится перевес на его стороне!

– А ты Григорья не забудь вставить в список... да доложи светлейшему, чтобы, в Ригу его посылая, полную мочь дали... тогда, к удовольствию его светлости, он всякую поновку и будет чинить в своё время.

– Умница ты, Авдотья Ивановна... Как же не исполнить по твоему совету, коли тебе поновить всё едино, что заставить себя поддерживать. Я тебя включу в перечень охотно, и столько поставлю, сколько требуется, а ты обо мне вспомни при Самой...

– Сколько же ты поставишь?

– Сколько велишь... Дворов и не просите, а гаков, понеже в Риге Григорью Петровичу гаки больше с руки в аренду сдавать за хорошую оплату, – можно гаков от двадцати до двадцати пяти получить...

– А больше нельзя?

– Спервоначалу не советую... Тем паче в общий перечень. Урезывать будут непременно ведь. Двадцать пять запишу, ну, двадцать и дадут. А это по малости тысячи полторы с походцем в год сойдёт... и при неурожае...

– Смотри же, поставь... А я тебя попрошу назначить к воспитанию цесаревича Петра Алексеевича.

– Не назначат... Князь Остермана прочит, учёного... И куда нашему брату такую обузу на себя брать! Довольно с меня и в совете успевать да кабинет держать. За прочее благодарствую.

– Ну а Толстой как на Остермана глядит? – спросила Авдотья Ивановна.

– Тот ещё не думает о цесаревиче. Ближе: норовит с муженьком цесаревниным ладить... в нём опора у противников светлейшего... Им... норовя цесаревне, незачем прилаживаться к внучатам. Их следует, полагаю я, поудерживать подальше...

– Да Сама-то теперь к ним не такова... Стало быть, Толстой промахнулся, приставая к Голштинскому С ним не много дела поделаешь. У него своих немцев не оберёшься, и те немцы нашим хода не дадут ни за что. Нужно без немцев нашим стараться делать дело.

– Немцы нужны... Их не обойдёшь. А только своих дать немцев. Конечно, Остерман хоша тоже немец, да с тою разницей, что наш и в руках

светлейшего будет только выполнять его приказы...

– А голштинские немцы потребуют у своего герцога каждый себе по местишку! И коли их герцогу дадут делами заправлять, как хочется Толстому, наших они ототрут дальше. Помни же, что тебе норовить следует скорее внучатам государыниным да незамужней цесаревне... а замужняя – отрезанный ломоть...

– А что же ты с девочкой-то поделаешь? Не много она, по ветрености своей, и понять-то может, а не только что сделать, – возражал Авдотье Ивановне Макаров. – Князь уж всё сообразил... Видит, что Бассевич только под свой ноготь норовит, он его холодно теперь и принимает. А ты, видно, думаешь только Сапегину руку держать? Смотри, не промахнись сама... Может он скоро и свихнуться...

– Я на него больших надежд не имею. Есть на примете ещё ухарь. И заслугу оказал памятную. И любим многими... и признателен... И на его руку гнёт княгиня Аграфена Волконская. А она баба зоркая и очертя голову не сунется.

– Кто же бы это такой был? – подхватил заинтересованный намёками Макаров.

– Вот как увижу в тебе полную искренность, тогда скажу. А теперь, покуда, поломай голову да попотей. Авось и сам усмотришь, коли ловок да находчив.

– А ты не пустую загадку загадываешь?

– Не загадку, а дело как есть подходящее.

– Ну, коли теперь не хочешь открыть... не настаиваю. Убедишься в моей правоте – без загадок будешь говорить. Поймёшь, что Алексей прямой человек и никогда и никого не подводил.

– Я и хочу по первым твоим делам видеть – каков ты?

– Увидишь... бояться нечего... Одно скажи: не из немецкой нации?

– Нет... наш, русский...

– Русский, так отчего не назвать? Не может быть тайною...

– Нет... до времени тайна... Особенно от таких прытких, как ты да Ягужинский.

– Стало быть, ты точно завела околесицу, чтобы ему не назвать нужного теперь самой тебе человечка?

– Неужели же я такая дура, что сама себя предам тебе либо ему?

– Я и сам узнаю. Не допытываюсь. А насчёт союза будь спокойна. Свою и своих руку крепко держу... без продажи... без всякой... начистоту!..

– Ладно, ладно. Увидим.

– А ты не разумеешь ни Левенвольдов, ни Сапегу?

– Опять же нет... На кой прах оба... Один не сегодня-завтра свернётся... А другому и поглядеть не дадут.

– Одначе знаем мы кое-что на этот счёт, с чем трудно будет согласить слова-то твои... Сдаётся, что, коли свернётся Сапега, за Левенвольдом очередь?

– Оттого, что вам этак кажется, вас дураками и ставят наши сестры.

– Не во всём! Давай хоть ударимся об заклад, что я тебя проведу!

– Утешайся же этим, а я буду делать своё дело. Вот оно и покажет, кто останется в дураках.

И оба, глядя друг на друга, засмеялись. У каждого из партнёров была в запасе такая стратегема, с помощью которой они думали поворотить дело в свою сторону и приклеить нос противнику.

Смеясь Макаров поднялся с места. Авдотья Ивановна сделала то же, промолвив:

– Давно пора спать. С тобой я опять заболталась было чуть не до света.

– Спать так спать, я и на то согласен... – И, простившись с хозяйкой, Макаров отправился в переднюю.

Надев здесь шубу, он отворил двери в сени, из которых пахло холодом. В это время потушили последнюю свечу, оставив запоздалого гостя в совершенном мраке.

Кое-как добрался он до саней и молча сел, толкнув кучера, тронувшего вожжами. Съехали со двора на Неву, и сквозь лёгкую изморозь замелькал огонёк за рекой. Чем ближе к тому берегу, тем яснее.

– Это ведь у светлейшего? – не утерпел Макаров.

– Так точно, – глухо отозвался кучер.

– Стукнемся и мы... авось...

Кучер только вздохнул, вероятно оттого, что потерял надежду на немедленный отдых. Сани подъехали к меньшиковскому дворцу, крыльцо которого было наглухо закрыто, а в углу флигеля, в окне второго этажа, лились на снег яркие лучи света.

Макаров вышел из саней и подошёл к главным дверям, но, видя, что они замкнуты, обошёл дом и с заднего крыльца прошёл прямо во второй этаж. Не найдя никого в передней и в соседней с нею парадной приёмной, Макаров услышал где-то вдали голоса и, идя на них по коридорчику, очутился в ореховой комнате, в которую из соседней, сквозь отверстие замка, падало на пол яркое пятно света и громко раздавался голос светлейшего:

– Вот она как теперь нос подняла... Нас и знать не хочет, а требует на поклон, что ли?

– Видно, что так, – ответил другой голос, по которому Макаров тотчас узнал Ягужинского.

– Хороша воспитательница, нечего сказать! – отозвался голос Варвары Михайловны.

– Так как же, как же... меня оттереть, а самой пуститься во всё... судить и рядить, мутить и концы прятать... Недурно! Только не рано ли так ей всем распорядить да руководить? Надолго ли хватит теперешнего расположения? Не пришлось бы у нас же подпоры искать да за нами же ухаживать...

– Она надеется, что надёжно забрала в руки, – ехидно сострил Ягужинский и сам засмеялся.

Макаров, выслушав это, не счёл за благо долго таиться в неизвестности, пошарил у дверей ручку и, повернув её, раскрыл дверь и очутился на пороге.

– А-а... вот и ты пришёл! – со смехом сказал князь и, указывая на пустой стул около себя, промолвил: – Садись! Отдохни до отправления нашего... Там будет не до отдыха... может быть.

Алексей Васильевич почесал затылок, не понимая слов светлейшего,

тогда как выражение лица его было далеко от шуток или от насмешки.

– Так, ваша светлость, таки поджидали его? – с какою-то насмешливостью молвил Ягужинский.

– Ещё бы! Ты явился очень кстати и непрошенный, а с ним мы условились и, спасибо ему, не заставил ждать, поспевши во самое время.

Макаров закусил губу, чтобы скрыть своё смятение. А у Ягужинского изобразилось на лице нечто вроде любопытства, скоро перешедшего в явное смущение. Желая скрыть его насколько можно, Ягужинский, вопросительно взглянув на Макарова, с усмешкою обратился к нему, подмигивая на князя:

– То-то ты и поторопился завалиться спать у Чернышихи, чтобы вовремя явиться сюда молодцом...

– Я всегда знаю, что и как мне следует делать, – очевидно сердясь, но вполне совладав с собою, обрезал его Алексей Васильевич, и вполголоса сказал Меньшикову:

– Попросил бы я вашу светлость отойти в горницу, в рабочую вашу, подписать кое-что...

– Прежде dokonчим ужин, а потом, на полчаса, пожалуй, уйдём туда поработать вдвоём с тобой. – И сам подал ему блюдо с почками под кислым соусом.

Алексей Васильевич хорошо понял теперь, как ему держаться при Ягужинском. Да вместе с тем и заключил очень верно, что Павел Иванович, должно быть, сейчас не в великом авантаже у светлейшего.

Поняв, в чём дело, Алексей Васильевич прикинулся беззаботным, принявшись усердно есть и пить, чокнувшись с княгиней и Варварой Михайловной. А та не удержалась, чтобы не кольнуть в свою очередь Ягужинского, сострив как бы над Макаровым:

– Вишь, сердечный, как лакомо угощала тебя Чернышиха...

– Как бы не так; по совести сказать, матушка Варвара Михайловна, нашему-то брату ничего не пришлось... а всё за себя поставили Павел Иваныч с хозяйкою. Ужина их, признаться, мне, грешному, и повидать не удалось, затем что проспал я под столом... А их милости, чтобы мне не

мешать, ушли и дверь притворили... и огонь унесли... И что уж там у них, после обильной трапезы, происходило, один на один, Бог один ведаёт да стены, что всё слышат да из избы сора не выносят...

Меньшиковы и девица Арсеньева залились дружным смехом, а Павел Иванович сперва было надулся, да скоро спохватился и тоже вызвал на уста свои что-то вроде улыбки, не переставая метать на Макарова молниеносные взгляды, которых тот как бы не замечал, продолжая усердно есть и пить. Вот он встал и серьёзно сказал, обращаясь к хозяйке:

– За хлеб за соль приносим благодарение. – И с поклоном прибавил князю:

– Не угодно ли вашей светлости пожаловать в рабочую?

– Идём, – сказал князь и, подав руку Ягужинскому, сказал. – До свидания... чаю, не увидимся несколько дней...

Тот стал раскланиваться с дамами и скоро удалился, негодуя на всех за неудачный исход прошедшего вечера и ночи.

Когда князь с Макаровым пришли в рабочую, Алексей Васильевич спросил:

– Неужто и впрямь, ваша светлость, изволите ехать куда?

– Да не только я сам хочу... и тебя думал захватить в провожатые, чтобы совет дурацкий назавтра не состоялся...

– Не извольте, ваша светлость, осмелюсь доложить, этого делать... Тогда меня исключат и назначат кого другого, к явной невыгоде вашей... а пока я, Алёшка, тут – не извольте ни в чём сомневаться... всё, что бы они ни вздумали учинить, благовременно будет отстранено... и жаловаться будет не на что... Ни отказа прямого не будет, ни решения такого, как желалось бы им, не последует. А насчёт вашего отъезда... так внезапно... одно бы я позволил себе указать на благорассуждение ваше, неравно, коли потребуется инструкция вашей светлости в Митаве? Ино надобно бы заготовить умненько и контрастигнировать её величеству, то есть её высочеству за маменьку дать бы благовременно, а совету доложить для сведения, а то...

– Никакой инструкции не надо, и я в Митаву ещё не теперь поеду, а нужно мне, под видом якобы осмотреть крепости на рубеже, скатать, неведомо никому, в наши новгородсеверские вотчины да в Почеп – поочистить, что может быть зацепкой по навету Лярского, подлеца... Пусть господа Сенат дадут на нас ход его навождениям, ино – на его же голову всё и выльется. Только синодским не забудь напечатать, что Лярский веру изменил... и за то известно что следует! Рано ещё хвалился, что у его-де, Меньшикова, в вотчине такой-то и такой-то кроются: и книги переписные, и универсалы королевские – поступные акты Синявского. Толстой да Матвеев и разлакомились, написали в сенатскую контору, в Москву, произвести якобы межевой дозор по почепскому дележу у нас... тихомолком, без огласки... А вот я им усы и утру... Пока они собираются послать, а я сам побываю и посмотрю. Ведь тёртый калач, знаешь ты меня. Дамся я какому ни на есть Петрушке либо Андрюшке за посмея?! Держите, братцы, карман! А Павлушке я спел песенку другую... едем-де гаки поверять в Лифлянды... по жалобам... и Самой намекнул об этом, да прибавил, что ворогов чужестранных буду ждать, нужно весь рубеж осмотреть от Польши. Она нашла, разумеется, что теперь это в самую в пору. Стало, коли после что и узнают, что бы они ни принялись петь, там не будут слушать. А ты впрямь что приготовил для нашего подписанья? Если есть – давай.

– Я, ваша светлость, подумал было указец изобрести: раздать, по благоусмотрению вашей светлости, кому соблаговолите и найдёте достойным, свободные гаки, да дворы, да землицы из отписных. Этим самым, ваша светлость, тотчас на свою сторону перетянете из толстовской шайки, может, и очень многих...

Меньшиков задумался на минуту и мгновенно сообразил полезность дальновидного плана Макарова.

– Давай! Ладно... Молодец... придумано толковито.

– Извольте, сейчас накатаем. Я ведь не знал о вашем ночном отъезде и думал предварительно спросить теперь, а утром, коли разрешите, накатать докладец. А коли теперь же уезжаете, мы сей момент изготовим.

И он принялся искать чистой бумаги на столе князя. Поднял одну тетрадку, вынул лист и хотел сесть строчить, как князь, попридержав его за руку, подумав несколько мгновений, решил:

– После напишешь. Долго будет, неравно. Дай, я и на чистом листе подпись выведу, только укажи где? Ты парень верный, я знаю... не Павлушке чета..., общему предателю... Чего только он от меня хочет, так теперь увиваясь около нас?

Макаров, отсчитав пальцами количество строк, приложил палец к бумаге и молвил:

– Отсель начните.

И лист украсился каракулями светлейшего.

– Я завтра подам, ваша светлость, её величеству, от вашего имени и с вашим якобы прошением, докладец и указ по оному о дворах и гаках...

– Ну... и тотчас мне пришли перечень. Куда бы, дай срок, сообразить? Через неделю пошлешь коли – в Смоленске, я думаю, меня встретят. Через десять дней – во Пскове; побывавши в Риге уже... и через две недели, вечерком, заверни сюда – нас встретить... нужно будет с тобой с первым перемолвиться... Слышишь, Алёша?

– Будет всё в точности выполнено, ваша светлость А кого, позвольте спросить, послать до вас с указом и с переченю?

– Попроси у её величества слугу Ивана Балакирева и сам ему растолкуй, как и что. Дело требует осторожки и толкового посыльщика... мне верного наипаче... Он такой-то самый и есть.

– Слушаю, ваша светлость. А здесь что прикажете говорить насчёт вашей поездки, коли спрашивать кто станет? Ведь Ягужинский разблаговестит, что изволили брать меня на проводы.

– Правда, правда! Нужно даже, для отвода глаз, говорить то же, что я Самой поведал. Крепости да оборону граничной черты осматривать пустился, мол.

– Слушаю. А насчёт Павла Иваныча как прикажете держаться?

– Тебя нечего учить как... Знай одно, что я ему не верю, не верил и верить никогда не могу.

– Довольно тогда с меня. Я что узнаю – светлейшей княгине своевременно перескажу. А про здешнее ни про что не извольте сомнения иметь...

– Мы и то спокойны, на тебя полагался, как видишь, во всём.

Обнял его тут светлейший, после жены, у лестницы, сошёл вместе с Макаровым вниз, и оба покатали рядом по городу в ночном мраке.

Проводив светлейшего до Красного Села, Алексей Васильевич воротился домой, когда уже брезжил рассвет зимнего петербургского дня.

III БОРЬБА

Было одиннадцать часов утра. В приёмной её величества перед заботливым Балакиревым вырос, как мы знаем, не спавший эту ночь Алексей Васильевич Макаров.

– Ещё не было колокольчика?

– Нет ещё...

– А долго за полночь были гости?

– Да не очень, кажись. Когда Сапегу спровадили, не могу только верно сказать.

– Значит, до полудня не изволят проснуться? – про себя молвил Макаров и, присев на табурет, стал из сумки вынимать какие-то бумаги.

– Вот что, – молвил он в раздумье Ване – Я у тебя оставлю вот эти две бумажки... Ты мне их ухорони так, чтобы никто не видал. Я их спрошу, как ужо приду. А теперь я пойду: нужно справиться, что будет с советом у нас. – И поспешно вышел по коридорчику, в сторону дворцовой канцелярии.

Через несколько минут вышла из опочивальни княжна Марья Фёдоровна Толстая, спрашивая:

– Кто был?

– Алексей Васильич. Да он потом пожалует.

– Если граф Толстой, или Ягужинский, или граф Матвеев, или барон Шафиров, или княгиня Аграфена Петровна Волконская толкнутся, – прямо отказывать, не докладывая. О прочих докладывать мне сперва, я в

первой приёмной буду Бутурлина пропустить без опроса, прямо, а если князь Сапега, скажите, что больна её величество и здесь дамы одни. Никак не может принять государыня, а когда освободиться изволит от своего недуга – повестку пошлёт к его сиятельству на дом.

– А если Авдотья Ивановна приедет? – задал в свою очередь вопрос Балакирев.

– Скажите, что я тут, и пустите её ко мне.

– А Антон Мануилович Дивиер со срочным рапортом?

– Доложить.

– А об Алексее Васильевиче вы сами доложите?

– Да.

– А если княгиня светлейшая?

– Разве хотела?

– Слышал я вчера, как прощалась с нею государыня, то приглашала сегодня завтракать.

– Спасибо, что сказал. Я сейчас спрошу, как быть с нею. – И ушла в опочивальню.

Только она удалилась – звонок. Балакирев поспешил отворить и в коридорчике увидел герцога Голштинского с графом Толстым, Бассевичем и старшим Левенвольдом.

– Ваше высочество! – смело сказал Балакирев, став в дверях и не давая войти. – Её величество недомогать изволит... всю ночь метались и стонали и только с час назад изволили забыться сном. Сон перервать будет – врач говорит – вредно для августейшего здравия её императорского величества. А если сон будет хороший, может, болезненный припадок минует и совсем счастливо, не причинит ущерба дражайшему спокойствию всевысочайшей фамилии вашей...

– Да нам нужно бы повидать государыню, – начал граф Пётр Андреевич Толстой.

– Смеею доложить вашему сиятельству, что, буде скоро проснуться изволит её величество, доложим ваши слова и ответ я немедленно передам Алексею Васильевичу. А теперь и двери отпертые не велено

держатъ.

Сказал и запер за собою дверь, выйдя в коридор для продолжения беседы с компанией его высочества.

На лицах герцога и сопровождавших его изобразилась полная досада, соединённая с предчувствием неудачи.

Все, волнуемые, должно быть, одною мыслью, мгновенно переглянулись и опустили головы, разведя руками.

– Куда же нам теперь идти? – со вздохом спросил граф Пётр Андреевич Толстой Бассевича.

Тот промолчал, взглянув на своего герцога, сказавшего ему вполголоса, по-немецки:

– Просите господ к нам завтракать.

– Очень жаль, что с матушкой случилась такая неприятность, – медленно произнёс, ни к кому не обращаясь, обескураженный герцог по-немецки и прибавил, взяв за руку Балакирева: – Вы уведомьте меня, если последует облегчение. Я тотчас приду. Я буду вам очень признателен.

Произнося последние слова, его высочество пожал крепко руку верного слуги своей тётчи и удалился со своими спутниками, делая им, по-немецки, лестную оценку достоинств не пустившего их теперь Балакирева.

– Он очень добрый человек и рачительный... и преданный её величеству... – услышал Ваня издали, когда его высочество уже проходил по двору.

Войдя в переднюю и притворив дверь в коридор, Ваня увидел в дверях опочивальни государыню, подзывавшую его к себе.

– Очень умно придумал... куда с ними возиться! До того ли...

– Его высочество приказал мне прийти известить, когда будет лучше вашему величеству, поэтому нужно...

– К вечеру можешь сказать, что лучше.

– Я боюсь, чтобы его высочество не испугал цесаревну. Благоволите послать успокоить.

В это время показался в дверях Макаров, и, прежде чем стоявший к

дверям задом Балакирев мог бы остановить его, кабинет-секретарь пошёл к опочивальне, видя её величество.

– Что нужно? – спросила государыня.

– Светлейший, уезжая, приказал представить к утверждению вашего величества указ о раздаче остаточных дворов и свободных гаков тем, кто будет заслуживать верною службою и преданностью...

– Только это?

– Да ещё насчёт собрания...

– Я, сказали уже, больна, поэтому собрание отложить... До выздоровления... Ты сам должен говорить, что не мог меня видеть и я тебя послала к Лизе, чтобы она подписала, а вы меня не беспокойте... Да чтобы Лиза съездила к сестре Аннушке и сказала бы ей, что опасного ничего, только бы меня не тревожили сегодня, никто. – И её величество скрылась.

Макаров поспешил на половину цесаревны Елизаветы Петровны с проектом указа.

Когда он вошёл, великая княжна была не совсем одета и сидела в шлафроке за столом, на котором Авдотья Ивановна Чернышёва раскладывала карты.

Макаров раскланялся и, подавая указ её высочеству, скороговоркою произнёс:

– Её величество просит подписать, и вашему бы высочеству съездить к сестрице и сообщить: чтобы не изволили сегодня беспокоиться ездить к государыне. Лёгкое нездоровье её величества пройдёт сном, а если не дать заснуть – недуг может усилиться.

– Что же такое с мамашей?

– Ночью не изволили почивать и теперь только успокоились.

Авдотья Ивановна уставила глаза на Макарова, но тот сделал ей знак, должно быть условленный, потому что она поняла и шепнула что-то на ухо цесаревне, прибавив:

– Я, если угодно вашему высочеству, могу сходить, тихонько, а вы такая хохотуша, что на вас положиться нельзя, чтобы вы не расхохотались и не

разбудили мамашу...

– Если мамаша только заснула, зачем же будить? – серьёзно возразила цесаревна. – О чём указ, Алексей Васильевич?

– О раздаче усердным слугам её величества, государыни родительницы вашей, вотчин и гаков – в поощрение...

– Поощрять – дело доброе, но кого? – принимаясь за перо, как бы про себя говорила цесаревна.

– Да вот хоть бы за усердие наградить угодно было её величеству, к примеру сказать, Авдотью Ивановну. Её величество теперь, по представлению светлейшего князя, уполномочивает Сенат свободные дворы давать без проволочек.

– Да правда ли, что меня имеет в предмете светлейший?! За что бы это?

– переспросила со смехом Авдотья Ивановна Макарова.

– Истинно так, ваше превосходительство, я буду иметь честь представить вам лично отписку на дворы, да и гаков несколько, – ответил Макаров, пока цесаревна пробегала указ.

Дочитав до конца и видя подпись светлейшего князя при приложенном представлении, цесаревна ещё раз обратилась к Макарову с вопросом:

– Отчего же не сам светлейший даёт нам указ, а вы?

– Его светлость уехал осматривать крепости по черте граничной и не скоро будет сюда.

– Когда же? – в один голос спросили Макарова цесаревна и генеральша Чернышёва.

– Ночью, на сегодняшней день, – с поклоном ответил кабинет-секретарь, – а мне поручил представить её величеству. Повеление же её величества я имел уже счастье сообщить вашему высочеству.

– Слышала... подписать и мамашу не беспокоить, а ехать к сестре. Изволь... я подписала.

Чернышёва прочитала бумагу, придерживая конец листа, пока подписывала цесаревна. Держа в руке представление Меньшикова, дочитав, она встала с места и, подойдя к Макарову, передала ему, шепнув на ухо:

- Смотри же, занеси перечень. Я сама хочу видеть, сколько назначится.
- Сколько велишь – при тебе и проставлю... только мне не перечь ни в чём...

Авдотья Ивановна ударила по плечу Макарова и сказала вслух, обращаясь к цесаревне:

– Слышите, ваше высочество, мне взятку обещает дать за исходатайствование ему прежней милости государыни.

– А ты, Авдотья Ивановна, за эту услугу заломил с него побольше.

– Я и то, ваше высочество, думала сама, да человек хорош... готов всякому услужить...

– Только не мне... Что я его ни просила – всегда увёртки.

– Никак нет, ваше высочество... я, по искреннейшей рабской преданности, все приказания вашего высочества старался почтительнейше выполнять и содержать в памяти с полной готовностью.

– Да-да, знаем мы твои краснобайства, Алексей Васильич! А сам всё мне пики ставишь... Не за то ли уж, что я норовлю занять твоё место при мамаше? Знаешь, Авдотья Ивановна, я ведь уж себе и указ выходила: чтобы меня за истинного секретаря её величества принимать и почитать и всему написанному мною верить не сомнясь.

– Я и сам первый добиваюсь подписи вашего высочества, как все теперь видеть могут, – сострил, смеясь, Макаров, и развернул указ с подписью рукою цесаревны: "Екатерина".

– Вишь он какой мошенник... подводит меня! – засмеялась шутница великая княжна, нахмутив бровки. При том, принимая повелительный вид, прибавила: – Господин секретарь, получив наш указ, имеет немедленно уйти распорядиться публикацией оного, а нас не задерживать: выполнять августейшую волю его и нашей государыни-повелительницы...

Макаров, подлаживаясь под тон приказа, стал церемониально отвешивать поклоны и пятиться задом к дверям. Отдав последний поклон у двери, он очень ловко скрылся за нею.

– Поедем же и мы, Авдотья Ивановна, к сестре.

– Лучше пешком пройдёмтесь, ваше высочество, и вы соизвольте посетить мою избу. У меня есть свежее киевское варенье... только что привезли...

– На пробу варенья мы соизволяем, – шутя ответила Елизавета Петровна, входя в уборную, чтобы одеться для выхода.

– А я схожу на ту половину, – в свою очередь вставая, молвила Авдотья Ивановна и вышла в коридор, понимая, что Макаров, наверное, ждёт её где-нибудь. Вопрос о дворах и гаках в это время получил для неё особенный интерес. Она не ошиблась в расчёте: Макаров действительно стоял в коридоре.

– Когда же ты будешь дома, чтобы мне приехать и побеседовать с тобой без свидетелей? – увидя вышедшую, спросил Алексей Васильевич.

– Сегодня, завтра, послезавтра... только вечером, попозднее, чтобы никому не попался навстречу.

– Позднее к тебе не пустят.

– Я накажу, чтобы тебя пустили... ведь не олухи же у меня – знают, кто такой Алексей Васильич.

– Только не надуй, и чтобы никак мне не встречаться с Ягужинским, который и тебе самой, право слово говорю, теперь своими посещениями может только вредить. У светлейшего он на самом скверном счету. Да и в компанию к бывшим друзьям его не принимают.

– Всё знаю... да нельзя же мне его прогнать прямо...

– Скажи, чтобы говорили: дома нет.

– Наказано.

– Ну, стало быть, и не попадёт.

– Мало того. Я так занавешиваю окошки, что света снаружи никак не видно. А с тобой хочу о многом перетолковать.

– Хорошо, хорошо... Перетолкуемся и сойдёмся вплотную. Я не люблю ничего делать вполсилы.

– Увидим.

– Только сэку побольше. Грешный человек, привязался я к этому заморскому питью. А все покойный государь... приучил...

– Полно, правда ли?

– Такая же правда, как и тебя.

Авдотья Ивановна зажала ему рот рукой и, ударив по плечу, сказала:

– До свиданья, жду с перечнем.

– Только чтобы ни в чём поперечки и отказу не было.

Чернышёва ещё раз ударила Макарова по плечу, и каждый разошёлся в свою сторону.

Воротясь в комнату, она нашла уже цесаревну Елизавету Петровну совсем одетою, и та, в накидке, стоя перед зеркалом, охорашивалась.

Увидя вошедшую и что-то про себя бормотавшую Авдотью Ивановну, цесаревна сказала ей:

– Могу побиться об заклад, что ты потерпела неудачу? Да и ништо! Подбила меня одеваться, а сама ушла.

– Я думала, что ваше высочество долго изволите собираться, и ошиблась... потому, конечно, стерпеть должна выговор... за опоздание... А сбудься мой расчёт, коли бы вы ещё одевались, – этого бы мне не пришлось выслушать.

– Не заговаривай, не заговаривай. Я совсем не то хотела сказать, а прямо тебе приписывала теперь неудачу в расчёте денежном. Неужели ты думаешь, я не поняла, что ты бегала переговориться с Макаровым? Да тот, мошенник, вернее всего, поманил тебя дворами и гаками, чтобы только ты подбила меня подписать... А как залучил он в руки указ с подписью, так обещанье и отъехало за тридевять земель в тридесятое царство.

– Не совсем так, ваше высочество. Алексей Васильевич от обещанья и теперь не прочь, да ведь только когда пройдёт разметка количества, тогда своими можно считать назначения, а не раньше...

– Стало быть, я и права. На посуле как на стуле. То-то ты нахмурая такая и прибежала: сама-то уж сознаёшь, что ошиблась в расчёте?

– Труните, труните, ваше высочество. А я в своё время всё-таки получу малую толику на бедность и тогда уже буду иметь честь пригласить на банкет к себе всех высоких особ, которые сделают мне честь – соизволят

пожаловать.

– Вот бы тебя вместо Остермана посадить чужестранными делами заправлять, ей-Богу, право. Преловко бы ты отъехала от данного обещания.

– Почему вы так изволите заключать, смею спросить...

– Да потому, что я сама называюсь в гости, а ты намекаешь: нельзя ли осадить, подалее.

– Напротив, ваше высочество. Посещение ваше осчастливило бы меня теперь же, если бы соизволили снизойти на покорнейший упрос вашей услужницы.

– От Аннушки – почему не так? Зайдём, пожалуй... А теперь надо прежде высочайшее поручение исполнить. Пойдём же править посольство при голштинском дворе. – И бойкая цесаревна выбежала с крыльца и проворно пустилась к зимнему дворцовому мостику.

Всего через два дома был двор Авдотьи Ивановны, а ещё через дом, Рогузинского, – жилище новобрачных, герцога и герцогини Голштинских. Миновав Чернышёвский дом, цесаревна и её спутница стали подниматься на лестницу апраксинского крыльца.

– Дома сестра? – спросила цесаревна у камер-лакея.

– У себя.

– Не говори ей... стойте здесь. Я захвачу её врасплох. – И побежала вприпрыжку вперёд. – Здравствуй, Анюта! Рада ли гостям? – войдя без предуведомления к сестре, герцогине Голштинской, молвила, подавая ей обе руки, цесаревна Елизавета Петровна.

– Конечно, рада... что за вопрос? – молвила хозяйка, сухо раскланиваясь с генеральшей Чернышёвой, следовавшей и здесь за цесаревной Елизаветой. – Прошу покорно в галерею, у меня тут не убрано, – что-то сунув поспешно в альков и вставая, прибавила Анна Петровна, грустная и сильно не в духе.

– Что за счёты со мной-то? – возразила Елизавета Петровна.

– С тобой, конечно, но... – И она покраснела, смешавшись и не умея вывернуться.

– Авдотья Ивановна тоже извинит. Меня она застаёт и совсем не одетую, стало быть...

– Ничего тут, стало быть, не может, – холодно и сердито остановила щебетунью старшая сестра, очевидно не желавшая допускать никакой короткости между собою и генеральшей Чернышёвой.

– Я уйду, ваше высочество, чтобы не быть предметом стеснений для вашей особы... особенно если предстоит передавать сестрице супружеские нежности, – под видом смирения язвительно уколола Чернышиха Анну Петровну, не любимую ею за степенность и ум.

– Никаких пересказов особенных сестре от меня не будет, можешь оставаться с нами, пожалуйста... Я только думала, что в светлице будет удобнее сидеть; а здесь... всего два стула...

– Нам, малым людям, перед вами и постоять можно... не какие хорошие, – со смехом вставила опять спичку Чернышиха.

Младшая цесаревна и тут ничего не поняла, но старшая очень хорошо поняла и, чтобы отучить дерзкую от нахальства, тихо сказала:

– Чем стоять здесь, пожалуйста в галерею, а мы с сестрой за вами следом будем.

Чернышёва не думала, однако же, уступать и обратилась к Елизавете Петровне с вопросом:

– Не прикажете ли мне совсем уйти и подождать вас на улице, чем высылать меня на переходы?

– Мы вместе пойдём в галерею, сестрица. Этак лучше будет, – выговорила Елизавета Петровна и направилась к выходу из опочивальни.

Анна Петровна молча последовала за ней. У камина в гостиной они сели: сёстры рядом, а за Елизаветою Петровною – Авдотья Ивановна.

– Что ты такая сердитая сегодня, Аннушка? Здорова ли, мой свет?

– Здорова...

– Нет, видно, нездорова, когда так говоришь. Я по лицу вижу, что тебе неможется. Скучаешь ты, кажется, одна... а что бы за мной послать? Коли хочешь, я ещё раз прибегу сегодня же к тебе. Извини, теперь я по делу. Мамаше что-то занездоровилось, мне и велено тебя известить; неравно

чтобы муж твой как тебя не перепугал. Его не пустили к мамаше, потому что она... уснувши была. Зубы у неё, что ли, заболели... ночь не спала, говорят; а тут, как он пожаловал – только забылась. Твой Фёдор не мог добиться, понятно, свидания с мамашей.

– Странно, Лиза, всё это... Мамаша больна, и так, что к ней зятя не пускают и дочери отказ... тоже?! Иначе я не могу понять твоё посольство ко мне с уговариваньями, что ничего...

– Да, именно ничего; но ты не отгадала, послали меня сказать, что мамаша просит не беспокоить её. Проснётся и, разумеется, пришлёт позвать тебя.

– Так я и знала: зова ждать ещё приходится! Последнее очень мило, если правда, что не очень больна мамаша.

Вдруг Чернышиха вскочила с места и, опрометью подбежав к окну, крикнула:

– Государыня в санях с Бутурлиным проехала мимо!

– К чему же ты меня надувать пришла, Лиза? – с обидою в голосе выговорила цесаревна Анна.

Елизавета Петровна вспыхнула и стала оправдываться:

– Поверь, мой друг Аннушка, я тебе передавала именно то, что мне приказано. Стало быть, меня тоже обманули и перед тобой сделали невольною обманщицею. Я мамаше это прямо скажу.

– Этого я не советую тебе делать, Лиза, – смиренно, но с достоинством вымолвила Анна. – Может быть, переврали тебе, передавая волю государыни. Я не пойду без приглашения, будь уверена, хотя знаю, что обеим нам не мешало бы теперь как можно меньше оставлять мамашу одну. Я знаю, как нам следует вести себя с окружающими её людьми – с теми, кто, без сомнения, способны наводить её на дела, которые она находит нужным скрывать от нас. Ох эти советники... эти советницы!.. – И, качая головой, Анна Петровна в упор посмотрела на Чернышиху.

Эти взгляды заставили Авдотью Ивановну сперва потупить, а потом снова оборотиться лицом к оконному стеклу.

В это время Анна Петровна взяла сестру под руку и увела в

опочивальню, где, посадив её на постель рядом с собою, сказала:

– Лиза, ты ветрена, мой друг, но в тебе есть сердце. Ты поймёшь, как больно было мне слышать: "Государыня с Бутурлиным!" Не думаю, что сказано это неумышленно. Эта мерзавка Чернышиха, к которой ты так благоволишь теперь, кажется, злая и скверная женщина! Она, наверное, в той шайке, которая влияет на нашу мать. Не держать тебе её при себе, а гнать от себя нужно, если ты хочешь добра себе и всем нам; верь мне, что она нам добра не желает и не может желать, как и мамаше. Давно ли она делала ей зло, а теперь корчит самую преданную особу? Если ты любишь меня сколько-нибудь, прогони её от себя! Не пускай ты её на порог! Коли скучаешь, чаще будем вместе: то я у тебя, то ты у меня. Душенька Лиза, послушайся меня! Мы с тобой вместе росли и знали очень хорошо: ты – что у меня на душе, я – что ты думаешь. Кто мешает нам и теперь быть друг к другу так же близкими?

Елизавета Петровна была тронута и принялась целовать сестру, называя самыми нежными эпитетами, как было пять, шесть лет тому назад, во время их игр. Сестры смеялись и плакали, переходя от слёз к смеху, и наоборот, и не замечая полёта времени.

Первая очнулась от этого наплыва родственной нежности цесаревна Анна и сказала, не оставляя руки младшей сестры:

– Так, с сегодняшнего дня мы ежеминутно будем вместе, с утра до вечера. Не правда ли, Лиза? Этого ты будешь твёрдо держаться. Я сейчас же одеваюсь и иду к тебе.

– Отплатить за мой визит? – со смехом ответила Елизавета.

И этот смех, словно холодной водою, загасил пыл чувства Анны Петровны.

– Коли ты всё готова обратить в посмех, Лиза, стало быть, мой друг, ты никогда меня не поймёшь и вечно будешь холодной и себялюбивою.

– Как же ты несправедлива, Аннушка! Упрекаешь меня за мой невинный смех! Я вовсе не думала смеяться над твоим чувством.

– Ну, хорошо... я виновата, что усомнилась в тебе. Я готова загладить свою вину чем хочешь. И иду к тебе на целый остаток дня.

– А муж?

– И он к тебе придёт.

– А где он теперь?

– Вероятно, у себя. У него, кажется, деловые люди собрались. Я мельком видела, как они толпой прошли прямо с лестницы к нему на половину. Да вот я слышу и теперь ещё громкие голоса; спорят, должно быть. Или тост-коллегия собралась.

– Какая такая тост-коллегия?

– Да наши голштинцы и из русских кое-кто у Карла собираются... пьют, по очереди предлагая тосты.

– Вот весело-то, должно быть?

– Кому? Им – конечно... а кому-либо другому – не думаю.

И сама вздохнула тяжело-тяжело.

– Оттого-то ты и предложила мне чаще к тебе приходиться... а ты ко мне... что в четырёх стенах сидеть одной тебе скучно?! Бедная Аннушка! А я, неразумная, и не догадывалась до сих пор, что у вас неладно живётся! А всё ты, такая скрытная, виновата. Давно бы сказала Лизе: так и так. Будем чаще друг к другу прибегать. А то скучаешь, а я и не думала совсем об этом. Завидовала ещё тебе, что ты со своим Карлом можешь всякую минуту нежничать.

– Нет! – И новый тяжёлый вздох. Переведя дух, Анна молвила почти спокойно: – Да и к чему это? Надоест. Он принц, у которого свои обязанности, к голштинцам прежде всего; затем другие дела... Вот, говорят, совет будет. Нужно нам всем там делом заняться. Мамашу так легко обойти; нужно не допустить провести её плутам и мошенникам. Хорошее ли дело – дождаться до ропота? Угрозы в подмётных письмах!.. Обвинения вельмож в воровстве, в утеснении народа!.. Нам терпеть и допускать этого нельзя. Помни, Лиза, нужно отдать отчёт Богу. А если мы друг от друга не будем ничего скрывать и в дела войдём в совете, я полагаю, начнётся доброе управление – не чета теперешнему. Хоть я вышла за иностранца – сердцем я русская и горячо принимаю всё, что касается нас и нашего положения. Маменьке советуют и вкось и вкривь –

каждый на свою руку; она не знает, как ей поступить, и со всеми соглашается, думая, что всякий совет даётся ей добрым человеком. Между тем всякий норовит как бы хапнуть, а получит, так и с врагами нашими соединиться готов. – И голос цесаревны перервался от волнения.

Елизавета Петровна принялась успокаивать сестру и наконец достигла цели, дав слово делать всё, что она велит.

Совсем уже не тою вышла юная цесаревна из опочивальни своей сестры, об руку с нею.

От прозорливой Авдотьи Ивановны не скрылась чувствительная перемена в выражении лица Елизаветы Петровны. Ещё за четверть часа Чернышёва смотрела на неё как на неразумную девочку, которую можно повести и направить куда угодно. Теперь в её глазах просвечивала вовсе не покорность, а чуть ли не антипатия к бывшей наставнице.

IV НАДЕЖДЫ, УВЫ!

Авдотья Ивановна закусила губку и подумала: "Теперь нужно ухо остро держать: ускользнёт, того и гляди".

И она была права, предполагая опасность для себя с этой стороны. Речи любимой сестры подействовали на Елизавету Петровну, которая хотя была добра и доверчива, но унаследовала от отца часть гениальной его прозорливости. Чернышёва не замедлила испытать это на себе. Когда, выходя из дворца под руку с юною цесаревною, она слегка прижала эту руку, Елизавета немедленно вырвала её и, сделав быстро несколько шагов вперёд, пошла, не оглядываясь.

Обе молчали во всю дорогу, и когда вступили на крыльцо, с которого часа за два сходили такими весёлыми и дружными, Чернышёва молча отвесила низкий поклон, а цесаревна кивнула ей головой и скрылась в своём коридорчике.

Авдотья Ивановна простояла с четверть часа на одном месте, раздумывая о случившемся, а потом медленно сошла с крыльца, направляясь домой; дойдя до дому, она повернула назад, рассчитывая дождаться возвращения государыни, но затем снова повернула назад.

Этот манёвр она проделала уже три раза, как вдруг её обогнала цесаревна Анна Петровна, в сопровождении своей гофмейстерины Клементьевой. Последняя, поравнявшись с Чернышихой, плюнула будто ненарочно, но угодила на шубейку генеральши, которая отряхнулась так неосторожно, что брызги полетели на виновницу задорной выходки. Цесаревна пошла скорее, не оборачиваясь, и скрылась во дворце.

В ту минуту, когда Чернышёва остановилась как вкопанная, она почувствовала, что кто-то схватил её за обе руки сзади.

Этот человек, как можно было судить по сжавшим её тискам, не дававшим ей сделать ни малейшего движения, был очень силен и ловок. Первая мысль, пришедшая ей в голову, была, что это Ягужинский.

– Оставь, Павел Иванович! – сказала она шёпотом.

– Не оставлю, потому что я не Павел Иванович, – также шёпотом отвечал голос Сапеги.

– Пана Яне! Поверь, мне не до шуток и не до смеха в сей момент.

– И мне тоже приятели устроили маленький кунштик. – И, поворотив здоровую генеральшу к себе лицом, как пёрышко, могучий Сапега шепнул ей на ухо: – Бутурлин с компанией...

– Это пустяк, если мы с тобою не будем тратить времени и примемся за дело теперь же. Зайди ко мне – порассудим, за что приняться. Не на улице же стоять и рассуждать.

– Конечно... – согласился Сапега и последовал под гостеприимный кров союзницы.

Усевшись за тот же стол, где пировали Ягужинский и Макаров, и принимая из рук хозяйки стопку с романею, ту самую, из которой угощала Авдотья Ивановна кабинет-секретаря, Сапега коротко спросил:

– От друга или от врага?

– Когда же и из-за чего мы успели сделаться друг другу врагами? – ответила генеральша.

– Я не знаю и не желал бы узнать сам... если...

– Если не было причины, понятно, не может быть и изменений взаимной приязни. А причины ни одной я не имею.

– А я имел бы право высказать подозрение, способное такого недоверчивого, как я, бросить в море догадок.

– Рассей, князь, все твои подозрения; лучше в тысячу раз знать даже самые несправедливые обвинения, чем быть в сомнении.

– Была ты у Шафирова третьего дня?

– Была.

– Зачем?

– По приглашению его жены, моей подруги и родственницы. Я не могла отказаться быть приемницей её внука.

– Значит, на крестинах... с другими в компании. Вместе со всеми ушла или осталась?

– Раньше других ушла и... приехала прямо домой... у меня голова болела... и тотчас, воротясь, разделась и легла.

– А в совете, который заседал у Шафирова, ты не участвовала?

– И не знаю даже, что был совет. В первый раз слышу от тебя...

– И не обещала приехать на второе собрание, завтра поутру, с Бутурлиным и Толстым?

– С Бутурлиным я раскланиваюсь... бывал у нас – нельзя иначе; а с Толстым мы такие враги, что, если он меня завидит – тотчас удерёт прочь. Я знаю разные его шашни, и своё-то дело он здесь умел взвести на нас, якобы мы с мужем, а не он это самое творил. Попросту тебе сказать, дело о подмётных письмах... Как приехали мы из Москвы, муж мой пошёл к нему и один на один изругал его так, что старому лешему пришлось прощенья просить. Оттого он теперь и избегает меня, боясь, что я ему при всех выскажу правду-матку. Суди же по этому, что мне с таким человеком в советы входить? Согласись, по одному этому уже нельзя!

– Согласен! Но дай ответ ещё на последний вопрос, и я тебе передам, кто это мне про тебя порассказал. Была ты у графини Матвеевой с княгиней Аграфеною Волконского и с саксонской посланницей?

– Саксонская посланница кланяется мне, когда встречаемся при дворе. И я осведомляюсь о её здоровье, но видеться где-либо кроме дворца мне с

ней не приходилось. А как относится ко мне Аграфена Волконская, ты сам лучше всех знаешь... А о графине Матвеевой опять я от тебя теперь только слышу... Я видела её в прошлом году, по весне, в Москве ещё...

– Знай же, что все это говорил мне Павел Иванович Ягужинский, с которым ты, очевидно, в дружеских отношениях, раз и меня обозвала его именем! Чего же ещё больше?

И гость, и хозяйка громко захохотали.

– Выпьем же за нерушимость нашей дружбы, которую люди и получше Павла Иваныча не способны пошатнуть или поколебать! Поцелуемся! И ещё раз! Утешила истинно, дав прямые доказательства невозможности взводимой на тебя напраслины. У вас все люди такие ненадёжные, что, если на панов трудно положиться, ещё меньше я мог надеяться на панёнок. Но ты выказала, что остаёшься в прежнем положении. Когда теперь уже многие дальше воротят от меня оглобли...

– Можешь быть уверенным, что Авдотья не такова, как Павел, клеветник на неё... прибавь ещё – ей многим обязанный...

– Что же между вами произвело этот разлад? Верно, что-нибудь важное? Взводя на тебя клеветы и стараясь очернить тебя в моих глазах, я полагаю, он не должен уже рассчитывать на возобновление прежних отношений?

– Он знает, что я незлопамятна и неспособна ему отплатить тем же, что он делает, слагая про меня наветы... Придёт и раскается; я слаба – и помирюсь, не раз было так... Я уже его знаю и меньше гневаюсь на его двуличность. И ты, как другие, можешь верить, не один раз ещё, чего доброго, его словам... и обращаться ко мне с вопросами. Я на них охотно отвечаю, уверенная в своей правоте...

– Нет, постой! Не считай меня настолько податливым на бабские пересуды. И этого опыта уже довольно с меня, чтобы во второй раз тебя не допрашивать. Оставь и забудь, пожалуйста, эту сплетню. Лучше поговорим о деле: я хочу просить государыню обручить моего сына с княжною Марьею Меншиковой и принять в нём участие, которое было обещано... Если не прервут на этом моей речи, я приведу на память

разные случаи и в заключение скажу, что с той минуты, когда я лишаюсь лицемерия, долг мой – просить отпуска на неопределённый срок...

– Изрядно, князь... план хорош, только дадут ли известные тебе и мне люди привести его в исполнение?

– Дадут... Если у них есть сильная заступа и подмога, то и мы не без людей... Мне ведь нужно только добиться того же, что, помнишь, ты проделала – со мной прошла прямо к её величеству... И меня проведёт также названная сестрица, княгиня Дарья Михайловна.

– Посмотрим... А ты как с ней?

– Лучше, чем с названным братцем, почитай... Она умнее и рассудительнее. Тот – сбрех. Прежде облает, а потом примется в толк брать. Набросился на свадьбе Голштинских на меня ни за что ни про что, когда я вздумал и его, и всех вывести из затруднения, им же возбуждённого. Он не разобрал сперва повода и подумал, что я под него подкапываюсь. Ну и наговорил мне дерзостей. А потом обдумал и сам сознался, что наделал глупостей...

– Не все, князь, такие умники, как мы с тобой, особенно из наших сестёр! – со вздохом молвила Чернышиха.

– По крайней мере княгиня Дарья Михайловна из числа таких умниц.

– Мы с ней всегда были не особенно коротки... не смею утверждать... Горбунья – сестра её – поумнее, кажется?

– Не спорю, может и тебе так казаться, как другим. А мне так этого уж не может показаться, потому что я имел случай убедиться, что она писаная дура; хотя не без хитрости... Только хитрость, особенно женскую, я не принимаю за ум, хотя бы она была и очень тонкая. Хитрость, на мой склад, – одно, ум – другое! И одно с другим согласить даже нельзя, когда дело коснётся об отправлениях и исходе. Хитрость добивается самых пустячных следствий. Ум – наоборот. Горбунья Арсеньева добивается одного: чтобы её считали первую спицею в колеснице. А зачем это ей, она и сама не в состоянии решить. Это ли ум?

– Может быть, частью ты, князь, и прав по своему заключению. Едва ли не все женщины только это самое и считают верхом благополучия, не

замечая, что их проводят и через них добиваются другого, когда они, в сущности, думают, что им удалось всем заправлять.

– Авдотья Ивановна, ты сама не заметила, что высказала вполне свои замашки. А я считал тебя гораздо выше по уму...

– Злодей! За моё признание ты платишь насмешкой!.. – И, вздохнув, она бросила на князя кокетливый взгляд: – Довольно, – продолжала она, – нам нечего друг с другом комедь ломать! И ты, произнося последние слова, совсем не отгадал, что я испытываю тебя!..

– Поправилась и тут-таки! Bravo! Каюсь в своей погрешности... Могу, по чести, приставить и твоё имя к той, которую считал недружкой всем прочим петербургским паньям и панёнкам...

– Благодарю за честь и за привет, пан князь. Я тебя теперь совсем поняла. По плечу тебе разве один найдётся здесь – твой названный братец. Остальные мелко плавают.

– Нет, есть ещё один, кого я опасаюсь не без причины; он покуда не выступает вперёд, но самый опасный человек изо всех здешних. Все Толстые, Матвеевы, Головкины и прочие тому подобные мизинца его не стоят. А держится он в тени, с расчётом разумеется... Пробует почву, прежде чем начать шагать. Этот и мне, и названному братцу, и многим из теперешних воротил даст по тузу исправному.

– Понимаю, о ком ты говоришь... это немец... прехитрая скотина!

– Нет, ошиблась! Немец, на которого ты намекаешь, в подмётки не годится тому ухарю – не немцу, а русскому... Он, к слову сказать, умнее и деловитее всех здешних. Оттого его спихнули, говорят, общими усилиями. А теперь снова подняли, да дела не дают делать.

– Вот ты какой ясновидец. Нигде, кажись, не бываешь, а всё знаешь.

– Да, прибыв сюда, я думал было за дело приняться, и вёл бы его, не хвастаясь скажу, получше, чем теперь у вас, да везде разные зацепки встречаю, вот и хочу удалиться восвосяи. Думаю только хлопца пристроить...

– Полно хитрить, пан Ян, ты словам Павла Иваныча придал полную веру и с разных сторон заходишь, чтобы испытать меня. Не обижаюсь...

испытывай! Все мы люди и человеки, падки на измену и скорее верим в предательство, чем в дружбу. Особенно в деле, где ожидается выгода.

Сапега кивком головы заявил своё согласие со всем, что высказала Авдотья Ивановна, и, ободрённая успехом своей защиты, она продолжала развивать дальнейшие доказательства своего неучастия в затеях врагов князя Яна.

– При мне вызвала раз Анисья Толстая в переходы, за шкафчик, княжну Марью Фёдоровну, и та пробыла с нею долго, оставив меня одну с государыней, немного задремавшей. Воротилась княжна Марья, когда уж её величество започивать изволила совсем, а я стала собираться уходить. Княжна Марья и говорит: "Вот уж я тебя провожу..." Вышли мы это с нею на двор; заперла она дверь да и молвила: "Коли ты, Дуня, была бы с нами согласна, можно бы славное дельце обделать..." "Какое же, – говорю я, – дельце?" "Могу сказать, – говорит, – только при условии, что ты в союз с нами пойдёшь, а нет... нельзя..." "Что за тайности, – молвила я, – у вас? Аграфену, что ль, Волконскую норовите отвадить от шмыганья сюда?" "Нет, – говорит, – не то совсем... Что твоя княгиня Аграфена?! На кой прах она нам? Тебе, может, она помехой, а не нам... А мы смекаем, как бы пособить одному человечку в милость попасть, а другого пооттереть маленько..." Я и смекнула, кого хотят оттереть, а наотрез отказала: не говори мне ничего такого... вашего умысла и слушать не хочу...

– Напрасно ты не выслушала. Это с твоей стороны большой промах, – отозвался Сапега.

– Да, пойдя я на соглашение на словах, они вправе были подумать, что я и совсем на ихнюю руку... А я так не могу: с кем в приязни, тому яму не соглашаюсь рыть, хотя бы и на словах...

– Лучше на деле не устраивай западни, а на словах, между врагами, чем больше и решительнее, тем лучше. Впрочем, это такое дело, что мне тебя учить не приходится. Гораздо важнее для меня знать, что тебя не переманили на свою сторону разные княжны Марьи. Если ты на их стороне, тебе есть возможность извлечь из моего разговора пользу: я не

скрываю от тебя, что намерен теперь сделать. А коли сказал, будь покойна – и выполню.

Он замолчал и прошёлся взад и вперёд, погрузившись в думу.

Авдотья Ивановна смотрела на Сапегу не просто со вниманием, но даже более чем с сочувствием. Опытный физиономист, князь Ян, без сомнения, тотчас же разгадал чувства, волновавшие Чернышёву, и перестал в ней сомневаться.

– О том, что я буду делать, ты, конечно, узнаешь первая, Авдотья Ивановна, – перервав наконец молчание, сказал Сапега. – Я ведь не к тебе шёл, когда встретил тебя. А пришлось как нельзя более кстати... Я убедился, что на тебя могу рассчитывать не меньше прежнего... Так же, как и ты на меня... А действовать непременно нужно теперь же, не отлагая, потому что соперники наши не дремлют и готовят, быть может, мне отставку. Будь здорова и не теряй из вида кого нужно.

Простились, и Сапега исчез, бросив Чернышёву в море догадок и предположений. Первое дело она прибегла к картам, как делал в то время весь дамский избранный круг при всех дворах.

Карты, однако, на этот раз не открыли истины. Вокруг Сапеги легли разом три дамы, и одна на сердце ему; затем выпали четыре туза и три десятки, из которых бубновая десятка, с червонной дамой, и остались при трефовом короле, который, по мнению загадывавшей, должен был представлять Сапегу. Трефовая и пиковая дамы сняты, как и тузы, но большинство мелких карт затем было червонной же масти. Так что вредного душевному расположению Сапеги или его нежным отношениям, казалось, не предвиделось; и это несколько успокоило приунывшую было сперва гадальщицу.

– Может, всё и устроится по-прежнему, – решила она, смешивая карты и отправляясь опять во дворец.

Там, между тем, на половине цесаревны Елизаветы Петровны она и сестра пришли к соглашению, что нужно немедленно открыть кампанию против кружков, обманывавших государыню и отвлекавших её от дел. Сестры-цесаревны надеялись на своё значение в глазах матери, так как

она придавала большой вес представлениям старшей дочери. Они и рассчитывали: обязать императрицу честным словом, которого та ни при каких обстоятельствах не нарушала.

Решившись немедленно действовать, сестры послали Ильиничну обстоятельно узнать, воротилась ли государыня, и в случае возвращения немедленно известить их.

Когда Ильинична пришла в переднюю, там был один, грустный и недовольный, Балакирев. Он ходил взад и вперёд, заложив руки за спину и по временам вздыхая. Вся фигура его выражала сильный упадок духа. Вид Ильиничны в эту минуту был для Вани более чем желателен; он не один раз вспоминал о ней, желая повидаться с нею и через неё повлиять на Дуню, за последние дни, видимо, к нему охладевшую. Причины такой перемены Балакирев, сколько ни перебирал в уме обстоятельств, не мог придумать, теряясь в догадках.

– Что, Иванушка, здоров ли, милый? – увидя заметную перемену в молодом человеке, прямо спросила Ильинична.

– И да и нет... Больше ничего не могу сказать.

– Что же ты с собой сделал?

– Я?! Ничего.

– С чего же болеть-то привязывается?

– Думаю – от беспокойства.

– Разве уж очень тебя туряют теперь? – осведомилась радушно Ильинична.

– Нет, совсем почти никуда не нужно ходить. Коли ходить бы, лучше, может, было бы?

– Немилость, что ль, Самой на тебе стряслась? – попробовала спросить озадаченная Ильинична.

– И того нет. Грех сказать: отличает меня государыня больше прежнего, можно сказать. А сердце, хоть ты что хошь, ноет и щемит у меня, словно не перед добром. Верить ли, спать не могу. Глаз в иную ночь не придётся свести.

– Экой бедный! Да Дунька-то чего смотрит?

Балакирев махнул рукой с полной безнадежностью, и его решительное движение превосходно поняла тётка, у которой невольно вырвалось:

– А-а! Понимаю... Где ж она, бездельница?

– Не знаю... По целым дням пропадает.

– Так ты бы допросил. Куда, дескать, шляешься? Разве это порядок?

– Она уже мне высказала, что всякий с моей стороны вопрос примется ею за желание с моей стороны затеять ссору. Упрёки мне и без того надоели... и без вопросов в лад слова не скажет. Ни в чём не потрафишь. Все не так...

– Ох-о-хо!.. Неладное, друг мой, дело! А никого нет ещё? – Ильинична указала рукою в сторону почивальни.

– Нет... Не приезжали...

– А с кем уехали?

Балакирев вместо ответа сделал знак, что за спиной, в приёмной, кто-то есть, при ком нельзя говорить без стеснения. Ильинична замаялась и ещё раз спросила:

– А уйти-то отсюда теперь нельзя нам с тобой к тебе?

– И можно и нет... Думаю – неловко: скоро изволят её величество прибыть. Впрочем, на минутку почему не подняться нам с тобой на вышку-то нашу? Кстати и поем. Обед там поставили, а я не удосужился ещё сбегать, перехватить.

И в сопровождении Ильиничны Ваня пришёл в своё опротивевшее ему теперь жилище, в котором пахло затхлым, как во всяком редко отворяемом покое. Сквозь разбитое стекло страшно дуло, но Иван, должно быть, этого не замечал или не обращал внимания.

Посадив Ильиничну, Балакирев взял ложку и принялся неохотно за простывшее кушанье.

Ильинична встала, вышла из дверей, посмотрела, нет ли кого в соседнем помещении и на лестнице, и, воротясь, сказала Ивану:

– Как приедет Сама, дай знать на половину цесаревны Елизаветы Петровны.

– Да нам заказано туда ходить без приказа.

– Вот те раз! Это что-то опять новое...

Балакирев пожал плечами, не ответив.

– А бездельница-то где теперь помещена?

– Переведена к детям... или к цесаревне... прах их разберёт... Одно знаю, что не вижу её, а коли улучу в своей каморке, норовит убежать поскорее...

– Что же с нею сделалось?

– Связалась, должно полагать, с кем!

– Не может быть. Да как она посмеет! Да я её задавлю... прямо задавлю... Балакирев сделал движение, показывавшее, что ему неприятны эти слова.

– Ты, Ваня, прямо мне говори, толком: ты, что ли, сам отвадил девку от себя? Так и знать будем. А сама она не посмеет против меня такую неподобь плести. Я не свой брат: так – стало быть, так, а нет – такую встряску задам, что перестанет дурить!

– Насильно мил не будешь, Авдотья Ильинична! Страхом да угрозою тоже тут не помочь моему делу... Бог с ней, коли нашла лучше. Я, как честный человек, скажу – разве я заслужил это прежним? Богу не угодно, значит, чтобы я загладил свой грех благословением. А со дня прошлой Пасхи, когда Дуня впервой куда-то пропадала, я и думой не согрешил против неё... И ты не видел... а она...

– Не говори больше. Я знаю, что мне делать. А ты дай знать непременно, несмотря на запрещенье, когда вступит государыня к себе...

– Сиди же здесь. Я поднимусь, как только войдёт. Этим я не нарушу запрещенья, а ты знай сама, как поступить. Увидишь и...

– Понимаю. Ступай с Богом, да твёрдо держи обещание.

И он исчез, оставив Ильиничну одну на свободе раздумывать.

Мечты баронессы Клементьевой занесли бы её очень далеко, но внезапный приход Ивана возвратил её к неприглядной действительности.

Ваня, верный себе, ничего ей не сказал, а только кивнул головой, как бы в самом деле прощаясь, беря шляпу и надевая плащ.

Ильинична так же молча простилась с ним и, дав ему сойти, сама

неслышно прошла в коридор, на половину цесаревен.

– Дома теперь! – молвила она лаконически своим высоким доверительницам, и обе сестры, взявшись за руки, пошли к государыне-матушке.

V ОБМАН РАСЧЁТА

Если бы кто-нибудь, любопытствуя знать, что происходило при преемнице Петра Великого в высших сферах петербургского мира в начале 1726 года, спросил у любого деятеля (даже участника в интригах, сменявших одна другую с бесследным исчезновением горячих надежд и расчётов): "Что теперь у вас делается и кто у вас больше в силе?" – ответ мог быть один самый верный: "Не знаю!"

В государыне, доброй, ко всем расположенной, с некоторого времени стали замечать холодность к горячо любимым ею дочерям. Замужняя цесаревна давно уже подметила этот странный поворот в чувстве матери, но старалась сама себе не доверять, относя холодность к наветам враждебных людей, ловко настраивавших государыню для своих видов. Казалось с первого взгляда даже довольно убедительным, что честолюбцы, удалив дочерей с целью сильнее влиять на одинокую монархиню, вооружают её величество клеветами самыми низкими и злостными. А узнать, что именно внушено матушке-государыне, очень трудно цесаревнам, особенно старшей, знавшей, что императрица не любила прямо высказываться и что только по одной холодности можно было судить о её нерасположении.

Вот одна из причин решимости цесаревны Анны Петровны заставить сестру Елизавету сблизиться для взаимного дружного воздействия на мать, меньше всего ожидавшую теперь, в минуту раздумья, нападения врасплох.

Должно быть, поездка не оправдала всех надежд на удовольствие. Или само удовольствие не принесло обычного оживления, – только государыня воротилась к себе более недовольною, чем поехала. Неудовольствие она всегда выражала расхаживаньем по комнате с

опущенною головою, время от времени размахивая руками или поводя ими вдоль лба, от левого виска к уху. Взгляд её величества, под влиянием горького раздумья, бывал померкший, болезненный, и на губах изредка появлялась сардоническая улыбка, сообщавшая чертам лица жестокое, почти дикое выражение.

Именно эта страшная улыбка исказила приятные черты грустной монархини в то мгновение, когда впорхнули в её опочивальню красавицы дочери, овладевшие врасплох бесцельно двигавшимися руками, охладелыми и как бы засохшими. Словом, нервное раздражение, томившее добрую государыню, достигало своего апогея. Видя томный взгляд матери, как будто не слыжавшей их привета, цесаревны с ужасом переглянулись и с рыданиями, одновременно вырвавшимися у той и другой из груди, покрыли поцелуями руки матери, обливая их слезами. При первых звуках рыдания дочерей и сама Екатерина зарыдала, заключив их в свои объятия. Слёзы мгновенно облегчили внутреннюю боль, мало-помалу успокоив страдальицу.

Несколько мгновений прошло в тихих нежностях. Совсем облегчённая слезами, Екатерина сказала, как бы просыпаясь от тяжёлой грёзы:

- Слава Богу, что вы со мной! Мне так легко теперь дышится...
- И всегда бы легко дышалось, мамаша, если бы вы позволили нам чаще быть с вами, – сказала цесаревна Анна Петровна.
- Я с вами, дети, и то, кажется, беспрестанно вижусь... – был ответ тихим голосом, но с некоторою холодностью.
- Ну, полноте, мамаша! Как – беспрестанно?.. Сегодня третий день никак мы не видались. Вчера не пустили меня совсем, сегодня не велели ходить до приглашения, – с жаром выговорила Елизавета Петровна.
- Неправда, неправда... ты всё путаешь, – не совсем уверенно оправдывалась мать.
- Как – неправда? Видно вы, мамаша, чем-то были заняты, если забыли, как присылали приказ, чтоб не ходила.
- Карл был у вас утром... его даже в переднюю не пустили к вам, – прибавила Анна Петровна.

– Я не могла его принять... нездоровилось и спать хотелось... просила после предложить пожаловать...

– Так вы были нездоровы? И как скоро выздоровели, слава Богу... Не успела я к Аннушке с отказом прийти, как глядим, вы едете мимо...

Лицо матери вдруг страшно изменилось. Гнев мгновенно исказил черты, готовые было успокоиться и принять обычное доброе выражение.

– Ты слишком много позволяешь себе, Лиза! Кто тебя научил так ко мне обращаться?! – закричала императрица, и глаза её сверкнули.

Анна Петровна в слезах бросилась на колени, хватая руку рассерженной матери; но Елизавета Петровна, сама горячая, не думала проявлять покорность.

– Я не смела бы вам это высказывать, если бы дело шло обо мне одной. Запретить мне приходиться к вам вы властны, но зачем приказывать обманывать сестру и выставлять меня перед нею лгуньей? За то, что я говорю теперь, я готова подвергнуться вашей немилости. Не может быть, чтобы вы сами это сделали! Это вы приняли на себя дело окружающих вас. Гневаясь на нас и приближая их к себе, вы делаете меня невольно виноватою. Обращаюсь к вашему собственному суду! Вы любите правду и учили нас прежде всего говорить правду, без изворотов... Зачем же теперь, желая скрыть, что вас провели приближённые, вы отступаете от своего правила? Я за свою вину готова на коленях просить у вас прощенья, но дайте и вы слово: не позволять нас обманывать вашим именем... – И она упала на колени перед матерью и схватила её руки, уже получившие обычную теплоту и мягкость.

Очевидно, смелая цесаревна одержала победу. Рук от неё не отнимали и не отталкивали от себя... Склонённая покорно голова пылкой цесаревны мало-помалу поднялась. Вот она взглядывает на лицо матери. Видит по щекам её струйки слёз и бросается целовать плачущую. Поцелуи без слов уладили дело, которое снова растолковывать оказалось ненужным для обеих.

Вот уже сидят все трое на канапе, в объятиях друг друга.

– Так вы очень встосковались, не видел меня долго? – спрашивает

сияющая мать.

– Да, мама, пожалуйста, не гневайся так вперёд! – снова начинает свою жалобу Елизавета Петровна. – Тебе самой это нездорово. Я и теперь не берусь тебе пересказать своего испуга, когда, схватив твою ручку, я почувствовала её холод – словно она была неживая... Вот что значит нас не видеть и ехать больной... с... – Она слегка погрозила пальчиком, что вызвало у всех троих улыбку.

Очередь ласки переходит к старшей цесаревне.

– Мамаша, мы с сестрой решили просить вас позволить нам приходить к вам непременно утром и вечером, как было при отце и как мы привыкли с детства. Уделите нам немножко времени и побольше вашего прежнего расположения и... мы будем вполне счастливы.

– Хорошо, хорошо... Аннушка, милая... приходи...

– И вы примете?

– Непременно!

– И запретите нам отказывать?

– Сделаю... сделаю...

– Докладывать о нас не нужно... ведь мы не кто другой...

– Да отчего же? Пусть доложат. Это вас не задержит... вы идите себе...

– Ещё я хотела просить у вас...

– Чего?

– Вас окружают люди, которые, конечно, любят вас меньше, чем я! – заявляет Анна Петровна.

– Как и я, – вставляет Елизавета. – Поэтому нам необходимо, наблюдая общую выгоду, в отсутствие ваше всегда быть в совете. Мы – будьте покойны – ничего не пропустим без внимания... Войти в дело не трудно, если хочешь узнать самое важное... и спросить можно чего не поймём...

– Но нам нужно быть с вашими министрами в совете, потому что они друг против друга коварствуют и враждуют, а от этого страдает дело... При нас они мало-помалу отучатся вмешиваться в дела своих личных счётов и начнут судить более беспристрастно, чем было...

– Согласна! Да я уже вас и сама назначила в совет. Тем лучше, если вы

хотите входить в дела и судить. Мне приятно убедиться, что вы строго относитесь к своим обязанностям, к народу и государству и к нашему дому. Пока племянник и племянница ваши не вышли из детства, вы хорошо сделаете, входя в дела. За одно это намерение вы стоите примерной награды. Я вас украшу моим орденом.

И, говоря эти слова, государыня встала с места, подошла к комоду, отворила верхний ящик, в котором хранились алмазные знаки ордена св. Екатерины, достала две звезды и по очереди, сперва старшей, потом младшей дочери, возложила сама ленты и звёзды, сопровождая награды родственным поцелуем. Новые кавалерственные дамы тут же получили и поздравления.

Во время сцены поначалу почти драматической в комнате её величества не было никого, кроме трёх героинь. Но в мгновение, когда августейшие руки возлагали знаки ордена на удостоенных, – весь штат комнаты её величества оказался в полном сборе, и все поочерёдно приветствовали их высочества. Явилась и баронесса Клементьева.

Узнав в чём дело, Авдотья Ильинична присоединилась к толпе поздравляющих и, произнеся обычные заученные благожелания, подошла к государыне, поцеловала ручку и стала на колени с возгласом:

- Помилуй, государыня, меня бесталанную!..
 - Чего же ты хочешь?
 - Повели Ивану Балакиреву жениться на моей Дуньке!
 - Я не могу принуждать ни его, ни твою племянницу...
 - Не о принуждении прошу, а о разрешении...
 - Охотно разрешаю, если моё разрешение поможет твоему желанию, но без принуждения с моей стороны.
 - Матушка-государыня, повели только призвать перед себя Дуньку и вымолвить соизволь, что разрешаешь...
 - Изволь... Позвать Дуню!
- Никто не вызвался, а только все глядят одна на другую.
- Сходи же, Авдотья Ильинична, за ней сама...
 - Позволь, ваше величество, Ивану меня заменить.

– Пусть.

– Ваня, ты здесь, батюшка? – спрашивает Ильинична и выходит в переднюю, в коридорчик, на крыльцо – нигде его нет.

Бежит наверх – и там его нет. Идёт на половину внучат государыниных – и там нет. Зато откуда-то мелькнула племянница.

– Тебя-то и надо, голубушка! Подь-ко сюда... тебя к государыне требуют. Племянница, мрачная и расстроенная, недовольно повинуется. Приходят.

– Вот она, матушка... ваше величество!..

– Ты слышала, что тётка просит, чтобы я разрешила тебе выйти за Ивана? Согласна ты?!

Нет ответа.

– Что же ты молчишь? Говори!

– Наш союз не принесёт счастья ни мне, ни ему...

– Слышишь, Ильинична!

– Беспутная ты! Что выдумала? Давно ли мне говорила, что не позволяют... Зачем же ты меня обманывала?

– Я не властна теперь в себе... – И она упала без чувств.

Иван Балакирев, входя в приёмную, услышал последние слова и остановился посреди комнаты, ошеломлённый.

Государыня увидела, что верный слуга не в себе, и, раздвинув своих приближённых, подошла к нему, положила руку ему на голову и тихо произнесла:

– Ты, Иванушка, всегда бывал молодцом и теперь, я надеюсь, себе не изменишь...

Это ободрение как-то глухо отдалось в ушах бедняка, и он с усилием поднял опущенную голову. Один только тяжёлый вздох вырвался из груди, но воля одержала верх над порывом чувства и скрыла последствия удара, разрушавшего все надежды на счастье царицына слуги.

Через минуту лицо его как будто окаменело и выражало полнейшее бесстрашие. Он даже помог двум женщинам вынести бесчувственную Дуню из комнаты государыни, на половину внучат её величества. И на

вопрос Маврина, мимо которого пронесли девушку: "Что с ней?" – ответил совершенно спокойно:

– Не знаю!

Наступил вечер, а Иван Балакирев всё стоял у окна, как встал, придя с половины внучат её величества. Лицо его обращено было к оконному стеклу, но видел ли что в нём Балакирев и замечал ли, что свет заменился мраком, – трудно сказать. Мимо него прошли все из комнат государыни. Затих всякий звук после удаления ко сну её величества, а Иван Балакирев продолжал стоять в одном положении.

Судьба послала ему испытание так неожиданно, в то время когда обстоятельства (как мы увидим из дальнейшего хода событий) могли потребовать от него усиленной энергии и предприимчивости.

Наутро, после того как неожиданно был нанесён удар горячей страсти Ивана Алексеевича, – у герцога Голштинского долго засиделись люди двух партий. Они всё рассуждали: как бы устроить дело в совете к общей пользе, невзирая на личные стремления.

Толстой настаивал на том, чтобы ввести в совет графа Матвеева. Бассевич возразил ему, что всякое новое лицо, при самом образовании совета, может только усилить ещё более рознь, тогда как нужно на первое время всем соединиться для правильной постановки вопроса о правах Голштинии.

– На этом вопросе могут, согласитесь, показать себя весьма сочувственными к личным интересам её величества самодержицы вашей... особенно если и вторую цесаревну отдадут за герцога Карла Голштинского... Поддержка прав Голштинии могущественным вооружением заставит теперь и не совсем расположенные дворы не заводить спора о передаче Курляндии герцогу Карлу с рукою младшей цесаревны...

– Да кто вам сказал, что это последнее желательно нам вообще, а ей в особенности? – спросил далеко не дружелюбным тоном старец дипломат.

– В этом мы готовим, как мы полагали, угодное именно вам... Ведь известно, что вы совсем не равнодушно смотрите на намерение князя

Меньшикова. Стало быть, не захотите, чтобы он стал герцогом Курляндским?

– Так что ж из этого? Я находил и нахожу, что Меньшикову Курляндию не дадут и не следует давать... но... с какой стати мы будем требовать это герцогство для герцога Карла? Желал бы я знать и то, как возьмут Курляндию у Анны Ивановны и без войны заставят Польшу уступить её нам! Для того только, чтобы мы передали Голштинскому герцогу?

– С рукою цесаревны! Не без приданого же императрица думает отдать дочь.

– Да нужда-то крайняя, что ль, отдать дочь таким образом? И отчего вам кажется, что цесаревне Елизавете Петровне будет по душе этот жених?! Желательно бы нам знать, и... из-за чего тут хлопотать или войну начинать? Как явятся англичане с датчанами в Финском заливе, так забудем мы обо всём другом кроме того, чтобы дать отпор здесь. И то слава Богу, коли удастся! Разве вы думаете, при нашем положении теперь легко воевать?

– Нелегко, спора нет. Но должна же государыня сдержать обещание и возратить зятю наследственное владение...

– Можно попытаться, кажется, и другими путями получить это, не вступая в войну. Когда уже ничто другое не поможет, – конечно, воевать придётся. А до тех пор, пока не уладится голштинское дело, спешить, полагаю, вам нечего и решать курляндское...

– Конечно, можно теперь удовлетвориться словом государыни, что она в крайнем случае пошлёт войско занять Курляндию, если наступит необходимость. Но сосватать младшую цесаревну за принца Карла следует немедленно, теперь же! – сказал решительным тоном Бассевич.

– Да нужно знать, я говорю, прежде всего, как сама-то цесаревна смотрит на это предложение, – заметил Толстой. – Если не нравится ей особа принца, ничего не поделаешь! Лучше и не начинать...

– Последнее – пустяки... с этим легко справиться при юных летах цесаревны, – ответил голштинский министр голосом, не терпящим возражений.

– Н-ну... Я не думаю, чтобы это так легко удалось вам, как вы говорите. В младшей цесаревне гораздо больше несговорчивости и упрямства, чем в старшей; да и нрав её совсем другой.

– Нитшефо, – качая головой, как о деле решённом и неременном сказал ломаным русским языком герцог Карл-Фридрих. – Эт-то нюшно ннам отшень...

– Да для чего же теперь именно с этим спешить-то вам? – попробовал задать вопрос Бассевичу Толстой.

– Чтобы укрепить окончательно нашу позицию здесь, – неохотно промолвил министр.

Толстой погрузился в думу, и на лице его выразилось против воли горькое чувство. Конечно, такой опытный физиономист, как Бассевич, тотчас заметил это и, вероятно, понял, что, высказавшись так откровенно, сделал промах. Толстой тоже спохватился, что обнаружил своё истинное чувство не в пору, и потому, приняв самый спокойный и невинный вид, вздохнул, как будто ему перед тем трудно дышалось, и молвил, растягивая слова:

– Вот, эдак уж... не первый раз... со мной... Что-то вдруг захватит в груди – и не переведёшь духа...

– А-а!.. – повеселев, оживился Бассевич, поверив, что выражение лица старика, его озадачившее, было только болезненным пароксизмом.

– Вы бы, хер граф, посоветовались с нашим медиком; он прекрасно врачует и указывает примерами, отчего происходят эти перерывы дыхания... особенно в ваши лета!

– Да, того и гляди, – ответил, совсем поправившись, Толстой, – сдавит совсем глотку и отправляйся, без поперечки, на лоно Авраамово. – И сам засмеялся тем стариковским, добрым смехом, в котором никто не подметил бы фальши.

О, граф Пётр Андреевич недаром от самого Петра I получил кличку "умная голова"! Находчивость его, при тончайшей хитрости, не один раз выводила дипломата из самых стеснённых обстоятельств. А теперь он мгновенно сообразил, как ему следует замазывать и улаживать дурное

впечатление, произведённое на голштинца – человека опытного и умного, горячо преданного интересам своей родины.

– Трудное это дело, – сказал старик, – предупреждаю вас: повести речь о женихе вашем с этой хохотушей, Лизаветой Петровной... И я смекаю, что ей надо подослать свата либо сватью, ловких, чтобы смешком да задором могли они затронуть её за живое. Ловок ли, к примеру сказать, ваш женишок-от? Горазд ли на речи?

Министр и герцог только что-то промычали.

– На шутку, к примеру молвить, сразу ли способен он... загнуть ответец аль там загадку, чтобы смешна была или забориста?

Бассевич ответил отрицательно, прибавив:

– К сожалению, его высочество не обладает большою развязностью, но сердце имеет превосходное...

– Так-то так... да смею сказать, девушками это не больно уважается. Того гляди, на смех подымут. Особенно хохотуша – цесаревна наша. Ей нужен ухарь да смехотвор; да чтобы разбитной малый был на все руки... плясун и скороговор... И ловок из себя... Она-то ведь картина! Под стать чтобы ей хоша собой-то был бы. А вы ещё норовите крутить поскорее! Не советую. Попомните моё слово – спешкой все испортите. Нужно, чтобы она попривыкла видеть принца, не зная, что ей прочат его в женихи. Да чтобы он всякие почтительные услуги старался оказывать... Только угодливостью можно тут поправить дело. А с бухты-барахты как хватите... она ведь бедовая... вспылит, оборвёт и осмеёт. Вот, к примеру сказать, такая бы картиночка, как Левенвольд... легче бы обойти...

Левенвольд, так блистательно выставленный, отвесил любезный поклон и улыбнулся.

Бассевич тоже улыбнулся и сквозь зубы процедил:

– Найти соперников барону между нашими не очень трудно.

– Главное, устройте прежде всего так, чтобы цесаревна чаще видела жениха и чтобы это частое пребывание их вместе не показалось её высочеству ничем особенным... чтобы вошло в привычку, что принц ухаживает за ней и говорит отборные учтивости. Пусть подучат его

красным словам, чтобы кстати мог он сказать словцо, и посмешить, и позабавить...

– Ваше высочество, – сказал Бассевич, обращаясь к герцогу, – можете внушить герцогине необходимость чаще принимать сестру и... при этом рекомендовать принца Карла в особенную... дружескую аттенцию её высочества.

В это время внесли поднос с напитками, и герцог предложил Толстому выпить за блистательное заключение второго супружества голштинского принца с русской принцессою!

– Охотно... Пусть хоть покажется жених!

– За этим дело не станет... Камер-юнкер Беркгольц! Попросите его высочество принца Карла пожаловать к нам... разделить общую радость!

Кубки налиты, и вся тост-коллегия герцога Карла-Фридриха заняла свои места за круглым столом. Толстого герцог посадил подле себя, а своего министра – на другом конце. Около Толстого занял место Нарышкин; против него же сел Левенвольд, оставив свободным с левой стороны герцога ещё один стул. Его и занял принц Карл, при входе которого все привстали.

Его высочество был молодой человек, очень бледный и белый, с глазами водянистого оттенка и с волосами совершенно льняного цвета. Тщедушные черты молодого, но какого-то сонного лица составляли полный контраст с большим ртом, нижняя губа которого, очень мясистая, можно сказать, отвисла, постоянно открывая зубы и дёсны.

Герцог Карл-Фридрих, усевшись, повторил тост, на который Толстым было сделано заявление, вызвавшее приход принца. Принц Карл при произнесении братом тоста обошёл всех сидящих за столом, чокаясь и целуясь с каждым, начав с брата и Толстого.

Когда же он сел на место, Бассевич попросил слова и повёл речь об изменении роли Голштинии в семье государств Европы. По мнению оратора, это изменение должно начаться с того, что державная глава России, вступив с герцогскими домами в родственную связь, материальною поддержкою заставит признать неотъемлемые права

герцогства на весь Шлезвиг.

– Сама Дания тогда почувствует, – заключил несколько экзальтированный оратор, – что для её собственного спокойствия необходимо жить в мире с младшею линиею Ольденбургского дома, представителям которого на датском престоле принадлежит честь упрочить благосостояние полуострова Ютландии.

Снова наполнились кубки, и оратор подошёл к своему государю, чтобы получить от него поощрительный поцелуй и обычное, по правилам тост-коллегии, чоканье.

– Я к вашей превосходной орации могу прибавить одно, мой дорогой граф, – сказал герцог Карл-Фридрих, – а именно что с переходом к нам, в виде самостоятельного родового лена, прекрасного острова Эзеля между верными нашими шлезвигцами разовьётся предприимчивость и они покроют моря своими флагами, имея к своим услугам превосходные гавани на восточном берегу Балтийского моря и для сооружения кораблей – под рукою драгоценные леса Остзейского края и особенно Курляндии, обладание которою всемогущая судьба предоставила моему возлюбленному кузену Карлу...

Все голштинцы крикнули разом "виват!" и покрыли пророчество своего герцога рукоплесканиями. В них не принимали участия только Левенвольд и Толстой, чего, впрочем, никто не заметил. Тем более что, пленённый заманчивым пророчеством кузена, и принц Карл встал, прося слова.

Не вдруг, конечно, удалось прекратить крики и хлопанье, но когда установилась тишина, отважно рекомендуя себя в женихи второй дочери Петра I Карл Голштинский сказал не много, но хорошо:

– Слушайте. Имея прекрасный флот и балтийские гавани в своих руках, почему нельзя заключить, что наш кузен Фридрих-Карл, законный король готов, вандалов и шведов, не соединит в руках своих всего севера, на котором в венце его русский лён будет самым ценным приобретением Голштинии?! Тогда, можно добавить, перестроится карта Европы!

Толстой и Левенвольд вздохнули, сделавшись грустнее от необузданной

радости придворных герцога Карла-Фридриха.

В это мгновение совершенно неожиданно вступили в залу новые кавалерственные дамы ордена св. Екатерины, обе цесаревны.

Толстой и Левенвольд, завидя цесаревен-сестёр, вскочили со своих мест и подбежали к ним, одни только из всего собрания.

Старшая цесаревна холодно ответила на приветствие восьмидесятилетнего дипломата, и он поспешил удалиться совсем из залы, никем не замеченный.

Левенвольд, наоборот, имел счастье обратить на себя внимание обеих сестёр, ответивших очень благосклонно на его поклон.

– Пойдите, барон, приостановитесь, дайте послушать моего зятюшку. Он, кажется, говорит кое-что такое, что не мешает и мне узнать, потому что касается меня самой, – каким-то не то шутивым, не то сердитым тоном выговорила Елизавета Петровна.

Ловкий барон очень тонко улыбнулся и глазами показал на пустой стул, стоявший подле принца Карла, заметив:

– Вашему высочеству оттуда слушать было бы удобнее...

– Вы ошибаетесь... Я далеко не разделяю вашего мнения об удобстве этого соседства...

Когда цесаревна Анна услышала последние слова, на лице её выразилось неудовольствие. Не сдержав его, Анна Петровна грустно сказала сестре:

– А мы было думали, что ты, Лиза, не захочешь чуждаться наших родных и не будешь упрячиться, когда речь идёт о нашем общем семейном деле.

– Прости, сестрица, я охотно войду с тобой в обсуждение семейного дела, но принц Карл, полагаю, тут ни при чём...

– Как – ни при чём?! Кажется, я тебе намекала, что, отдав ему руку, ты выполнила бы самое задушевное моё желание...

– Я не вслушалась в такие намёки... А то бы я совсем сюда не пошла. Любовь моя к тебе известна, но это уже странно с твоей стороны сватать меня насильно за человека, который мне не нравится! Коли хочешь, пойдём к тебе. А здесь мне не хочется оставаться. – Сказала и

поворотила вон.

VI НЕ ПРОНЯЛСЯ!

Анна Петровна хоть и неохотно, но всё же последовала за нею, и только тогда уже, когда обе сестры исчезли, между голштинцами начались толки и герцог-супруг, председатель тост-коллегии, узнал, что входили жена и свояченица, но ушли отчего-то очень спешно.

– Они думали, вероятно, что у нас серьёзное совещание, – флегматично заметил его высочество и хотел предложить тост, видимо в честь Толстого, потому что стал искать его глазами, а не отыскав, сконфузился.

– Он, верно, с ними же... Я пойду всех их приведу, – выговорил герцог, смущённым взором озирая своих собутыльников и ища, должно быть, у них одобрения своего решения. Те, однако, или не придавали этому решению надлежащей цены, или просто не догадались, но промолчали с тоскливым ожиданием продолжения упражнений в риторике, с бокалом в руке. Герцог сдержал своё слово наполовину. Он действительно пошёл к жене, но через полчаса воротился очень не в духе и отрывочно заявил, садясь на своё место:

– Они не будут... Маленькое нездоровье...

Последняя фраза была произнесена им почти шёпотом. Герцог с чего-то покраснел и окончательно замолк в полном смущении.

Дело в том, что, когда он вошёл в опочивальню жены, она и сестра обе сидели молча и глядели в пол. Они находились под впечатлением, может быть, различного по причинам, но общего по характеру чувства недовольства собою и другими.

Анне Петровне было очень неприятно убедиться теперь, что ничего нельзя сделать с младшею сестрою, которою она хотела руководить.

Елизавета Петровна, видя неудовольствие сестры, готова была броситься к ней на шею и выпросить прощение за свою излишнюю живость, но не изменяя решения, которое находила самым естественным и искренним. А на искренность и правду можно ли обижаться? Конечно нет.

И она сказала, пересев ближе к сестре и взяв её за руку:

– Аннушка!.. Если я тебя чем обидела, то поверь: я сделала это невзначай...

– Обидеться, Лиза! – голосом, в котором звучали слёзы, ответила ей сестра. – За что же? Мне грустно только, что я не подумала прежде узнать у тебя, как ты находишь Карла. А если бы я прежде узнала, то не дала бы мужу слова, что ты со мной во всём была всегда согласна, о чём бы ни попросила.

– Да хоть проси, хоть не проси, Аннушка... а я тебе искренно скажу, что Карл мне не нравится и я за него не пойду.

Анна Петровна вздохнула и погрузилась в тяжёлое раздумье, поддерживавшее мёртвую тишину в комнате. Её нарушил звук шагов, и перед парюю задумавшихся сестёр явился герцог Фридрих Голштинский.

– Пойдёмте к нам. Что вы тут одни? – бойко начал он по-немецки.

Ему не ответили, но это не лишило его смелости произвести и следующий манёвр. Он упёр руки в бока и к первой подошёл к Елизавете, без слов предлагая взять его под руку.

Прошло не одно мгновение, пока герцог, не изменяя позы перед свояченицею, счёл нужным выговорить в пояснение приглашения:

– Пойдём, Лиза, подле Карла тебе оставлено место... и все, и он ждут...

– Покорно благодарю за честь. Ждать меня нечего. Принц Карл может просить сесть подле себя кого угодно...

– Подле жениха, я думаю, садится не кто угодно, а невеста? – сказал Фридрих.

– Если ты, Фридрих, думаешь, что подле Карла может занять место его невеста, то это ко мне и подавно не относится, – отрезала Елизавета Петровна и сама захохотала.

– Я не люблю лишних фарсов, Лиза. К чему тебе заводить напрасные споры, когда уже решённое дело, что ты невеста Карла? – серьёзно сказал герцог.

– А кто это решил, позвольте узнать? – уже без смеха и очень серьёзно спросила цесаревна Елизавета Петровна.

- Мы все... решили.
- Да кто это – все?
- Я... жена... Бассевич...
- Довольно! Всем вам моя покорная просьба – без меня не решать такого дела... Вы решили – да! Я решаю – нет! И решать за меня никому не даю позволения.
- Мама велит – вот и будет по-нашему, а не по-твоему.
- Нет... Она не велит неволить, – сухо, но решительно произнесла цесаревна
- Посмотрим... Я пойду к матушке, – возразил, не желая сдаваться, герцог Фридрих.
- Я раньше тебя её увижу Когда ещё тебя позовут! А мы уже кавалерственные дамы... Вместо спора – поздравил бы нас.
- Заметив, что Анна Петровна не в духе, разочарованный сват молча раскланялся и ушёл, а вскоре после него ушла и цесаревна.
- Ильинична встретила свою питомицу на лестнице, поднимаясь к себе.
- Что недолго гостила у нас, голубка?
- Проводи меня, няня, всё тебе скажу.
- Эх ты, вертушка! Знала бы – не взбиралась. Говори же, касаточка: что не сидела у сестры? Ей, голубушке, скучно ведь одной-то бывает... а тебе ведь всё равно...
- Что – всё равно?
- Да сидеть-то дома... Знай болтала бы да болтала с сестрёнкой.
- А коли она не болтает, а молчит? Что ты на это скажешь?
- Да с чего бы это самое... ей с тобой-то не говорить?
- Обиделась на меня, что я сказала: могу сама решать, кто мне нравится, а кто нет...
- Известно, сама... Только молода ты у меня. А как даст Бог подрастёшь да поздоровееешь побольше, женишок тогда и приглянётся.
- А Аннушка, муж её да Бассевич хотели навязать мне белобрысого Карла... а я его совсем не люблю...
- Мне и самой он не показался... что твоя сова... хлопает знай бельмами,

и всё тут.

– Вот видишь. Ну и мне он не пришёлся по душе. Я и сказала прямо – не жених он мне... Аннушка и надулась, а Фридрих хочет маменьку просить принудить меня за него выйти; а я знаю, что маменька против моего желания не пойдёт.

– Известно... Вот Аннушку при мне спрашивала: хочешь ли выйти за голштинца? Та сказала твёрдо: хочу... Стало, теперь пусть на себя и пеняет, что прогадала... слёзы лить приходится...

– Как так? Она так любит своего Фридриха!

– Она-то любит, да он... прах его знает, что за человек: ни рыба ни мясо... ни гнева ни милости. Чисто пресное тесто.

– Я, няня, пресного теста не люблю и права, значит, что за Карла, коли он такой же, нейду.

– Ты умница у меня... что и говорить. Куда тебе голштинца непутного – русачок наш лучше.

– Я, няня, пойми, не виновата нисколько перед Аннушкой. Я ведь не думала, не гадала, что она с муженьком затеяла сватовство. – И Елизавета Петровна рассказала подробно о своём посещении палаты, где происходил пир голштинцев.

– Теперь, чего доброго, – сказала она в заключение, – у нас дружба с Аннушкой пошатнётся. Неловко мне будет к ней затесаться, а она такой человек, – коли не придёшь, сама не пошевелится и не сердясь. А теперь...

– А что теперь?! Опять-таки ничего. Мало ль что хотелось ей... И ладно, что за немца нейдёшь. Ну, однако, мне пора домой, – произнесла Ильинична. – Пойду горе своё размыкать... умом-разумом раскинуть.

– Зайди, няня; проводила до дверей, зачем же не хочешь войти?

– Да горюшко-то моё больно донимает. Сердце ныть принялось, так что не уймёшь не переплакавши...

– Ну и плачь у меня. И я с тобою заплачу, что хотят насильно замуж отдавать.

– Тебе бы всё зубы точить... А мне так Дунька истинно горе устроила и

заботу. И об ней-то подумать надо да голову поломать, что только с ней случилось? Иванушку мне истинно до смерти жаль! Первое – парень хороший; второе дело – надёжная подпора старости был бы да в делах помощником. – И Ильинична, махнув рукой и скрывая слёзы, зашагала в свою сторону.

Цесаревна с участием посмотрела на свою старую няньку и покачала головой, вступая на крыльцо.

Между тем Толстой, возвратившись домой, послал за своими приятелями-заговорщиками. Первым явился Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Это был человек во многих отношениях замечательный и, если угодно, с большими способностями, которые, однако, не могли умерить в нём необыкновенного оживления, внезапно сменявшегося апатией и беззаботностью. Самая наружность его была непривлекательна. Он отличался угловатыми движениями и дребезжащим голосишком. Вообще он был человек непоследовательный, порывистый и поверхностного образования.

Только что прощённый при содействии и ходатайстве Меньшикова и ещё не вполне воротивший то, что ему лично принадлежало по праву, Скорняков-Писарев теперь уже оказывался врагом светлейшего, готовым соединиться с бывшею своею жертвою – Шафировым на пагубу покровителя. Таков был он и в частном быту. Сначала умолил Петра I сосватать ему девушку, которую любил, а когда свадьба состоялась, своим необузданным характером заставил её постричься в монахини. Когда же пострижение совершилось, стал томиться и мучиться, нигде не находя покоя и умоляя духовные власти снять с жены обет. Обещано было это ему неохотно, но он от одного обещания повеселел и сделался покорным орудием Толстого и Мусина-Пушкина. Их поддержкою он надеялся достигнуть желаемого.

– Что нового слышно? – крикнул Писарев, входа к Толстому, который в ожидании гостей слегка задремал.

– Много, и самого неприглядного, – ответил старик, потирая глаза.

– Затем и ссылаешь, чтобы неприглядное порассказать?

– Да!

– А нельзя узнать попрежде? Чтобы подумать, какие меры принять.

– Почему не так? Можно... Слушай. Я готов и тебе одному всё пересказать.

Писарев, уже севший на ту же лавку, где сидел хозяин, молча придвинулся к нему.

– Я прямо от герцога Голштинского, – начал Толстой. – Все мы на него сглупа возымели было большие надежды. Говорили, что и умный-то он, и русских-то любит, а он – немец был, немцем и останется, а русским совсем не под стать. Первое дело: никогда не возьмёт в толк и наших порядков, и наших нужд... А другое дело, все его помышления клонятся к тому, как бы нашими руками жар загрести на свою сторону, да только немцам по вкусу, а уж никак не нам.

– И я то же предсказывал ещё спервоначалу... Видел и я, что эти приятели мягко стелют, только жёстко спать придётся; да ведь не слушали... Что же теперь эти благодетели начинают?

– Да начинать они только собираются, а наше дело этому помешать, коли добра себе желаем.

– Вестимо так... Знать бы только, когда и где мне дать им отпор.

– Ты сам поймёшь, где и что делать. Вот кряду Пётр Павлыч валит, да ещё слышу два голоса, кажется... – молвил Толстой, начав прислушиваться. Слух у него был очень тонок.

Через несколько мгновений действительно ввалилась в комнату короткая, тучная фигура Шафирова и за ним граф Мусин-Пушкин, прихрамывающий по обыкновению от подагры. На лице его, ещё совсем свежем, только тронутым морщинами, светилась тонкая улыбка, и левый глаз, подёргиваемый по временам судорогою, придавал этой улыбке что-то особенное. С первого взгляда можно было видеть, что Мусин-Пушкин в прекрасном настроении.

Зато Шафиров редко бывал так нахмурен и недоволен, как теперь, и всё что-то ворчал себе под нос.

За Шафировым же выступал холодный на вид, вечно бдительный и

готовый недоверчиво отнестись ко всякого рода слухам, бравый генерал-полицеймейстер Дивиер. Теперь он, кажется, был уже предупреждён насчёт прямого повода приглашения Толстого и казался сильно сосредоточенным и более бледным, чем обыкновенно.

Поздоровавшись с хозяином, все сели вокруг стола; но Толстой обратился к своим гостям с предложением:

– Не лучше ли нам перейти в повалушку? Там, кажись, будет нам повольготнее и попивать, и речи вести?!

– Как угодно, – ответил за всех Шафиров, и все последовали во внутреннюю часть дома через два перехода. Оказалась эта повалушка – светлицей в три окна в сад, совсем на другой половине дома. Может быть, приглашая сюда, престарелый дипломат припомнил свою беседу с Лакостой да лёгкость, с которою прокрался к нему на вышку Ушаков.

Здесь было совсем другое положение, и подойти врасплох не представлялось ни малейшей возможности.

В этой самой повалушке, на мягких полавочниках, расселись теперь гости графа Петра Андреевича. При входе сюда они были встречены по старому русскому обычаю – радушною хозяйкою с подносом в руках, уставленным чарками, среди которых красовалась увесистая братина, наполненная токайским.

Когда гости взяли чарки, хозяин произнёс с одушевлением:

– Выпьем, братцы, теперь за дружбу и единодушие! Чтобы не продавать своё родное, а по совести твёрдо держать слово и не сдаваться ни на льстивые речи, ни на посулы, ни на угрозы... да и не давать себя подкупить ни женской красой, ни житейской выгодой! Аминь! Поцелуемся!

Все казались проникнутыми горячим чувством и поцеловались. Затем Скорняков начал речь, показавшую, что он допускает для достижения цели два противоположных пути.

– Согласимся же, братцы, немцев – будь они голштинские или цесарские – брать в помощь осмотрительно: пусть выполняют, что нам нужно, коли хотят с нами заодно на наших врагов... Пусть не мешают нам с ними

расправиться, а тогда мы посмотрим, какую им дать работу.

– Зачем же тебе, Григорий, немцы-то могут потребоваться? – вдруг осадил его вопросом хозяин.

– Как же без них?! Только им воли не давать...

– Удружил... нечего сказать! – вставил Шафиров.

– Не надо нам немцев ни с волей, ни без воли! – ещё идя к собеседникам, крикнул князь Василий Владимирович Долгоруков, отвечая Скорнякову и приведя его в полную невозможность как-нибудь вывернуться.

– Спасибо, князь Василий, что недолго думал да хорошо сказал, – поощрительно, качнув головою и протягивая руку, отозвался Толстой... – Я ведь думаю, что и сам Гриша теперь смекает, что без немцев обойдётся?.. А у него это просто с языка сорвалось – от спешки...

– Конечно, можно и совсем... без немцев, коли вы не хотите... – вздумал поправиться Скорняков, – но...

– Никакого "но" тут нет, а одни мы, русские люди, норювим для себя подумать о добром порядке. А согласись, Гриша, кому же свой дом устраивать, как не хозяину? Ведь немцы гости у нас, – ещё раз возразил князь Василий Владимирович, и противник не нашёлся что сказать, а только развёл руками.

На всех лицах, кроме Писарева, появились улыбки. Воцарилось молчание, все предались раздумью. Пользуясь паузою, Толстой поднялся с места и, озирая всех гостей своих, сказал:

– Вот с чего я хотел бы начать нашу беседу – послушайте. Был я у Голштинского и узнал невольно его затеи: женить своего двоюродного брата на Елизавете Петровне и за ней дать в приданое ему Курляндию, да ещё с одним нашим островом на море. Владея островом Эзелем как приданым за женой, герцог Фридрих Голштинский, при устройстве союза своего брата с младшей цесаревной, намерен выпросить себе всю Эстляндию, если ещё не Лифляндию, да нашим войском завоевать и всё своё родовое наследство от датчан на первый случай. На счастье наше, Елизавета Петровна терпеть не может голштинца, что прочат ей в

женихи. Поэтому есть ещё для нас возможность, коли вступимся теперь же да умно поведём дело, эти голштинские затеи совсем подсесть. Нужно умно начать и не разрознивать нам сил своих. Я даже готов с злейшим своим недругом сойтись, только бы отрубить хвосты голштинским лисичкам да зайчикам. Вот пусть каждый из вас, братцы, теперь же и выскажет, что представляется его разуму годным при настоящих обстоятельствах... Предоставляю речь тебе первому, Пётр Павлыч, как дельцу опытному и осторожному...

– Благодарю за честь, – отозвался Шафиров. – Я могу одно сказать: коли покуда это только одни голштинские похвальбы, так очень хорошо знать их и на ус нам намотать, а дело начинать нам рано. Прежде бы посмотреть, что дальше будет. Представляется мне как-то невероятным, чтобы не было обещания, коли уже расхвастался голштинский павлин, что он и то и то поделает. Если Головкин неподатлив на обещания, зато Остерман для немцев на всё готов – и сделать, и надоумить, нашему народу во вред. Прежде дела поэтому нужно эту змею – Остермана – лишить возможности вредить. Не допускать его в дела иностранные, а из русской службы совсем уволить! И если это удастся, тогда только можно надеяться, что отнимется главная рука и поддержка этому нахальному у нас хозяйничанью. Вот чем нам, русским, и Меньшиков больше всего противен, что он этому аспиду – главная поддержка! И ты, граф Пётр Андреич, должен прежде решить вопрос: можешь ли ты вытолкать отсюда Остермана?

– Сразу нельзя... а постепенно, полагаю, можно: прибравши в руки как следует власть, и этого немца спровадить можно.

– Да власть-то тебе забрать не придётся, при его наветах. Ты знай, что он поймёт с первого же шага твою игру и примет свои меры. Головкин пробовал столкнуть его, да не смог!

– Если Головкин, как ты говоришь, Пётр Павлыч, пробовал при лучших обстоятельствах, то теперь и подавно не придётся, – ответил Дивиер. – Шурин мой ему поручает воспитание внука её императорского величества... и теперь его садят в совет.

– Вот, первое дело, и надо нам не допустить Остермана быть воспитателем, – сказал князь Василий Владимирович Долгоруков. – И это, я думаю, легче всего удастся, если внушить императрице, что никак нельзя воспитывать государя для русского народа нерусскому... Да и подмётные письма можно пустить по этому поводу. А там пусть Сенат и Синод сделают общее представление и прямо скажут, что её величеству нет выгоды противиться общенародной пользе и общему требованию.

– Я охотно присоединяюсь к этому мнению князя Василия Владимировича и берусь поддерживать в собраниях наших, по Сенату, этот дух, да и в Синоде могу присоветовать призвать к Георгию Дашкову ещё других русских архиереев, которые бы сторонника немцев Феофана в свою очередь скрутили понадежнее...

– Это само собой, а ещё лучше для усиления русского влияния в делах в это царствование – восстановить патриаршество, в лице русского... Тогда Георгия, например, можно в патриархи, – высказался Скорняков-Писарев.

Этот вывод всех поразил и заставил задуматься.

– Только восстановить патриарха надо без прошлой страшной силы, какая была при Филарете. В светские дела правительства пусть он не суется, а тогда только высказывает мнение, когда его спросят. А по владению монастырскими вотчинами мы сообща поставим управителей – стряпчих; он – со своей стороны, мы – со своей; игумнам же, архимандритам и архиереям в имущество и владенье им не вступаться. Им на содержание всем можно назначить достаточно...

– И я так же думаю! – воскликнул граф Мусин-Пушкин, прибавив с самодовольством: – Мы уж кое-какой завели, кажется, порядок... чернецы уже попривыкли к надзору... потакать им нечего...

– Н-ну! Коли патриарха-то поставите вновь, он, чего доброго, и упираться станет, где представится возможность, – заметил как бы вскользь Шафиров, поглядев на Мусина воспросительно.

Вместо него ответил Толстой:

– Я не стою за патриарха, но, думаю, обуздать его можно будет, когда

он один с нами будет сидеть в совете и крепить своею рукою определения... Тогда только Синод следует подчинить совету, как и Сенат.

– Да согласятся ли сенаторы-то стать из правителей полноправных в подчинённые совету? Тут выйдет немалая рознь и пререкания, – заметил Шафиров.

– Конечно, своей волей они этим правом в пользу совета не поступятся, так же как и синодские; нужно властью государыни установить это подчиненье. Сенат надо разделить на коллегии и к коллегиям расписать по сенатору или по два, – также и духовное управление, разделить на департаменты. Кому придётся в котором сидеть, тот за ход дела и отвечает, как президент или вице-президент коллегии. А не то – быть синодским и сенатским членам относительно выполнения предписаний совета как членам коллежским: и самим дело вести, и ревизии подвергаться, и отчёты подавать... всё как следует.

– Важно бы всё это, конечно, граф Пётр Андреевич, что говорить... только трудное это дело! – сказал Мусин. – Особенно при женской руке, коли оставить ей вожжи держать, а махину эту в ход пустить. Тут со всех сторон начнутся подкопы под вас, воротил, и удержаться вам будет очень трудно. Скатитесь.

– Всех не скатят. На место скаченного другой явится, а опасность потерять место заставит усидевших плотнее соединиться... действовать заодно...

– Да, найдёшь ты у наших бояр единодушие, держи карман... Коли кого скатят, на его место десять примутся ухаживать, торгуя совестью. И для удержки у тех же немцев придётся помощи просить, – выговорил не без самодовольства Скорняков-Писарев.

Настала новая, довольно продолжительная пауза. Прервал её опять Толстой, вопросом Скорнякову:

– Скажи, однако, Григорий Григорьич, что это тебе дались одни немцы да немцы? Почему это ты без их участия не допускаешь у нас ничего путного и с чего это ты думаешь, что они могут быть поддержкою, а мы

сами друг друга способны только съедать и продавать? Другой со стороны, не зная тебя, невольно ведь подумает, что ты словно подослан им нам навязывать да выхвалять их содействие.

Скорняков обиделся.

На остальных присутствующих это пререкание произвело неприятное впечатление.

К счастью, Шафирову удалось прекратить распрю. Обратившись к Григорию Григорьевичу, он сказал ему:

– В моём деле ты оказал такую же медвежью услугу сразу нескольким. О себе я не говорю... Вину свою признаю и не отпирался от неё. Но её бы не было без твоей подслужливости Сашке Меньшикову. Ведь и ему ты теперь не верен, находясь между нами. Стоило ли губить тебе меня за мнимую вину мою, когда я заботился, по родству, чтобы брату дали заслуженное? Я на тебя не гневаюсь за прошлое, но прошу тебя дружески пожалеть сколько-нибудь нас и не продолжать больше ничего такого, что может тебе представиться годным для отомщенья за свою мнимую обиду, когда здесь ты один и есть зачинщик.

Тон сказанного Шафировым был самый дружелюбный и миролюбивый, так что Скорняков, совсем усмирившись, тихим голосом продолжал:

– Прости меня: кругом виноват... Никто бы так не вразумил меня в вине моей, как ты, Пётр Павлыч... – И затем, обратившись к другим, прибавил:

– Простите, господа честные...

Когда все успокоились, князь Долгоруков заметил шутя:

– Дальше Сената – в качестве правления дел сообща по коллегии – такого горячку, как Скорняков, и садить нельзя...

– Я того же мнения, – вступил Дивиер. – Насколько, господа енералы, удалось мне понять из сказанного, нас, сенаторов, вы думаете засадить за слушанье текущих дел – не более. И в этом я нахожу, при второстепенной роли Сената, пожалуй, самое подходящее отправление. Думаю, что если мне удалось кое-что сделать не совсем дурное по заведованию порядком в столице, это именно потому, что отдавался делу с охотою и вникал в него. Поэтому за разделение дел я готов стоять

убеждением в проке, могущем от того быть. Особенно когда видишь, с каким малым вниманием слушаются дела в общем-то присутствии Сената... Каждый надеется услышать мнение другого и, надеясь, ленится вникнуть сам. А если отвечать за решение придётся самому судье-докладчику, так и иначе возьмёшься за него, и не раз прочитаешь да сообразишь: как бы и так, и так повернуть, не лучше ли выйдет? Вот, к примеру сказать, простое дело – данные на землю! К чему бы они? Благо есть что давать! А вот с тех пор, как начал я выдавать их, сколько уж открывается споров, с которыми ещё покуда можно разобраться; а если запустить год-другой, то и выйдет путаница. То же и с сенатскими решениями.

– Я так и знал, что из тебя и сенатор выйдет каких много, – поддержал Шафиров генерал-полицеймейстера. – Человек как ты, Антон Мануилыч, всюду будет пользу приносить. А что касается до твоего прямого художества – это, конечно, исполняемая тобою должность генерал-полицеймейстера! Тут уж никто тебя не заменит, говорю тебе истинную правду, не думая нисколько льстить.

– Очень благодарен тебе, Пётр Павлыч, но, к несчастью, далеко не все умные люди так думают, как ты! Вот мой светлейший шурин не признает за мной никакой заслуги и идёт против всякой предлагаемой мною меры.

– У светлейшего шурина твоего, – сказал князь Долгоруков, – Антон Мануилович, свои расчёты. Он боится, чтобы ты ему ножку не подставил.

– При настоящей владычице нашей ему нечего бояться такой напасти. Всех, кто перегонит его на шаг, он столкнёт с дороги.

– Так, конечно, выходит! – озирая гостей своих, решил Толстой. – Плетью обуха не перешибёшь... надо посмотреть, да побольше присмотреться к тому, как пойдут дела с советом. А теперь довольно морить нам себя толками о делах... И вправду иной думает, что мы собрались ковы строить другим, а не провести сами приятно время, свидевшись так кстати.

– И в разговорах приятно время делить, – заметил серьёзный Шафиров.

– А лучше пить да потчевать друг друга! Утро вечера мудренее! –

отшутился хозяин, завидев показавшийся в растворённых дверях поднос с наливками и закусками. Поднос был поставлен на середину стола, и хозяин ласково произнёс, встав и поклонясь в пояс:

– Милости просим, не обессудьте, братцы. Берите чарки сами... Холопов долго я не терплю в своём кружке, за разносом...

И началась непринуждённая пирушка с чоканьем, шутками и песнями, кончившаяся за полночь.

Светлейший князь счастливо покончил свои разъезды и воротился совершенно успокоенный. В Почепе он сам пересмотрел все собранные у управителя грамотки и записки, на которые как на улики указывал доноситель противник. Взяв с собою самые опасные, князь сжёг остальные и проехал по рубежу, разыгрывая роль попечительного о государстве военного администратора. Появление его светлости в Риге наделало толков, но все вестовщики гнули в сторону совершенно противоположную истинным побуждениям и планам герцога Ингрии. Ближе к истине был только Пётр Михайлович Бестужев, и он высказал свои опасения герцогине Курляндской. Но на этот раз дело обошлось благополучно, и на другой день получилось известие, что князь уехал на Псков, а оттуда в Петербург, где его не ожидали так скоро.

– Слышал, что наш чудотвор, светлейший, дома уж и завтра нас соберут в совет? – молвил, входя к Мусину-Пушкину, граф Пётр Андреевич Толстой.

– Нет, а видел Макарова... летит сломя голову, никого, надо полагать, не видит и под собой земли не слышит. Ну, думаю, не воротился ли?

– Отгадал... А меня так изумил сам странник. Благоволил он своею высокой персоной ко мне прикатить. Да с чем бы ты подумал? С повинной! Как завидел меня, так прямо и кричит: "На мировую идём! Полно нам с тобой щетиниться... не та пора!" Я не мог прийти в себя от удивления. Протираю глаза: не грежу ли, что он сам руку протягивает. Спрашиваю: "Что с тобой, князь?" "Не насмехаюсь, – говорит, – а воистину прошу забыть прошлое и помириться. Мы ссоримся, а дела стоят... везде неурядица... Полячишки дерзость берут больше; немцы –

ещё того пуще... Коли оскорбил – готов удовлетворение дать, только не суди обо мне превратно: не самовластвовать я хочу, а хочу разумного дела да толку. В совете тебе я, – говорит, – готов первенство дать, только стой ты за наше, русское, а не за немецкое дело. Меня обносил Головкин на свадьбе, что я заговорил о заступлении государыни за Голштинию, а теперь сам с голштинцами шушукает и ладит, как бы и второго зятя навязать государыне, чтобы плотнее скрутить нас, русских людей". Я, знаешь, вытаращил глаза на Сашку, думаю: не рехнулся ли он? Он заметил моё недоверие и говорит: "Я тебе словно повесть несбыточную рассказываю – так ты глядишь на меня. Завтра услышишь в совете... Убедишься, что я добра желаю и на тебя надеюсь... А теперь прощай". Опять протянул руку, и я невольно дал ему свою. Что-то, видно, впрямь сладили наши приятные люди, господа голштинцы. Уж ни с того ни с сего Меньшиков бы не полез ко мне мириться?

– Дивное дело! – в раздумье молвил Мусин-Пушкин. – Смотри, Петруха, не с подвохом ли только Сашка комедию таку перед тобой отломал? Он ведь величайший хитрец и сыграть в друзья и в раскаянье ему ничего не стоит!

Толстой насмешливо улыбнулся и ответил:

– Провести нас, как сам ты ведаешь, нелегко. А не только я, но и Фома неверующий поверил бы, что, стало быть, Меньшикову теперь большая нужда во мне, если он, не глядя ни на что, предлагает стоять вместе за то самое, что я и без него стал бы поддерживать. Он ведь не навязывался мне в дружбу и мелким бесом не увивался около меня, как делают все надувалы. Высказал и ушёл. Просил только подумать. Да недолго и думать придётся: завтра ведь узнаю всё доподлинно... Одно из двух: или Сашка совсем с ума спятил, или он говорил мне всю истинную правду, зная, что за родное я готов стоять, не разбирая, кто союзник мне: друг или враг. Подумай, однако, что я вам говорил – помнишь, как просил к себе? – про затеи Голштинского? Как приехал Меньшиков да увидел, что без него сделано, так и бросился ко мне, видя, что времени мало для расстройства подвоха.

– Как ты-то баешь, ладно выходит, и я тотчас всё припомнил. Сдаётся, ты прав! И Сашка – молодец! Спасибо ему, что за своё стоит. Сильны, иначе, и те-то, коли заставили его в тебе искать поддержки. Вот и узнай тогда, кто враг, кто друг? Дай Бог, чтобы у вас с Меньшиковым дело пошло на пользу всем. А если он вздумал тебя провести, в издёвку пускаясь, тогда что?

– Тогда я уже непримиримый враг... либо мне, либо ему... Беру тебя, граф Иван Алексеич, в свидетели и считаю таким союзником, который не побоится и сладкое распивать вместе, и горькое делить по-братски. Увижу, что надул Сашка, – с ним больше ни полслова никому из нас. Одна тогда нам дорога – топить его, не свёртываясь и не щадя себя... Пощады от изверга нечего ждать, разумеется...

– Я, граф Пётр Андреич, так же как и ты, пожил довольно на свете. Коли впрямь Меньшиков хочет стоять за своих верно и честно – готов последние силы не щадить, идя с ним заодно. Если же нет, то заодно с тобой будем стараться его стереть; не удастся – что Бог даст, то и будет...

Оба друга были сильно растроганы; но пришёл сын Мусина, и прерванный разговор не возобновился. Подошли гости, и началось обыкновенное каляканье, а через час Толстой, жалуясь на боль в пояснице, распростился с приятелями. Вскоре стали расходиться и гости. Простившись с ними, Мусин-Пушкин отправился в опочивальню, но долго не мог заснуть, волнуемый мыслями о завтрашнем дне.

Такие же заботы отгоняли сон и от светлейшего.

– Посмотрим, что они намерены на первый случай потребовать, – говорил он жене. – Я виделся с Елизаветой Петровной и сам нарочно её спросил: "Как находите, ваше высочество, своего будущего супруга?" "Какого такого?" – ответила она со своим обычным смехом. "Принца Карла, – говорю. – Ваш зятьёк решил непременно справить вашу свадьбу по весне, вероятно, заручившись высоким согласием вашим?" "Оставьте, князь, пустяки эти... Этого противного Карла я видеть не могу, как и самого Фридриха... Я уж маменьке говорила, чтобы не поминала мне про этот союз. Довольно, что Аннушка грустит со своим ненаглядным". Такое

её решение нам на руку! Вот мы и посмотрим, как поможет голштинцам Головкин. А я уж знаю, что и как делать с курляндчиками. В Ригу мне из Митавы вызывали одного нужного человека. Он при Анне Ивановне, хотя не на видном месте, да всё знает и способен всё поворотить куда захочет. Сторговались сносно. По шестисот талеров в год да десяток гаков в Лифляндии, по соседству с курляндской границей. Да и то тогда, когда всё справит, что я наказал. А малый ловкий и на всё горазд! Бестужева не хвалит и советует его паче всех опасаться. "Всего бы, – говорит, – удобнее его совсем в Питер удержать". Тогда махину подвести берётся, а при нём не обещается: "Очень, – говорит, – Пётр Михайлыч глазаст, и оторвать его от вдовы, по собственному желанию, ни за что не удастся". А с ней я и видеться не хотел. Одно дело – спешил, а другое дело – боялся проболтаться, да и незачем. Что она думает – это мы знаем, а что предпринимать намеревается – тоже узнаем. Вот уж прислал друг сердечный и первое извещение, что Анна Ивановна сюда едет. Прибудет её высочество в самое выгодное для нас время, пока ершиться станут голштинцы и делать ей предложение: отказаться от мужнина наследства. Она, разумеется, будет некаться, а они сильнее настаивать. Я разыграю здесь её друга и покровителя, расстанемся мы друзьями. В Митаву же я нагряну, как получу от приятеля успокоительные и покладные на нашу руку вести. А не то, может быть, и так смастерим. Здесь её высочество встретим и уверим, что для полного укрепления её прав мы войско введём. Сами туда – шась и, пользуясь страхом безмозглых курляндчиков, договоримся с ними начистоту: берите нас, и всё будет спокойно, и нечего вам бояться!

– Смотри, Саша, не ошибись! Теперь особенно, друг мой, не время тебе на даль глаза пялить, когда у самого под ногами колышется, чего доброго...

– Не беспокойся... Приём, который нам сделан, даёт надежду, что короткие отъезды выправляют прекрасно наши дела и роняют друзей наших наповал. Когда я ехал назад, правда, думал и задумывался даже: что-то здесь встретит? Приехал – и отлегло от сердца. Верно, и впрямь я

в сорочке родился!

– Смотри, Саша, не съешь блин непомащенный! Как ты станешь заноситься, веришь, на меня такая грусть находит, что я просто сама делаюсь не своя. Ни с того ни с сего защежит-защежит сердце, голова закружится; я холодею и сил лишаюсь.

– Ты просто-напросто больна. Ужо я Блументроста на тебя напущу. Смотри, пей у меня всё, что пропишет... шутить нечего головой...

– Да я знаю, в чём болезнь моя. Ей лекарства не дадут облегчения. Болит в сердце, друг мой, хочет ретивое вырваться, так бьётся и трепещет...

– Вестимо, болезнь... что ты мне ни рассказывай! Ни с того ни с сего вещун, как называют бабы, без порчи не приходит, и люди умные говорят: не порча то, а боль; и врачевание отыщется у искусного лекаря, хоша бы и позапущено было... Всё же облегчение даст архиятер, коли наш Шульц не смыслит. Непременно завтра же пошлю за Блументростом!

– Оставь, пожалуйста, говорю тебе; недуг у меня в сердце. Коли не любила бы я тебя, не мучилась бы, слыша, как вороги подкапываются.

– Всё пустяки... Видела, что Сапега уж хвост поджигает. А Левенвольд сам заискивает, да я ещё не гораздо смотрю. Проучить надо. Головкину я уже шиш показал, подняв немца Остермана. С ним и за его спиной спать я могу спокойно: усерден и честен... а уж как дело знает! Первый человек – коли придётся отписываться. Умница и как покорён, почтителен, сама ведь ты знаешь, что тут говорить...

– А мне эта угодливость, Саша, веришь ли, очень подозрительна. Вспомни, что так же он ухаживал, недавно ещё, за Головкиным и за Брюсом... да и провёл того и другого... А Яков Вилимыч попрозорливее тебя, Саша, не обижайся за правду... очень тонкий человек!

– Так уж тонок, что я его, для лучшего покою своего, держу всё подальше от Самой... Краснобай! С ним, конечно, я круто не поверну. Фельдмаршалом сделаем – только в отставку. Пусть учёный человек в книгу глядит да хлебец жуёт на старости. Всё ведь получил!

– Какой же у тебя смешной расчёт, прости меня, Саша, своего немца московского не пускаешь, а недавно ещё говаривал не раз, что он сделает всё, что ни прикажешь. А теперь за хитреца хватаешься, что сам, того и гляди, тебя продаст... ведь так?

– Он не дурак, поверь мне, Даша! Что же ему за расчёт за малость продавать меня, когда я могу дать больше, чем враги мои?

Тут князь объяснил жене, что Остерман не может держаться Головкина, потому что сыновья последнего воспитаны для дипломатического поприща и ототрут Андрея Ивановича.

– Да и в зятя, – сказал светлейший в заключение, – взял Головкин Павлушку, который тоже норovit как бы послом сесть куда. А мне служить Остерман будет верно – я его воспитателем будущего царя сделаю. Передать материно наследство в дочерние или, вернее сказать, в зятнины руки нам не барыш. А из ребёнка коли вырастим царя – можно при нём долго держаться и всем править. Да и ученье можно в таком духе вести – говорит Остерман. Ну, и будут нужных людей держаться, да и то тех только, которых я допущу. А править и при бабушке, и при внучке мы, надеюсь, будем одинаково!

Княгиня Дарья Михайловна тяжело вздохнула.

– Что же, ты думаешь, не так, что ли? – молвил супруг, несколько недовольный недоверчивостью жены.

– Хорошо, как бы всё так было ладно, как ты рассказываешь... А ещё того лучше, если бы оставили нас под старость в чести да в довольстве хоть век кончить, – с каким-то горьким предчувствием тихо выговорила княгиня.

– Зачем же так? Я ещё имею в виду одно дельце! Такое, что покроет все наши протори и убытки и закрепит в наших руках власть.

– Пожалуйста, не пускайся очертя голову в опасность! Подумай, что ты не один... что есть у тебя – я и дети, которых должны мы пристроить...

– Об этом я более всего и думаю. Это одно и имею в виду, паче всего...

– Однако как же и кого из детей ты думаешь пристраивать? Поведай, друг мой, мне по крайности, как матери!

– Изволь... Почему не поведать? Тебе открыты все мои виды и мысли. Думаю я пристроить нашу Машу...

И Меньшиков рассказал о своём плане выдать дочь за царевича, объяснив при этом, что сын Сапеги намерен жениться на племяннице императрицы – Софье Скавронской. План этот не только не встретил одобрения княгини, но вызвал на лице её мрачную думу. Но, зная, что спорить с мужем в такие моменты, когда он заносился, бесполезно, – она только вздохнула и легла спать.

VII КОАЛИЦИЯ

Наступило 8 февраля 1726 года.

В парадных комнатах Зимнего дворца раньше обыкновенного началась суетня. С бархатной мебели в большой зале сняли чехлы и стряхнули пыль, хотя не густо лежавшую, но успевшую-таки насесть и под полотном, со дня последнего бала. За час до полудня уже прохаживались по соседним авансалам голштинские придворные. Они с чего-то напустили на себя такую же важность, как перед наступлением дня бракосочетания герцога их Карла-Фридриха, в минувшем году. Между ними на короткое время показался младший Левенвольд, но скоро исчез, очень искусно юркнув в коридорчик, шедший вдоль дворцового двора. По этому коридорчику он долетел до половины августейших внучат государыни и нашёл в приёмной великого князя троих князей Долгоруковых. Из этих особ Левенвольд знал только князя Василия Лукича, но совсем не знал двоюродного его брата, генерала Василия Владимировича, и ещё молодого красавца, которого оба брата Долгоруковы – знакомый и незнакомый Левенвольду – называли запросто Ваня.

К этому Ване, как видно, был очень милостив великий князь.

– Так ты говоришь, князь Василий Лукич, что бабушке сегодня не до нас и не до наших поздравлений "с добрым утром"?

– Нет, ваше высочество, о вашем личном засвидетельствовании почтения августейшей бабушке я не смею ничего сказать и докладываю

вам почтительно только то, что в полдень её величество, как говорят, изволит открыть новое, небывалое доселе учреждение – Верховный тайный совет.

– Что же это такое за Верховный тайный совет? – спросил великий князь, обращаясь к объявившему ему об этом Долгорукову.

– Нечто вроде старинной боярской думы, я полагаю, где обсуждались государственные мероприятия и законы... равно принимались меры по случаю всякого рода неожиданных положений: наряды на посольства и съезды; суждения о мире и войне; новые правила для сборов и раскладок со всего государства; средства защиты и меры для развития торговли; назначение новых лиц правительственных...

– Довольно, довольно... эх ты сколько наговорил! Думаешь, что я так всё и запомню. Ошибаешься, князь Василий. Ты, братец, коли хочешь нас вразумить, так одно или два, не больше, дела сказал бы, да потолковитее. Ведь мы ещё недалеко премудрости-то книжной хлебнули. Не походи, пожалуйста, будь друг, на Андрея Остермана, что назначен при нас состоять в качестве помощника светлейшего. Уж ничего не видя, страх надоел мне. Всё не по нём, вишь, у нас делается. Не так я сижу, не так хожу... не так говорю... не умею голову прямо держать...

– Я, ваше высочество, нисколько не думал уподобляться или сравнивать себя с вашим надзирателем, и не смею думать, чтобы у меня хватило для того довольно учёности. А на спрос ваш, государь, что припоминал, то и говорил... И полагал я, что это надобно вам ведать, потому что, взросши, сами изволите заседать в сём Верховном совете...

– Что же я делать-то там буду? – спросил великий князь.

– Слушать дела и подписывать общие решения...

– А если я не буду согласен с ними, тогда что?

– Изволите ваши доводы несогласия объявить.

– А другие тоже?

– Точно так.

– Стало быть, впрямь хотят разумно дело вершить, а не как-нибудь, как бывало в обычае?

– Вершить дела, государь, – начал князь Василий Лукич, – всегда стараются по существу, уж кто prepares дело к слушанию в Сенате, выведет все выгоды или невыгоды, правды или неправды, оправдывая и защищая невинного.

– А мне так вот он говорит, – сказал великий князь, указывая на Ваню, – что разве одно дело из ста вершат по разуму и по совести... а все остальные – по взяткам...

– Я думаю не так, ваше высочество, – ответил князь Василий Владимирович. – Ване в этом можете не поверить. Он, верно, слышал такие речи, а доподлинно не знает, потому что не обращался с делами сам.

– А ты-то, князь Василий, много обращался? – молвил со злостью Ваня.

– Ты на меня бельмы-то не тараци так, а коли поправляют – прими с благодарностью! – оборвал князь Василий Владимирович, и юноша, сконфуженный, потерялся. Но великий князь, потрепав его по плечу, прибавил:

– Ничего, до свадьбы заживёт... ведь не чужой пожурил... и за дело... Не ври!

Левенвольд невольно улыбнулся, и, когда взгляд его встретился со взором Вани, в нём барон вычитал ужасную злость и жажду мщения.

– Волчонок совсем! – подумал он про себя и поворотил голову в сторону входной двери, из-за которой показались барон Остерман и светлейший князь Меньшиков.

На этот раз великий князь бросился к главному воспитателю очень дружелюбно; обнял его и получил покровительственный поцелуй. Остерман тоже, поцеловав сперва руку своего воспитанника, принял от него, казалось с большим чувством, поцелуй. Князя Долгоруковы вежливо раскланялись с светлейшим, и сконфуженный юноша очень ловко ускользнул за спины дядей и, стоя между ними, отвешивал Меньшикову, не заметившему его, усердные поклоны, один другого ниже, пока случайно брошенный светлейшим взгляд не открыл усердие его, вызвавшее на уста герцога Ингрии покровительственную улыбку.

– Это, кажется, наш новый камер-юнкер? – осведомился светлейший у князя Василия Лукича.

– Точно так, ваша светлость, Алексеев сынок, Иван...

– Он у вас, кажется, приучен к почтительности. Это хорошо. Так и следует. Что он у вас?

– Покуда юнкером. А хотелось бы, коли милость будет, хоша к великому князю в штат пристроить, – ответил князь Василий Владимирович.

– Пожалуй. Вежливых молодых людей у нас не так много, а при великом князе тем паче. Народ не такой, как следует. – И сам посмотрел на Маврина и Зейкина совсем не благосклонно.

Те невольню потупились. Василий Владимирович и Василий Лукич, оба разом, низко поклонились светлейшему и в один голос молвили:

– Не оставьте, ваша светлость, милостями вашими нашего недоросля.

– Ладно, ладно. Пусть здесь остаётся. Мы соизволяем.

Остерман что-то хотел сказать, как вошёл Балакирев и доложил:

– Государыня просит пожаловать в совет.

– Уж встала?! И немцы налицо? – спросил Меньшиков, как-то довольно странно протянув последние слова. В голосе его слышалось презрение.

– Её величество изволили сесть и по правую руку посадить его высочество герцога Голштинского с супругою, по левую – цесаревну; а там – все прочие... Вашей светлости место в замке оставлено, против её величества.

Меньшиков повернулся и стремительно вышел. За ним последовал Остерман.

В коридоре он спросил Меньшикова:

– Молодой князь Долгоруков был хорошо рекомендован уже вашей светлости... прежде?

– Нет, я его теперь только рассмотрел. Почтительный детина. А у нас все грубияны.

– Не мешало бы, если новый человек, попристальнее и потщательнее рассмотреть его... А то... при великом князе...

– Думаешь, в родню свою? Смотри же за ним! Конечно, от Долгоруковых

мне ожидать многого не приходится. Вот и он мне говорил, указав на Балакирева, о котором-то, что пробовал уже мальчика против нас настраивать.

– Так не изволите ли дать покуда другое назначение юнкеру Долгорукову? – ещё задал вопрос Остерман.

Светлейший принял эту назойливость за желание себя учить и брюзгливо ответил:

– Знаешь, Андрей Иванович, я немцев вообще люблю таких, которые дело своё отправляют всё как следует... а в наши дела соваться я и русским близким не даю. Ты хороший человек, а применяться к нашему норову не горазд.

– Здесь, ваша светлость, собственный интерес вашей милости заключается в окружении августейшего питомца только преданными вам людьми...

– Конечно... Спасибо за наставление. Почему не так? Только дай мне самому также к нему присмотреться. Вас, немцев, много теперь в голштинской шайке, и про тебя самого мне говорили, что ты и туда и сюда норовишь. Стало быть, с русскими родовитыми ладить мне ещё больше нужно...

Возражать на это Остерману было некогда, потому что они дошли до дверей залы, где собраны были члены Верховного совета.

Когда началось заседание, генерал-адмирал прочитал рапорт о состоянии флота, закончив перечислением наличности судов, годных для службы, да требованием средств на укомплектование команд и снабжение орудиями галер, готовых почти, на штапелях.

Требование генерал-адмирала принял к сердцу герцог Голштинский и стал что-то говорить вполголоса её величеству на немецком языке.

Головкин, сидевший подле цесаревны Елизаветы Петровны, пока продолжалась речь герцога, тихо сказал генерал-адмиралу:

– Верить вам мы вполне готовы, но для того, чтобы обсудить в полной мере необходимость держать нам такую, постоянно прибывающую, морскую силу, надо бы было, чтобы вас поддерживали ещё голос или

два. Покойный государь сам был моряк и мог лично судить, что ему требовалось, а теперь в совете рассуждать некому, кроме вас.

– И мы в морском деле смекаем кое-что, коли в морские чины производились и морскими силами командовали перед врагом, – заметил, тоже негромко, князь Меншиков.

– Говорите же, князь, какое ваше мнение? – спросила цесаревна Анна Петровна, очевидно желавшая найти какую-нибудь поддержку своему супругу.

Для него же вопрос о флоте, в видах содействия возвращению прав Голштинии, был теперь вопросом первой важности.

– Моё мнение, ваше высочество, буде изволите желать слышать его, одинаковое с генерал-адмиралом. А если господину канцлеру не кажется важным флот, то это потому, что на море он никогда не бывал и фрегата от шкуны не отличил бы, если бы не разная величина их.

Канцлер проглотил эту пилюлю, но не хотел совсем остаться в долгу:

– Я знания своего в морской части не объявляю, а думаю только, что один или два члена, знающие морское дело, кроме генерал-фельдмаршала и адмирала, в совете были бы не лишние, когда, кроме двоих, все мы тут ничего не смыслим. Приращение флота как военной силы идёт в государствах об руку с сухопутными силами и, не ожидая близкой войны, не делается... с одной стороны, чтобы соседей не тревожить, а с другой, при сокращении подушного сбора содержать и настоящие силы трудно. С военной силой рядом идёт и застройка крепостей...

– Я обзрел все крепости, пограничные с Речью Посполитой, и могу заявить, что гарнизоны следует немедленно пополнить, а к Курляндскому герцогству надлежит подвинуть ещё другой корпус, по зимнему пути, на всякий случай...

– Ваше величество! – не выдержал канцлер. – Господин генерал-фельдмаршал сейчас в совете заявляет даже о движении войск к границам; позвольте же узнать: с кем мы в войне находиться будем? Иностранной коллегии ничего подобного не дано знать, а нужда, стало

быть, требует ведать, как и что сообщать послам дружественных держав...

– Никакого сообщения не следует делать, ваше величество, – тоже возвысив голос, ответил Меньшиков. – К чему господину канцлеру нужны оповещения наших внутренних распорядков?!

– Не нушно... не нушно... – с непривычною живостью поддержал герцог Голштинский Карл-Фридрих... – И сили, на всякий слюдшай, долынно имметь... сстес...

Канцлер поник головою.

– Конечно, нужно всегда иметь под рукою готовое войско, тем паче когда теперь требуется заранее сделать распределение сил и средств снабжения провиантом, – поддержал Толстой. – Это и без войны необходимо. И приходится скорее послать корпус, не мешкая, на Кавказ... чтобы не потерять плодов войны с Персиею, ведённой покойным государем. Господин канцлер, я надеюсь, не изволит похулить нашего объявления? Для внутреннего порядка нужно иметь достаточно войска... тоже...

Головкин из-под ресниц поглядел на Толстого сперва подозрительно, но, должно быть, успокоился, получив от него взгляд, говоривший: "Не беспокойся... эта пуля не в пользу Голштинии!.."

– Положение дел на юге, – начал теперь говорить довольно чисто, хотя и с заметным немецким акцентом, Остерман, – действительно таково, что требует вовремя снабжения персидского корпуса людьми в достаточном числе, а главное – выбора хорошего, опытного генерала, который умел бы и недостаток численности заменить разумною предприимчивостью. Самым подходящим вождём при персидском корпусе оказывается князь Василий Владимирович Долгоруков – умный, опытный, находчивый.

– Я против этого ничего не имею... Можно послать и его, – молвила государыня.

Головкин подумал, что испугавшее его вначале предположение о войне в Европе кануло в Лету; но он ошибся. Остерман, почтительно поклонившись её величеству, как бы своим решением поощрившей его

для продолжения заявлений, взглянул на герцога Голштинского, не спускавшего с него глаз, и продолжал:

– Но... отделив от украинской армии в Персию достаточный деташемент, удобно передвинуть на новое квартирование полки, расположенные в Смоленской, Московской и Псковской провинциях – ближе к Риге и границе, согласно положению дел, усмотренному его светлостью при личном объезде по граничным крепостям, с целью инспектирования оборонительных средств... на всякий случай...

– Передвинуть теперь же, немедленно... не правда ли, мамаша? – поспешила цесаревна Анна Петровна.

Мать ответила ей наклоном головы в знак согласия, прибавив:

– Конечно, князь находит это нужным.

Головкин просто позеленел и, обратившись к герцогу с заметным дрожанием в голосе, ехидно поставил почтительный вопрос:

– Ваше высочество изволите, конечно, находить это нужным в виде угрозы Дании, давнишней союзнице России? Не мешает тогда уже прямо действовать... Ехать светлейшему князю в Лифлянди; по сборе войска посадить его на корабли и переехать прямо в Шлезвиг, без объявления... А там уже объявить. Пришли, мол, и заняли! Коротко и ясно! Ладно ли только так будет? Не поднимутся ли на нас тогда за Данию державы, подписавшие договор в качестве медиатирующей стороны в споре шведско-датском?

– До этого дело, надеюсь, не дойдёт; напрасно господин канцлер так думает! – отозвался Меньшиков. – А от командования – буде воля всемилостивейшей государыни меня на сие изберёт – не отрекаюсь. Нам места в Шлезвиге знакомы... Но, я полагаю, передвижения сил своих, хотя бы и ближе к берегу восточного моря, сделать никто нам не помешает! И можно указать господину канцлеру множество предлогов достаточных, буде его превосходительство отказывается их изобрести, по ходу дела, для объявления сильно затронутым в деле державам...

– Да, я признаюсь, – ответил Головкин, – не вижу никакого предлога, достаточно сильного, для оправдания в глазах держав наших движений.

Никто после обещания её величества поддерживать голштинские требования не станет верить каким бы ни было нашим отговоркам.

– Да, когда бы мы уже прямо двинулись, согласно вашему совету, господин канцлер? Это – так! Но пока войско наше сосредоточится у Риги – ответ очень разумный есть: в Курляндии беспорядки и... мы не можем допустить, чтобы какая-нибудь другая держава, Франция например, старалась уничтожить права русской принцессы – вдовы, садя в курляндские герцоги своего кандидата. Хотя бы и называли его для вида саксонским принцем...

– Разумеется, предлог законный и ближе всего к русскому сердцу, – поддержал Толстой. – Только не нужно дальше Ревеля флота посылать и перестать высказывать открыто, что второму голштинскому принцу отдаётся вторая русская цесаревна, с островами на Балтийском море в приданое, – вдруг отрезал Пётр Андреевич.

С разными чувствами теперь взглянули на него герцог Голштинский и обе цесаревны. Младшая не удержалась и с хохотом послала ему рукою поцелуй. Императрица взглянула на Меньшикова, и его упорный взгляд, вероятно, подействовал на высказанное решение:

– Мы на второй брак ещё не давали согласия, и всё зависит от воли нашей дочери Лизы, которая нам сказала, что куда идти замуж за Карла она не намерена.

– Тогда, ваше величество, приемлю смелость объявить, что с мнениями, высказанными здесь, в совете, в качестве заведующего иностранными делами я не встречаю разногласия, и относительно поездок светлейшего князя и расквартирования войск около Риги можно во всякое время дать успокоительные объяснения датскому послу и... английскому... не мешает!

– заключил, растягивая умышленно последние слова, канцлер Головкин. Герцог Голштинский и цесаревна Анна Петровна грустно потупились. Толстой ещё вставил:

– До времени можно, я думаю, тоже от объявлений этих воздержаться, чтобы не стеснять нам своих действий. Время объявления само скажется по ходу дел, при рассуждениях в совете...

– Я очень рада, господа, что вы в первое же собрание дошли до соглашения, как и что удобнее делать, – молвила императрица, вставая с места, чтобы уйти.

Все также встали с мест. Герцог Голштинский схватил за руку царственную тещу и с нескрываемым беспокойством произнёс скороговоркою, по-немецки:

- Не оставляйте, мутерхен, нашей бедной Голштинии в жертву!
- Будь покоен! – благосклонно обнадёжила его высочество императрица.
- Работы по флоту и сборы войска будут продолжаться не останавливаясь. Так ведь ты думаешь, князь Александр Данилыч?
- Точно так, ваше величество! – почтительно наклонив голову, ответил светлейший и получил благодарный взгляд Анны Петровны, отправившейся вслед за матерью.

В дверях государыня остановилась и сказала:

- Прошу покорно, господа, с нами отобедать. Я только переоденусь. Александр Данилыч, пошли за Дарьей Михайловной!
- Я успею сам за ней съездить, ваше величество.

И он вышел, а за ним – Остерман. Прочие остались в зале на своих прежних местах за столом.

Толстой сел в стороне и задумался. Старцу представились, один за другим, делавшие предложения и заявления, и он стал глубже вникать в каждое из них, совершенно забыв об окружающих. Долго ли продолжалось это состояние, он не мог определить, и, вероятно, полёт идей увлёк бы его ещё дальше, если бы не Макаров, приглашавший подписать протокол.

- Подписать! А! Изволь... только дай пробежать, что тут у тебя настроено.
- Я записывал всё, что только положили...
- Однако, кажется, не говорено было, чтобы Меньшиков теперь же ехал в Ригу?
- Можно оговорить, буде угодно – "если потребуют дела".
- Этак лучше будет... добавь же.

Макаров присел, дописывая.

– Никаких таких дел оказаться не может, – сделал возражение, в свою очередь прочитав этот же пункт протокола, Головкин.

– А государыня-то уполномочила светлейшего князя продолжать сборы войск! – напомнил Макаров.

– Ну, пожалуй, если так... А что ты, Алексей Васильич, не внёс моего предложения о пополнении совета ещё кем-нибудь из знающих дела, например, морские?

– Отстранили эту надобность молчанием и заявлением светлейшего, что по представлениям генерал-адмирала князь, как адмирал, может судить основательно...

– Мало ли что он! Нашлись бы и лучше знающие дело...

– Из сенаторов нет теперь никого, – смело ответил Макаров, – а не сенаторов нельзя сажать в совет.

– Есть и из сенаторов знающие. Павел Иваныч, например...

– Он совсем не моряк и во флоте ничего не смыслит! – ответил генерал-адмирал.

– Не понимаю, граф Фёдор Матвеич, тебе-то из чего идти против увеличения числа членов этого совета, в котором наших, русских голосов, при разногласиях, всегда будет меньше немцев? Представь ты, что сторону немца Остермана будут держать герцог Голштинский, жена его и, скорее всего, Елизавета Петровна да Меншиков. Всех же нас остальных сосчитай, насколько будет меньше? Как же не надобно, вы говорите, увеличить число русаков в совете?

– Согласен, только... Павел Иваныч едва ли при этом большинстве примкнёт к нашему меньшинству! – ответил умный Апраксин. – Кого другого – пожалуй... Его – нет! За него я не хочу ручаться...

– И я тоже, – выговорил лениво Толстой.

– Кого же бы ты думал, граф Пётр Андреевич? – спросил Головкин, как видно, сильно затронутый за живое невыгодным для него составом членов совета.

– Можно бы посадить: Мусина, Матвеева, Шафирова...

– То есть целый старый Сенат?! Не согласен!

И разговор пресёкся.

Толстой встал и подошёл к окну. Через минуту к нему присоединился собравший все подписи Макаров и тоже начал глядеть на набережную.

– А ведь это Анна Ивановна едет мимо? Прибыла из Митавы! – вдруг с живостью воскликнул кабинет-секретарь.

Все сидевшие поспешили к окну.

– Вот и князь с княгиней поднимаются на берег. Они, верно, встретятся у подъезда с её высочеством! – продолжал высказываться Макаров. Никто ему не отвечает, но на лицах всех является горячее ожидание. Головкин медленно отходит от окна и направляется к приёмной.

Слышнее раздаются голоса. Члены совета тоже выходят в приёмную.

Балакирев, смотря из окна приёмной, раньше Макарова заметил приближение герцогини Курляндской и поспешил доложить её величеству.

В то же мгновение, когда приезжая герцогиня вступила с князем и княгиней Меншиковыми из входных дверей в переднюю, из своей приёмной вышла императрица, переодетая к обеду, в полном параде и малой короне.

– Государыня, тётушка-матушка, как ваше величество Бог милует! – подходя к руке её величества, приветствовала монархиню племянница.

– Здравствуй, Аннушка... очень нас обрадовала своим посещением! – с поцелуем молвила Екатерина I. – Бог тебя любит, душа моя! Примета есть – прямо к обеду... Пойдём в столовую.

Обед кончился, когда уже смеркалось, и из-за стола все вышли утомлённые, а Макаров и герцог Карл-Фридрих – даже более других.

Когда светлейший сходил с лестницы, Балакирев догнал его и доложил вполголоса:

– Ваша светлость, один из придворных герцогини Курляндской просил передать вам письмецо из Митавы; вот оно!

Князь опустил его торопливо в карман.

– А ты покажешь мне этого человека? – спросил светлейший.

– Могу, ваша светлость, привести к вам и представить в доме вашем.

– Жду!.. Пропустят вас тотчас.

Прибыв к себе, светлейший потребовал налицо Шульца и приказал митавское письмо читать прямо по-русски. Вот что услышал князь после обычного формального титула: "Герцогиня решила сама выпросить у государыни разрешение выйти замуж за предлагаемого ей дворянской партией графа Морица Саксонского. Она уже дала слово, и граф должен будет летом приехать в Митаву".

– Ну... стало быть, спешить ещё теперь нечего! – выслушав письмо, сказал князь-супруг жене. – Здесь у нас, Дашенька, сегодня всё сошло как по маслу. Голштинское сватовство Толстой, спасибо ему, прокатил на вороных, мне руки развязаны и силы даны в полное распоряжение. Не Морицу, а Александру, судя по теперешнему, судьба соизволяет, видно, надеть курляндскую корону!

Жена промолчала, думая совсем противное, но не желая тут же разрушать мечтания мужа.

Прошла неделя; за ней другая и третья; вестей новых ниоткуда не было слышно.

На государыню влияние светлейшего было прежним. Герцогиня Анна Ивановна, ласкаемая, правда, и принимаемая с изысканною учтивостью Меншиковым и его супругою, от матушки-тётушки не получила ни прямого, ни косвенного разрешения: пригласить в Митаву жениха. Насчёт выбора супруга племянницы государыня предоставила ей полную волю следовать влечению своего сердца; а насчёт сватовства графа Саксонского постоянно отделялась стереотипною фразою:

– Об этом, душа моя, тебе нужно подумать, и крепко подумать; чтобы не повели тебя вместе с ним ваши дерзкие крамольники.

Вот и весна наступила. Начались прогулки в садах и катанья на шлюпках. Анна Ивановна ни одного дня не проводит в отведённом ей помещении – все по гостям разъезжает. Предупредительность же светлейшей княгини в этом отношении не знает пределов.

– Друг мой сердечный, Дарья Михайловна, – говорит ей доверчивая

герцогиня-вдова, – с тобой матушка-тётушка очень близка; попроси ты, сердце моё, от себя будто, почему она даёт мне все один ответ: надо подождать да подумать?! Потешь меня, сердце моё, разъясни ты ей, что граф Саксонский нашим нисколько не опасен. Человек он умный, добрый и великий воин; он сумеет и моих дерзких курляндцев в муштро поставить.

– Последнее-то пустячное дело, ваше высочество, на подчиненье своей воли не стоит вам из-за того пускаться. Государыня уж рассудила самому Александру Данилычу с войском к вам подойти и непокорных усмирить надёжно. А если душа ваша лежит к тому графу, конечно, тут другая статья.

– Воочию я его не видывала и привязаться особенно к нему не могла, а если персона его писана верно, то он изрядно молодцеват... . – И герцогиня показала портрет Морица княгине Меньшиковой.

Княгиня нашла черты жениха привлекательными и, передавая портрет, одобрительно отозвалась:

– Конечно, конечно. Но, ваше высочество, будьте уверены насчёт нашей с Александром Данилычем полной готовности выполнить всё, что повелите. Летом ведь Александр полки, что в Риге стоят, к вам приведёт, не извольте сомнения иметь на наш счёт.

– Я вам, душа моя, всё говорю, что на сердце у меня, зная хорошо, что всегда я в вас, друзьях моих, всякое покровительство и приязнь находила и нахожу всегда. Только от вас и жду себе счастливой перемены своего вдовьего положения.

– И мы вашему высочеству преданы всей душой.

– Попроси же, ангел мой, супруга и сама исповедай, о чём я просила вас... К сестре я теперь еду обедать, а завтра заеду к вам за ответом.

Распрощались, и герцогиня уехала к сестре.

– Знаешь, Саша, из-за чего Анна Ивановна норовит выйти замуж за Саксонского? – спросила княгиня Дарья Михайловна, будто ненароком придя к мужу, расставшись с герцогиней.

– Затем, что баба в поре. Вдовство ведь наскучило, известно!

– Нет... Как вижу, не отгадать тебе! Она крепко негодует на своих курляндцев и понимает, что, судя по молве о храбрости саксонского графа, он их приведёт в полное повиновение.

– Кто же это тебе сказал такой вздор? Не она ли уж?

– Да... Уж я от неё всю подноготную выпытала. Мы ведь с ней давно в дружбе!

– Поздравляю же с этой дружбой! Нашла она в тебе простушку и провела. Ты у ней правды не узнала, а она всё выведала у тебя.

– Я ведь ей только сказала, что ты летом с полками будешь, а ничуть не обмолвилась, ни одним словом, о твоём намерении.

– Отгадает и по тому, что ты ей высказала. Ума в ней, значит, палата, если умела она тебя уверить, что не привязалась ещё к саксонцу. А сама уж его и в Митаву требует.

– Это ничего ещё... У ней, верь мне, в Митаве есть зазноба. Недаром тебе курляндчик и писал, что Бестужев не нужен.

– Посмотрим, кто из нас прав. Слышанное от тебя заставляет, однако, меня, Даша, крепко задуматься. Вишь куда метнула!

По праву повествователя мы добавим, что, пока шёл этот разговор у мужа с женою, герцогиня успела приехать к сестре, Прасковье Ивановне. У царевны она встретила княгиню Аграфену Петровну Волконскую.

Расцеловавшись с ними, Анна Ивановна со слезами на глазах сказала княгине:

– Друг мой, Груша, ты выиграла заклад. Дарья Михайловна – верная союзница мужа, а он, я в том уверена, замышляет против меня неладное! Она мне три раза повторила, чтобы я ничего не опасалась и не сомневалась ни в чём, когда Александр Меньшиков приведёт войско в Митаву. Он же, и никто другой, и на государыню влияет, что она мне теперь не даёт никакого ответа на спрос о Морице. А сама же и толкует, что выбору сердца моего не хочет делать препятствия.

– Аннушка, смотри, друг сердечный, не ошибись, будто причиною один Меньшиков, что матушка-тётушка хитрить с тобой начинает, – выговорила жившая у сестры царевна Катерина Ивановна. – Не

голштинские ли, смотри, больше тут помеху чинят?! Может, Фридрих не оставил ещё намерения своего на Курляндию, хоть и не удалось сватовство Карла на Елизавете Петровне? Что ты на это скажешь, княгиня Аграфена Петровна?

– Может статья, и так, ваше высочество! Теперь я ничего не могу сказать, потому что за последнее время мало захожу к Самой. Теперь Авдотья Ивановна в ходу у ней. Первая советница... А прежде было так, как я вам писала. А теперь опять ещё что-нибудь новое будет, потому что Сапега уж в немилости, а виднее всех – Бутурлин.

– А каков он... в родню или выродок?

– Что вы хотите этим сказать?

– Падок он на подарки или чванством занят? Бутурлины бывали в старину первые хапалы.

– В родню, в родню!

Последовал общий смех.

– Можете, Пашенька, и ты, Катя, поэтому сблизиться с тещей Бутурлинчика и пообещать на голые зубы сельцо под Москвой, буде ладит мне согласие на союз с Саксонским! – высказала, несколько подумав, Анна Ивановна. – Мне, как вижу, дольше здесь нечего времени терять, а нужно дело делать! Я и за ответом к княгине не заеду. Их затеи явные.

Действительно, вдова герцогиня Курляндская в тот же день выехала к себе.

Прошло затем недели с две, как получил князь Меншиков цидулу из Митавы.

Цидула была всего из четырёх слов: "Невеста и жених виделись".

В ту же ночь сам князь светлейший оставил Петербург, направившись в Курляндию.

Рано утром следующего дня у крыльца Ивана Бутурлина остановилась одноколка Бассевича. Из этого всем знакомого здесь экипажа вышел он сам и взялся с напряжением за тугой молоток, привешенный, по-голландски, у дверей снаружи.

Через минуту послышался шорох и медленно отворилась дверь на крыльцо.

– Дома барин?

– Не встал ещё. Приехал из дворца поздно.

– Когда же видеть можно? Спроси.

– Не смею будить.

– Какая досада! Ну, в полдень, например... мы будем двое либо трое. Предупреди, что нам нужно с ним видеться и ему наше предложение обойдётся не без выгоды... и тебе благодарность. А вот задаток!

В руку слуги опустилась светлая монета.

– Ради стараться для вашей милости. Скажем: с кем изволите заехать?

– С Шафировым и с графом Матвеевым.

– Будем ждать-с.

От Бутурлина одноколка голштинского министра покатила по берегу Большой Невы к Троицкой пристани, на перевоз.

Ял причалил ко второй пристани от угла. Выйдя из яла и ещё подымаясь по ступеням, посетитель увидел в открытое окно хозяина.

– Здравствуй, Пётр Павлыч! Ждал ли гостей так рано?

– Не совсем... а ждал, только не ваше сиятельство, а другого нужного человека, и с приятелем ещё.

– Кого же?

– Дивьера с графом Матвеевым.

– Как нельзя более кстати.

– Как? И тебе они нужны, что ль?

– От тебя к ним сам ехать хотел. По крайней мере к последнему.

– Подожди, так здесь увидишься. Да я надеюсь, и дело одно, чего доброго, у вас с ними? Или по крайней мере по одному поводу с твоим посещением и они соберутся. Хочешь, скажу, что сразу отгадал и повод твоего посещения: уехал!

– Правда, правда! Стало быть, и они смотрят на выезд как на удобное время для действия на кое-кого.

– Конечно!

– Я ведь хочу Матвеева и тебя свезти к Бутурлину.

– Зачем?

– Прямо торговаться. Что возьмёт за выполнение предъявленного требования – остановить полёт нашего летунчика, около Митавы?

– Недурно... Потолкуем. Да вот, кажется, подъезжает и наш генерал-полицеймейстер.

Действительно, Дивиер и Матвеев через минуту причалили к пристани у двора Шафировва, а ещё через минуту все четверо уже дружески держали друг друга за руки.

– Что доставляет нам приятную встречу с вашим сиятельством здесь, в укромной хижине нашего дорогого друга? – спросил Матвеев, пожимая руку Бассевича.

– У нас, я полагаю, один повод видеть Петра Павлыча и принять меры для взаимной поддержки по поводу отъезда общего врага, – ответил, прямо глядя в глаза Дивиеру и Матвееву, Бассевич.

– Вы, значит, вступаете с нами в согласие? Или сами собираетесь действовать на свой страх и от нас потребуете только не мешать вам? – спросил Дивиер.

– Как вам угодно. Я хотел графа Андрея Артамоныча и барона Петра Павлыча взять и ехать к Александру Бутурлину... договориться с ним: что он возьмёт добыть указ, как следует подписанный, повелевающий: захватить светлейшего и передать тому, кого мы пришлём за ним... отсюда...

– Дело важное, но опасное! Указ тут ничего не значит; некому будет исполнить его. Военного начальника такого не найдёшь! – ответил Дивиер.

– Вы не верите, значит, возможности осуществления дела, а сами не прочь действовать заодно, когда общий враг будет взят и привезён?

– Тогда другое дело!

– А вы, господа, как? Едете со мной к Бутурлину?

– Едем все! – был общий ответ.

Шлюпка генерал-полицеймейстера около полудня подвезла четырёх

пассажиров прямо к дому Бутурлина, на Неве.

Ждать не пришлось. Пустили сразу, и хозяин, уже одетый, сам встретил гостей и поклонами ответил на приветствие каждого, пропуская в повалушу. Посредине её, у лавок, был стол, уже накрытый и уставленный закусками.

– Милости просим присесть, господа енералы. А коли скажете, и знать будем, чем могу служить вашим милостям? – спросил хозяин усевшихся гостей.

– Александр Борисович, – заговорил прямо Бассевич, – ты теперь в случае... не скрывайся; единственная помеха прочности твоего положения – светлейший. В ночь он уехал в Курляндию и там будет принуждать дворян себя выбрать в герцоги. Значит, изменяет российскому престолу, действуя к ущербу его прерогатив на эту страну, в лице вдовствующей герцогини. Вот указец: "Князя Александра Меншикова, преступившего присягу богопротивными и нам зело вредительными намерениями, повелеваем схватить и передать подателю сего нашего указа, без всякого мотчанья и сумнений и дать достаточный эскорт для сопровождения". Нужно добыть подпись, контрастирующую и сообщающую силу этой бумаге! Сколько хочешь ты за подпись? Меншиков и тебе оказывается бревном поперёк дороги...

Бутурлин задумался, но, вероятнее всего, рассчитывал: сколько заломить.

– На первый случай – десять тысяч червонных... а там посмотрим... За подпись я этим согласен удовольствоваться, чтобы моего имени, однако, не было упомянуто!

– Идёт! Господа, будьте порукой, что он не попятится!

Бутурлин взял черновой указ из рук Бассевича, и каждый из его спутников касался рукою своею руки случайного ходатая.

– От кого же я получу обещанное? – спросил Бутурлин Бассевича, когда все приложились.

– От меня!

– Когда вы заедете за указом?

– Пожалуй, вы сами завезёте мне подписанный указ, и в ту же минуту выдам. Кажется, так дело проще.

– Когда же?

– Как успеете, но... не позднее как через неделю. Деньги готовы и сейчас уже.

– Хорошо!

– Прощайте же – жду. Вы, господа, со мной?

– Я, и я также, – ответили Матвеев и Шафиров, – побудем ещё с Александром Борисычем. Мы и без вас были бы у него. Нужно перекинуться двумя-тремя словами... о своём деле.

– Как хотите. А ты, Антон Мануилович?

– Я тоже с ними вместе. Коли нужна моя шляпка, можете на ней ехать и пришлите обратно сюда.

Бассевич распростился и вышел.

– Взятся ты, Александр Борисович, за смелое дело, – заметил Матвеев.

– А что так?

– Да ведь как государыне покажется это самое обвинение светлейшего? Ино не покажется... опалится, тогда что?

– Этого бояться нечего... можно подготовить, подстроить, и сойдёт обвинение ладно... гнев даже возбудить на время удастся. Есть потруднее кое-что...

– Что же ещё потруднее?

– Кто подпишет. Начинаю припоминать... Лизавета Петровна не пойдёт против Сашки Меншикова – первое дело, а второе дело – меня она старается не замечать, когда встречается у государыни. Есть одна надежда. Если так вывезет, ладно будет!

– Каковы намерения ваши, через кого добыть вам подпись, я не знаю, – спокойно сказал Бутурлину Шафиров, – но одно бы должно было заставить вас подумать: предложение со стороны голштинской, да ещё с премией. Им, голштинцам, значит, больше всех мешает Меншиков, и понятно, почему теперь именно они отваживаются на насилие... им надо остановить появление русского хозяйничанья. Императрица, будьте

уверены, не соизволит, потому Анна Петровна и не берётся за дело... А вы суётесь.

– Я в наших же общих выгодах, господа, – изворотился Бутурлин.

– Да! Коли бы это и так... но... трудно, – говорил сам с собою вполголоса Матвеев.

– А я так вам скажу – и указ будет подписан... и пошлётся... да попадёт Меньшикову же в руки, а он сам останется тем же, что и был, – отозвался Дивиер.

– Но, если уж, – высказался Шафиров, – Бассевич вызнал, как захватить Меньшикова, коли даже и указ написан у них, а требуется одна подпись, то, смотрите...

– Что для фельдмаршала эта подпись – будь она и подлинная? Особенно когда он будет при войске? Кто наложит на него руки? Вздор вся эта голштинская затея! И того, кто станет требовать захвата, – первого схватят да к Меньшикову же приведут! Дальше, поверьте, ничего не будет. Тогда с этим указом он воротится и примется за расправу.

– Ну и пусть ведается с голштинцами. Ведь Бассевич не в свою же голову это гнёт?! За ним – герцог и герцогиня. С дочерью что поделать?

– Ну, зятя и дочь он оставит, сперва заставит только выдать участников, – заметил Матвеев.

– А ты что ж, небось, коли станут спрашивать, так прямо и ответишь: я? Известно, станешь говорить: знать не знаю, – совершенно свободно отнёсся Бутурлин к Матвееву.

– А если незнанием-то не удастся отделаться, – тогда что? Нам не в первый раз к Самой прибегать. "Сохраняя верность к вашему величеству, без всяких других побуждений... Меня выдавая – себя выставите..." Н-ну и ничего... И сам он дальше рыться побережётся... А ты не то говори, Александр Борисыч! Соединились мы с тобой раньше голштинского закидыванья невода на щуку зубастую! При неминуемой беде открытия – все станем заодно. У него есть силы, и у нас кое-что: у него есть смекалка; и мы умом-разумом раскинем. Вызов Бассевича важен во всех отношениях. Если бы первый блин и комом сел – гром разразится на

голштинцах, как на зачинщиках. Будут те обороняться или нет, русаки тут ничего не теряют. Да ещё и барышок окажется, чего доброго? Изобретение, может, и не самого Бассевича, как я смекаю... а немца – похитрее его, что Сашка сам тянет на свою голову выше нас поставить. Раскрытие-то поохладит этот пыл, пожалуй да и поотодвинет, коли не оттолкнёт совсем, немца... – Ну так, с общего согласия, друзья, берёмся за дело! Попробуем оборудовать указец. Авось и удастся, – решил Бутурлин. – Запьем же, чтобы по маслу пошло!

И он приказал подать братину.

VIII СЛОМИЛ!

Велика была радость у Бассевича в день получения указа, подписанного именем "Екатерина". Гонец был наготове и, снабжённый деньгами и полномочиями, немедленно отправлен для ареста князя. Два коменданта были готовы распорядиться по смыслу указа, без проверки. Всё казалось предвидено, всё соображено. Одно забыли – маршрут, по которому следовать уполномоченному, чтобы захватить предмет стольких попечений. О нём уполномоченный до самой Риги ни от кого не мог получить известий. А прибыв в Ригу, узнаёт он, что комендант Динамендшанца переведён в Рогервик. Остался один, склонный на их руку. К нему и адресовался доверенный голштинской партии.

Едет на дом к нужному человеку. Нашёл. Спрашивает.

– Здесь... но теперь в Митаве, при светлейшем князе.

– При главной квартире, то есть?

– Д-да!

– Ну, – думает обрадованный посланец, – сама судьба устраивает то, что нам нужно!

Скачет в Митаву. Находит главную квартиру и располагается ждать. Ни слова не говорят. Сидит час, другой. Подходят двое каких-то просителей и тоже усаживаются. Ещё час битый проходит. От нечего делать приезжий из Петербурга немец вступает в разговор с тамошними ожидающими. Слово за слово. Завязывается беседа, очень

дружественная. Наш приезжий и один из поджидавших оказываются
камадами по полку; когда-то оба служили в шведском войске.

– Откуда вы теперь-то?

– Из Петербурга.

– А-а! По службе?

– Д-да!

– Проездом?

– Н-нет! Разве недалеко... К господину полковнику.

– То есть к светлейшему, чрез посредство полковника?

Приезжий смешался и что-то пробормотал, чем и возбудил
подозрительность в товарище камада, знавшем, что полковник –
сторонник голштинцев. Он уже с некоторого времени исподволь
присматривал за ним по поручению светлейшего князя. Чтобы вызнать,
зачем приехал посланец, он сделал ему несколько вопросов, но, не
получив удовлетворительных ответов, смекнул, что тут что-то неладно, и
сказал товарищу:

– Больше я ждать не могу, нужно бежать. А через полчаса я вас,
наверно, здесь же застану... как и полковника...

Дружески кивнув приезжему, он прямо поспешил к светлейшему, с
заднего хода.

– Ваша светлость, прислан к полковнику из Петербурга, с чем-то
важным, один голштинец, кажется, или швед. При нём сумка какая-то,
небольшая. Прикажете его взять теперь же, а полковника ещё
попридержите у себя. Он ведь здесь?

– Да! Хорошо! Возьми дневального офицера и приведи сюда. Посмотрим.

– Пошлите сами офицера, ваша светлость, а я укажу этого приезжего.

Был потребован офицер с двумя рядовыми и подведён сзади к дому,
занимаемому полковником. Усердный курляндец указал, кого взять;
затем, войдя один, совершенно спокойно сел рядом с товарищем и сказал
весело:

– Успел-таки! Дело удалось справить, а его всё нет...

Голштинский агент что-то буркнул, вроде:

– Радуюсь за вас!

В это время вошёл дневальный и спросил по-немецки:

– Кто из вас, господа, приехал из Петербурга к полковнику? Он просит к себе!

– Я, – ответил агент. – Но могу подождать...

– Зачем же! – ответил офицер. – Это ваша сумка? Возьмём её и пойдёмте!

Застигнутому врасплох оставалось одно: немедленно следовать.

Вот они и перед светлейшим.

– Где ключ? – спрашивает офицер, кладя сумку на стол.

Посланец молчит. Офицер мигнул, и рядовые схватили голштинца и нашли ключ в камзоле; сумка была открыта, и указ очутился в руках Меньшикова.

Взглянув на подпись, светлейший прочёл потом содержание бумаги и, свернув её, положил в карман, озирая с ног до головы посыльного. Несколько минут, должно быть, он не находил слов с чего начать. Вдруг кровь вступила в загоревшееся краской лицо князя, и он хриплым голосом отдал приказ:

– В кандалы; в рот заклёпку.

Рядовые и офицер бросились исполнять приказ. Заклепав рот, арестанта увели, и князь остался один на один с тем, кто открыл заговор.

– Узнай-ка, – сказал ему князь по-немецки, – дома ли Василий Лукич?

Агент исчез и, через минуту воротясь, сказал, что генерал у герцогини.

– Наблюдай за ним сегодня и завтра да узнай, о чём советовалась с ним Анна Ивановна.

И сам стал ходить взад и вперёд по своему рабочему кабинету, предавшись думам. В них он мгновенно перебрал всех враждебных себе особ, против которых нужно было немедленно принять меры, чтобы не дать возможности повторить такую же проделку, с которой пойман голштинiec. Но все мысли светлейшего на этот раз сходились на том, что вряд ли его противники участвовали в настоящей бессмысленной попытке.

– Тут, видно, чёртушка один выдумал пулю отлить, на свой пай! – наконец решил князь, говоря сам с собою. – Нужно, значит, только не мешкать да налететь как снег на голову приятелю дорогому.

Явился князь Василий Лукич Долгоруков и передал разговор свой с герцогиней Анной, предлагавшей Долгорукову ценный подарок, если он склонит светлейшего на дозволение обвенчаться ей с графом Морицем.

– Спасибо, что сказал. Я у ней выбью дурь из головы.

И ещё глубже погрузился светлейший в горькую думу, сидя подле почтительно стоявшего князя Долгорукова, униженно глядевшего в пол.

– Вот что! – наконец надумал светлейший. – Собери, Василий Лукич, самых покладных из курляндских дворянчиков, что победнее разумеется, и прямо им скажи: коли хотят получить по триста червонцев на брата, так пусть выберут меня! Я за год уступаю им все коронные налоги и другие, пожалуй... и каждому, смотря по человеку, готов я, при случае, дать акциденции. В Морице и герцогине им не стоит принимать никакого участия. Обе голы! А мы – не им чета! Да Морицу и государыня не соизволяет быть герцогом. Поди же, голубчик... да как сходку устроишь – войско наше выведи в порядке к эспланаде. Уж я надеюсь на твоё умение и ловкость.

Долгоруков вышел с почтительным поклоном, а Меньшиков ещё долго прохаживался по комнате, предаваясь честолюбивым мечтам, пока появление его агента не обратило внимания светлейшего на другие дела.

– Ну, о чём советовалась герцогиня-вдовушка с Васькой с моим?

– Сулила взятку за то, чтобы склонить вашу светлость на соизволение брака её высочества с Морицем, но он не подал никакой надежды.

– Верно... На него, стало быть, я могу полагаться и в настоящем деле. Кстати, вот и ты мне выскажи с своей стороны, удастся ли? Я Василью Долгорукову велел теперь же ваших курляндчиков собрать, кто победнее, и пообещать, коли меня выберут в герцоги, по триста червонцев на брата.

– Не возьмут, ваша светлость, потому что большинство не соизволит; стало быть, меньшинству не удастся это самое... Первое – вы не немец, и

второе – не нашей веры.

– Гм?! Вот вы каковы, немцы! Чужого не хотите, а со своими ужиться не можете! – И князь, нахмутив брови, возобновил свою прогулку по комнате, становясь всё мрачнее и мрачнее. Агент, почтительно поклонившись, вышел из комнаты, а через несколько минут светлейший послал за Долгоруковым.

– Я в ночь еду, – сказал он Василью Лукичу, – и беру с собою двадцать драгун. Начальство над войсками сдаю тебе. Посылай ко мне через день курьера с извещением обо всём, что будет происходить здесь. Я на тебя, Василий Лукич, во всём полагаюсь. Так сослужи эту службишку радетельно...

– Будьте благонадёжны, ваша светлость, за ваши милости я вечно признателен и всё ко угождению вашей милости не премину выполнить.

Светлейший поцеловал его в лоб и просил прийти проститься.

Ровно в полночь князь сел в бричку, а за нею в повозке, оцепленной десятком драгун, повезли схваченного утром голштинца.

Через три дня, в ночь же, светлейший выехал в Петербург, накануне оставив голштинца в Ивангородской тюрьме.

Ваня Балакирев со дня отречения Дуни от союза с ним редко ночью засыпал, поднимаясь к себе в комнатку. Чаще он оставался внизу и, сидя в передней, в углу дивана, погружался в полудремоту; так было и в ночь неожиданного возвращения светлейшего. На этот раз Балакиреву и к себе-то нельзя было ещё уходить, потому что едва Авдотья Ивановна с Сапегою успели выйти из внутренних комнат её величества, как явился Александр Бутурлин и, пройдя, как это вошло уже в обычай, без доклада, вышел через четверть часа, сопровождая её величество, вместе с Анисьею Кирилловною. Уходя, государыня приказала Ивану, что если через час не изволят быть, – послать в Морскую слободу, к дому ювелира Дунеля, карету.

Иван принялся наблюдать бег времени по часам, послав на конюшню за каретою.

Вот уж близко к урочному времени. Тишь мёртвая вокруг, так что

слышно, как отдаётся мерный бой маятника в соседней приёмной. Свеча сильно нагорела, как вдруг нагар слетел, сбитый волною воздуха, пахнувшего в несовсем прикрытое окно. Ваня невольно вздрогнул и вскочил с места при скрипе отворяемой с крыльца двери. Мгновение – и перед ним в дорожном плаще вырос светлейший, делая рукою знак, чтобы он не крикнул.

– Опять? – указывая в сторону собственных апартаментов, спросил князь.

– Жду... Если через четверть часа не будут, пошлю к Дунелю карету.

– Отлично... Я спрячусь у тебя... переоденусь, а как войдёт к себе, ты приди...

– А если нельзя будет уйти тотчас?

– Я не говорю тотчас, а когда останется одна государыня...

– Поднимусь к себе, коли я, ваша светлость, и...

Светлейший приказал послать за Макаровым: чтобы был немедленно Ваня послал гребца в верейке и отослал карету. Кабинет-секретарь успел пройти на вышку к Ване тоже вовремя – до возвращения её величества.

Только промелькнул делец, как стали внятно слышаться голоса идущих по двору, и Иван, распахнув дверь на крыльцо, вышел со свечою.

Государыня изволила идти под ручку с Анисьею Кирилловной и очень громко смеялась. Сбросив самару, её величество прошла к себе, а через несколько минут спутница её удалилась.

Смолкло всё, и Ваня поднялся наверх, оставив свечу в передней, но притворив дверь в коридор с крыльца.

Князь тотчас встал и пошёл вниз, оставив Балакирева с Макаровым.

– Как удачно вышло! – не утерпел кабинет-секретарь, прибавив: – Даст Бог и остальное так же легко уладится.

Ваня промолчал, начиная думать совершенно противоположное. В душу его закрались боязнь и нервное раздражение; не владея собою, он неслышными шагами, притаив дыхание, юркнул на лестницу.

Эта страшно мучительная нравственная пытка, к счастью для бедняка, длилась одно мгновение. До слуха его долетел согласный дружеский

разговор, и страх отлетел так же быстро, как пришёл.

Он взбежал наверх, оживлённый, и обратился к Макарову со словами:

– Всё поправилось, кажись; ладят...

– Я так и знал и был совершенно спокоен, – ответил величественно-дипломатическим тоном кабинет-секретарь, в сущности схитрив и рисуясь.

В разговоре с Меньшиковым Алексей Васильевич, напротив, не скрывал от светлейшего опасений за исход его отважного плана – предстать сюрпризом и начать с упрёков. Подействовало ли его представление, или светлейший передумал, но вступление его в речь было более лёгко и произвело ожидаемое действие одними напоминаниями постоянных услуг и заверением готовности поддерживать сложившиеся временем отношения. Светлейший развил затем картину стремлений честолюбия всех прихлебателей и угодников, умевших только льстить, но лишённых способностей.

– В числе приближённых теперь к вам есть и такой человек, который усердствовал вашим врагам. Вам хорошо известно, что если бы раздули подозрения – как нашёптывала Чернышиха, – то последствия могли бы быть самые печальные для меня.

– Знаю! Верю... да ведь ты сам мне про Авдотью Ивановну, когда я спрашивала, сказал, что из неё можно сделать что хочешь! Что теперь вреда от неё ждать нечего!

– Конечно... вредить она по-прежнему не может, а своё корыстие в ней то же, что и было... Поэтому высоко ценить её угодливость не приходится...

– Мне она и то уже надоела. Я без тебя опять призывала княгиню Аграфену Петровну. Представь себе, что она мне то же самое пропела про Карла, что и ты. Чтобы я ему и голштинцам не давала бы много умничать, а то они скорее других зазнаются.

– А как же вы давали приказ зятюшке своему схватить меня, как преступника?!

– Когда?

– Июля 5-го сего 1726 года...

– И ты не гредишь и не шутишь?

– Чего шутить и гредить? Вот он! Велите Макарову или Балакиреву прочесть. И подослали бывшего шведа к одному коменданту, чтобы меня, как приеду я к нему в крепость, захватить, да в маске, связанного, в закрытой повозке доставить государю герцогу Голштинскому на расправу... за то, что усердствовал – прости, Господи, грех мой этот, – прежде чем свои русские дела обделать, его немецкое положение поправить. Но после такой награды моего усердия не могу уже, хотя бы и хотел, с чистым сердцем относиться к коварному врагу, жаждущему моей гибели. Нужна она им, поверьте, государыня, не на добро вам самим и к явному вреду всем, кроме них. Думал ваш зятюшка, что, уйдя от меня, он, при содействии Александра Бутурлина, вашим именем будет делать что угодно немцам своим. Как же посмотрели бы за это другие русские на вас самих, когда и при мне, покуда на вожжах держу самовольцев и шептунов, подмётных писем не оберёшься? Судите, что бы было без меня с вашим тронem, при продажности Ягужинского, готового присоветовать и поклясться сто раз в чём угодно, только дали бы ему за это побольше... Забрал он Бутурлина в лапы, и побудили они вас, как сами видите, на такое дело, как гибель моя, скрывши от вас самый подвох...

– О схватыванье тебя в первый раз слышу и прийти в себя не могу... Да как же это?

Вместо ответа князь, выйдя из опочивальни, кликнул Балакирева и перед её величеством заставил прочесть с начала до конца указ, найденный у голштинца, с полною подписью и за печатью, хранимой у канцлера Головкина. В это время подошёл, хотя и непрошенный, Макаров, и по прочтении указа, взглянув на подпись, засвидетельствовал, что она подложная:

– Цесаревна Елизавета Петровна не так выводит есть (Е) и рцы (Р). – сказал он. – Она начинает не снизу, как здесь, а в строку, сбоку палочку проставляя.

– Коли фальшь тут, надо допросить будет тех, кто послал голштинца, –

вымолвил, как бы раздумывая вслух, светлейший.

– Да, да! – подтвердила государыня.

– Осмелился бы я предложить в таком случае одну маленькую штучку, чтобы верно узнать: сам ли герцог Голштинский тут причастен своим почином или другие? – отозвался, смекнув, в чём дело, Макаров.

– Как же ты это узнаешь, Алексей Васильич? – милостиво спросила кабинет-секретаря государыня.

– Ваше величество утром соизволите попросить герцога Голштинского и, когда он явится, прямо спросите его: "Что ты сделал, Карл, с светлейшим князем, по указу?" Если не сам его высочество тут причинен, он, разумеется, ничего не ответит, и можно будет из его затруднения в ответе убедиться, что тут стряпали другие, а не он...

– Это точно штучка ловкая, – отозвался светлейший. – Желал бы я только тут быть, непременно... Тогда пойму авось-либо всё и сумею найти дорогу к раскрытию подлинных виновников наглого обмана и кова, прикрытого именем вашего императорского величества.

– Хорошо... И я понимаю, в чём дело, – решила государыня. – Ты, Ваня, никого к нам не пускай и не давай нисколько понять, что Александр Данилыч у нас во дворце. А ты, Алексей Васильич, пораньше забеги к любезному зятюшке: попросить его ко мне. Ступайте с Богом и точно исполните как сказано.

– Позвольте, ваше величество, ещё одну просьбу! – молвил светлейший.

– Если Александр Бутурлин войдёт, его задержать?

– Отказать, пусть домой едет! – отдала государыня приказ Ивану Балакиреву, вышедшему из опочивальни с Макаровым, которому светлейший мигнул подождать в передней.

Выйдя туда через минуту, князь сделал распоряжение, чтобы захваченного голштинца перевезли из Ивангородской крепости в Петропавловскую, и послал Макарова к секретарю военной коллегии справиться: не сделано ли нового распределения караулов; да приказать, чтобы рапорт был изготовлен к полудню, с сохранением о том тайны.

Макаров исчез с этими наказами, и в передней её величества воцарилась полная тишина.

Около десяти часов утра явился по приглашению зять государыни. При докладе о нём светлейший скрылся за занавесью алькова, хорошо видя сквозь незаметную щель лицо герцога.

Поздоровавшись и усадив зятя, государыня, прямо смотря на него, задала ему условленный вопрос, вызвавший у ответчика изумление. Оказалось, что доклад своего министра об указе он, должно быть, пропустил мимо ушей, а насчёт необходимости освобождения от Меньшикова натолковано ему было достаточно. Потому он запел о вреде управления князя и о необходимости: ему с женою занять первое место в управлении.

Царственная тётца слушала его со вниманием, давая высказаться вполне о системе мнимодоверяемого якобы управления. Герцог Карл три или четыре раза сказал о необходимости заседать в Верховном совете и Бассевичу, с поручением заведования делами Ягужинскому.

– Когда же ты, Карл, давал мне для подписания указ об аресте светлейшего? – вдруг спросила прямо государыня.

– Не помню... разве указ? – ответил он нерешительно. – Верно... обещал Александр Борисович? Я-а... не видал...

– Как же ты хочешь ввести в совет такого человека, Карл, который мошенничает моим именем? Князь, покажи герцогу фальшивый указ и свези его, когда можно будет, показать посланного с ним...

Светлейший вышел торжествующий, показал указ и при нём немецкое письмо с сигнатурою герцога. Карл-Фридрих был ошеломлён этими открытиями и вне себя крикнул по-немецки:

– Когда меня избавят от этого дьявола, Бассевича?

– Я, ваше высочество, – смиренно, но с сознанием теперь своей силы начал как бы своё оправдание Меньшиков, – никогда не желал ничего другого, кроме истинно полезного и приятного вам, как зятю её величества. Я готов верить, что как вам, так и супруге вашей не могу казаться таким преступником, которого можно схватить коварным

образом. Тут видна рука врагов моих, которые, забыв честь и совесть, осмелились подвести вас, своего патрона, скрывая свои подлинные намерения. Они надеялись, что ваше высочество, по врождённой вашей беспечности, никак не вздумает прочесть то, что должно подписать. Такое коварство относительно вас самих требует примерного наказания виноватых. Но я, не желая добиваться многого, доволен буду раскрытием того: кто писал злодейский указ и кто вывел якобы подлинную фальшивую подпись руки государыни? Таких преступлений нигде и никогда не прощали.

Смущение Карла-Фридриха достигло крайней степени; он бессвязно повторял:

– Бассевич не может быть... я не могу... никак я не должен... министр свой отдать... Его обманул... кто-нибудь...

– Точно так, ваше высочество; я против графа Бассевича ничего не имею. Мы с ним общими силами должны раскрыть это мошенничество, и не нужно тратить времени, ваше высочество... Пожалуйста к нам в крепость с графом, и мы, я уверен, раскроем очень скоро всех виновных. Её величество отдала уже высочайший указ: несмотря ни на чин, ни на звание, ни на заслуги, виноватого привлечь к ответу.

Герцог, побледневший, лепетал непонятные слова, так что государыня, чтобы утешить его, сказала милостиво:

– Твоих, хотя и виноватых, я казнить не велю: пусть только укажут на наших мошенников. Но сам ты посуди, Карл, как мне на тебя смотреть, когда теперь есть подозрение, что с твоей стороны рассылаются люди с такими моими указами, о которых я не слыхивала?

– Это никак не может быть... Это никак не может быть... – повторял несколько раз, медленно приходя в себя, герцог Карл-Фридрих.

Милостивое решение государыни о его людях придало ему значительную бодрость.

– Как же не может быть? Ведь указ здесь! – строго сказала государыня.

– Я поручаю подписывать только Лизе... Позвать её недолго. Макаров говорит, что рука не её. Иван, сходи, пожалуйста, попроси Елизавету

Петровну прийти к нам.

Герцог опять упал духом и сказал князю:

– Может быть, такой указ по ошибке пущен?

Светлейший улыбнулся молча, но государыня как бы про себя молвила:

– Хороши ошибки!

Цесаревна не заставила себя долго ждать: явилась, как всегда, резвая, с сияющею улыбкою, поцеловала руку у матери, пожелала доброго утра, осведомилась о здоровье и потом спросила:

– Вы меня желали видеть?

– Да, Лиза. Скажи, мой друг, ты это писала? – развёртывая указ с обратной стороны, спросила её государыня.

Цесаревна не читая, взглянув на подпись, сказала:

– Нет, не я!

Герцог затрепетал.

– Так, ваше высочество, благоволите прислать ко мне Бассевича? – обратился к герцогу Карлу-Фридриху князь Меншиков. – Или же благоугодно будет пожаловать ко мне вашему высочеству и приказать Бассевичу тоже приехать?

– Я сам съезжу, и мы будем.

– А лучше было бы, если б со мною прямо поехали, написав здесь же Бассевичу. Тогда бы изволили устранить всякие подозрения на свой счёт.

Государыня вполне одобрила последнее предложение, и у герцога не было уже никакой возможности отнекиваться. В это время показался в передней Макаров.

– И так можно, ваше высочество, – поспешно молвил светлейший. – Вот Алексей Васильич съездит и привезёт Бассевича.

– Хорошо, хорошо... Пусть Алексей Васильич... – неохотно согласился герцог.

– Слышишь, Алексей Васильич, – молвила государыня, – поезжай во дворец Карла и привези к князю Бассевича; скажи, что я ему велю быть непременно: мы все у князя обедаем, и герцог с ним уже поехали. Я буду вслед за вами.

Макаров раскланялся и вышел. Он уже успел узнать часть разрушенного кова, и данное поручение как нельзя более соответствовало его намерению обследовать со всех сторон тонко обдуманный проект. Не будь настолько счастливого случая, как подозрение, возбуждённое в уме курляндца-агента неловкостью исполнителя, – дело разыгралось бы очень серьёзно, и не герцогу Карлу-Фридриху пришлось бы проклинать коварство врагов.

Появление Александра Данилыча у себя дома было вдвойне сюрпризом для княгини Дарьи Михайловны, не знавшей о ночном возвращении мужа.

Герцог Голштинский редко бывал в доме светлейшего, и прибытие его вместе с хозяином было большою загадкою для хозяйки, особенно же то, что она видела сильную обескураженность его высочества и явное затруднение оказываться любезным и весёлым.

Проводив высокого гостя в галерею, князь на минуту исчез, вбежал к жене, поздоровался и торопливо проговорил:

– У нас обедает государыня. На десять или на пятнадцать персон... распорядись поскорее... Говорить много... но до вечера некогда будет. То тебе расскажу, чего бы ты никогда не подумала. Видно, мы не совсем забыты у Бога. Голштинская ворона со мною. Ворона притащат. Вот посмотри, какие они рожи будут корчить. Распоряжайся живее и одевайся скорее!

Сойдя вниз, хозяин застал высокого гостя стоящим у окна в самом грустном настроении, готового расплакаться. Как бы не замечая этого, светлейший начал с обращения к августейшему герцогу чуть не в молительном тоне:

– Ваше высочество! Погубить меня не много пользы будет, по крайней мере для вашего царственного дома... Это была бы большая радость врагам моим и вашим, которые норовят лишить меня власти для того только, чтобы сделать зло вам с вашей супругой, точно так же как всем иностранцам. Свои на меня злы за то, что я немецких людей не выдаю, памятуя, что делал покойный Пётр I. А сломи меня – прежде всего

иностранным людям горло перервут и род ваш искоренят...

– Я очень доволен был всегда вашей любезностью, князь, – начал принуждённым голосом герцог. – И теперь ещё прийти в себя не могу, как случилось, что вы говорите, с воровским указом послан был... от нас...

– Конечно, это нам разъяснит граф Бассевич, – самым дружественным тоном ответил светлейший, смотря в окно и видя, что с Макаровым из шлюпки вышел голштинский министр и уже поднимается с пристани ко дворцу светлейшего.

На лице герцога изобразилось ещё большее уныние, и все слова у него как бы истощились.

Через минуту, совершенно спокойный, с Макаровым в дверях галереи показался Бассевич. В то самое мгновение, когда он подходил к князю, отвешивая низкий поклон, из внутренних комнат в полном параде вышла княгиня. Герцог обратился к ней с приветствием, а светлейший мигнул Бассевичу и Макарову, и они незаметно удалились в кабинет хозяина.

Введя графа, Меньшиков с сердцем захлопнул дверь и сурово сказал ему:

– Что, взял?

– Я? Ничего, – спокойно сказал Бассевич. – Хотели взять не мы, а соперники ваши. Головкин воспользовался только посылкою нашего человека.

– А указ кто смастерил?

– Александр Бутурлин.

– Да ему-то что?

– Вероятно, попасть на высоту лакомо.

– И ты правду говоришь, что он?

– Могу доказать.

– Чем?

– Требованием уплаты.

И он вынул из кармана письмецо Александра Борисовича Бутурлина, в котором тот требует 20 тысяч червонцев за то, чтобы dokonать захваченного пленника и окончательно скрыть следы его похищения.

Пробежав этот документ, князь подумал с минуту и задал новый вопрос:

– Кто же ответчики и поручители в этой расплате?

– Несколько поручителей денежных на паях, в том числе Толстые, Головкины, Ягужинский...

– А ты, конечно, свят, как праведник?

– Своя рубашка к телу ближе... Когда указ уже в руках, угрозы заставили бы и вас делать то же.

– А ты не подумал, – величественно становясь перед Бассевичем и смотря ему в глаза, надменно сказал князь Меньшиков, – что я способен и указ получить само себе, и посыльщика убрать, и лично явиться с предложением услуг?

– На это остаётся сказать одно: слава Богу!

– Для меня – может быть, для вас – нет! Я ведь могу и так поворотить, что никакие моления не помогут.

– После того, как сказано: наших не трогать – угрозы бесполезны. Без того я бы ничего не сказал. За Бутурлина мы заступаться не будем. Отстранить его вы можете и, наверное, должны. Головкину окоротить крылья тоже не мешает. А с нами просим быть по-прежнему...

– Согласен, но прибавлю два условия: первое – из нашего повиновения ни в чём не выходить! Смотреть за этим будем зорко! Как начнёшь кривить – так и вон! Второе: пусть герцог – для того чтобы отбить у приятелей всякую охоту мутить воду – всем рассказывает, что все надежды и упования он возложил на нас; нужды свои и требования он будет заявлять только через нас – без этого ничего не получит. А государыне пусть герцог прямо выскажет, что он несёт вину за плутовство Бутурлина... Как мы придём вниз, ты его направь, чтобы всё было точно исполнено. Сам видишь, что уловки не помогут.

– Хорошо, будет исполнено, – спокойно ответил Бассевич и направился к двери.

– А ты, Алёша, садись в шлюпку и кати в крепость к коменданту, чтобы сейчас же послал взять Александра Бутурлина.

Через минуту светлейший с Бассевичем совершенно дружески, рука в

руку, вошли в галерею. Бассевич тотчас подсел к своему государю, а хозяин с хозяйкой пошли встречать государыню, уже подъезжавшую на шлюпке с обеими дочерьми, внуком и внучкою.

Встреча оказалась очень радушною. Светлейший, подойдя к нижней площадке, помог выйти из шлюпки сперва государыне, потом обеим цесаревнам, затем великому князю и великой княжне. Подхватив на руки великого князя Петра Алексеевича, Меньшиков понёс его на крыльцо, говоря:

– Вот теперь, ваше высочество, сами увидите, каких я вам гостинцев приготовил. – Он прямо провёл его в свою ореховую комнату, где расставлены были у открытых окон механические пушечки с общим приводом, так что, если его тронуть, производился залп из всех пушек разом, деревянными ядрами. Сын светлейшего тотчас подошёл к августейшему гостю и принялся показывать своё уменье обращаться с этими орудиями. Игрушка оказалась вполне по вкусу Петра Алексеевича, и он тотчас же почувствовал себя здесь как дома. И сестра его настолько была занята ласковыми дочерьми светлейшего князя, что детское общество совершенно устранилось от взрослых. Беседа же их, когда её величество вошла в галерею, приняла очень серьёзный тон.

Государыне предстояло выяснить историю с указом. Герцог, приняв на себя вид обиженного, высказал в горьких сетованиях, что Александр Бутурлин с компанией одни виноваты, а его, голштинца, окончательно одурачили, принудив действовать, хотя он не знал хорошенько, что затевается. Герцог три раза начинал одну и ту же рацею и каждый раз заключал свои сетования просьбою:

– Не давайте, мамаша, возможности Александру Бутурлину больше так делать!..

Ответом на это был положительный жест её величества, значение которого для всех было ясно и не могло быть иначе истолковано, как согласиём на взыскание с Бутурлина. Время летело незаметно, и вот уже дворецкий доложил, что готов обед. Государыня подала руку светлейшему, а герцог Голштинский – Дарье Михайловне, и все

двинулись в столовую. Явился Макаров. Доведя государыню до места и идя к своему, Меньшиков выслушал рапорт кабинет-секретаря и довольно громко сказал:

– Бутурлин взят!

Государыня молвила:

– Надо проучить!

IX НЕОЖИДАННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

– Что у вас нового? – спросила баронесса Клементьева свою племянницу, забыв, как обыкновенно бывает на свете, свою угрозу не принимать её никогда у себя.

– Да нового что же? Цесаревну не принуждают выходить замуж, а самой ей никто не приглядывался; да и маменька ею не больше теперь занимается, как и старшей сестрицей. Тот, кто всем вертит, выдвигает внука; поперёк никто ничего не скажет: первое дело – никто не послушает, да, чего доброго, и высказать не дадут. Аграфена Петровна в ходу, говорят, но нам видеться с нею не приходится. С нашей половины на большую не пускают, да и самой-то государыне цесаревне не часто приходится видеть маменьку. Один светлейший только и бывает. Аграфена Петровна, говорят, тоже бессменно и днюет и ночует.

– Вот как! Давно бы матушке пора за ум взяться да всяких разных Дунк и Матрёшек по шеям, да по шеям. Всё это ладно... Одно не ладно, что дочерей-то удаляют... вот хоть бы и нашу... Мало ли что муж немец и тянет на свою. Ведь она-то умна, вынослива и рассудительна, как никто.

– Да вот вы так говорите, тётенька, а другие не то бают... Знай одно толкуют, что ваша государыня Анна Петровна, как только вышла за голштинца, так только своей Голштинии и норовит... русскому в ущерб...

– Может статься: кто же себе враг. Коли вредно, не делай по её прошению, а всё же дочери как не принимать? Тут совсем другое дело... ни за что не поверила бы я, да такие люди говорили, что не верить нельзя. Всё мутит светлейший...

– Да, может, тётенька, это и не так. Какая польза светлейшему-то? Рази

вот что: дочери, известно, одна выдана, другую – тоже придётся выдавать за иностранца; обе, выходит, пустодомки. Сомнительно, чтоб не стали норовить своим мужьям: муж да жена – одна сатана.

– То-то ты, видно, сатаной-то не захотела быть, оттого-то и удрала такую штуку с Ванюшкой?

– Ничего я не удирала, а нельзя – вот и всё тут. А супротив его, как и он супротив меня, ничего не имеем... Встретимся, поздороваемся...

– Я уж и слушать не хочу. Ты лучше не зли меня... не толкуй... О твоём беспутстве знать не желаю, а забыть его не могу.

– Да оставь, тётенька. Может, мы с Иваном Алексеичем и сойдёмся по-старому.

– А выйти за него не можешь? Как ведь это похоже на дело?

Дуня потупила голову, ничего не отвечая. И разговор, по-видимому, должен был прекратиться на самом интересном месте, но в эту минуту вошёл в комнату генерал-полицеймейстер Дивиер. В последнее время он часто заходил к Авдотье Ильиничне, оставаясь у ней по несколько минут, иногда по полчаса, в ожидании, пока доложат герцогине, Анне Петровне, и она его примет. С ним Авдотья Ильинична любила потолковать и по уходе его чувствовала себя довольною приобретёнными сведениями. Говорил же он охотно, не стесняясь, и простотою обращения заставлял невольно считать себя человеком искренним. Русских и русское он любил и желал всего хорошего намерениям русских патриотов, сочувствуя им, но никак не держа сторону своего высокого шурина. Он, видите, долг ставил выше всего и не желал подслуживаться Меньшикову, который, как известно, выдал за него сестру, только повинясь Петру, и потом всячески старался вредить зятю. Эти обстоятельства бросили Дивиера в ряды противников светлейшего, и теперь он пришёл узнать: была ли цесаревна Анна Петровна у августейшей родительницы вечером и каков результат этого свидания.

– Ну, что, Авдотья Ильинична, чем вы меня обрадуете? – начал он, показываясь из-за шкафов.

– Да что, ваше превосходительство, наша ездил, да, кажись, с

сестрицей просидела. Три раза посылали, да всё один ответ: не могу принять.

– Странно... Всем то же самое. Я даже начинаю думать, что Александр Данилыч намерен держать её величество в заключении.

– Да ведь это не он говорил... женщины...

– Им приказано... это уж мы знаем хорошо... Государыня велела... Государыня этого и не знает: ей и не докладывали, Её величество опочивала до седьмого часа... Да... да это ещё что... – продолжал Дивиер.

– Ведь к её величеству в третьем, в четвёртом за полночь наезжают гости. Ваш знакомый Балакирев удалён на половину великого князя Петра Алексеевича.

Авдотья Ильинична посмотрела на племянницу; та потупилась.

– Чем всё это кончится? – как бы про себя молвил в заключение Дивиер.

– Надо принять решительные меры.

Он повернулся и хотел выйти.

– Теперь вы к её высочеству?

– Да ведь вы говорите, что её высочество не видала государыню?

– Да.

– Так зачем же я буду беспокоить её высочество?

И, простившись, генерал-полицеймейстер направился по коридору к герцогу. Там была тост-коллегия.

Герцог Карл-Фридрих, увидев генерал-полицеймейстера, встал со своего места, пошёл ему навстречу, взял за руки и торжественно заявил, что он избран в это почтенное общество и может занять принадлежащее ему место. Место было на конце стола, между камер-юнкерами. Как только Дивиер сел, ему тотчас поднесли большую чашу с предложением осушить её, и тот волею-неволею должен был пропустить глоток-другой, хотя он не любил вина. Это принуждение, как видно, было особенно неприятно бравому служаке, зашедшему с единственной целью поговорить о деле; но делать было нечего. Сидя, он должен был выслушать здесь очень много высокопарных глупостей, внутренне проклиная себя, что попал в такое скучное общество, из которого трудно вырваться, тогда как дорога

каждая минута. Вынув из кармана часы и видя, что уже половина третьего, Дивиер встал и, подойдя к герцогу, попросил его на три минуты выйти в соседнюю залу.

– Очень был бы рад исполнить ваше желание, любезный генерал, но не могу, не кончив тост-коллегии, и вам не советую нарушать самое главное наше правило.

– Ваше высочество, крайняя надобность...

– Ещё более крайняя необходимость заставляет меня напомнить вам, мой любезный генерал, чтобы вы заняли ваше место... Порядок прежде всего, и я строгий его наблюдатель...

– Но, ваше высочество, крайность...

– Без отговорок, прошу вас: сядьте скорее и не сбивайте очереди тоста... Дивиер пожал плечами и сел. Прошло ещё битых полчаса. Нелепые риторические фразы так и сыпались из уст почтенных членов как при заявлениях благожеланий, так и в ответах на приветствия. Посмотрев вокруг себя и видя, что пирушка не скоро ещё кончится, Дивиер потихоньку встал и, без шума, по коврику быстро вышел, проклиная и тост-коллегию, и необходимость тратить на неё драгоценное время.

Совсем обескураженный Дивиер отправился к старому другу, графу Петру Андреевичу.

Там было собрание. Все признаки ненормального положения дел и трудности доступа до государыни обсуждались во всех подробностях.

Во всём обвиняли Меньшикова и спорили о том, как бы лишить его власти.

Вдруг в самый разгар спора Толстой, вызванный из комнаты, через минуту возвратился и заявил с заметным дрожанием в голосе:

– Государыня больна... и припадки такого свойства, которые заставляют думать надвое: или всё может кончиться самым обыкновенным порядком, или грозит несчастье.

– А скажи, граф Пётр Андреич, – спросил Скорняков-Писарев, – какого пола особа, передавшая тебе это известие?

– Одна из окружающих её величество женщин...

- А ты не подозреваешь, что слух пущен с особой целью?
- Не только не подозреваю, но прямо отвергаю всякую цель для нас невыгодную. Сашка стережёт и принял все меры, чтобы никто ничего не узнал; стало быть, если мы знаем, то это против его желания...
- Смотрите, так ли?.. Нет ли тут ловушки?
- Ты, Григорий, просто помешан на ловушках!
- Да если бы и так? Вам на это жаловаться нечего. Было бы хуже, если бы я верил всем басням, которыми плут Сашка норовит прикрывать свои мошенничества.
- И то и другое, друг, нежелательно; всякое излишество сбивает с настоящего пути, а наше положение не позволяет нам безнаказанно делать ни одного фальшивого шага. Мы должны бить наверняка. А верного пока – труднее всего добиться, и понятно почему: с той минуты, как дознана будет опасность в положении государыни, управление примет Верховный тайный совет, в котором Александр Меншиков такой же член, как и все мы. Да он один, а нас пятеро, стало быть, ему придётся выполнять нашу волю, а не нам его; поэтому он и примет все меры, чтобы мы подлинного положения государыни, особенно опасного, не знали, и будет держать нас в таком положении, пока не успеет изворотиться, то есть постарается заручиться таким правом, которое будет давать ему всё-таки перевес над нами. Наше, стало быть, дело – не дать ему времени этого выполнить и узнать немедленно: таково ли положение больной, при котором неподсильно ей бремя управления. Это же могут сделать дочери и зять. Пусть они заставят сказать докторов сущую правду и их крайний приговор, за их общею подписью, пусть явят в Верховном тайном совете, как раз и учреждённом для того, чтобы справляться со всевозможными затруднениями в правлении.
- Да... заставьте вы дочерей и зятя сделать что-нибудь толковое...
- Отчего ж и не заставить? – ответил решительно граф Пётр Андреевич.
- Если, граф, вы так искусны, явите божескую милость! Сжальтесь над бедной Россией! Блументроста вам не так трудно будет заставить высказать правду, – заметил Шафилов.

– А я так думаю, – возразил Скорняков-Писарев, – от Блументроста-то вы не дождётесь ничего толкового. Он всегда держался Сашкой Меньшиковым. Стало быть, скажет нам только то, что он ему подскажет или прикажет. А другого, коли подлинно больна государыня, и не пустят к ней.

– Затруднительное дело, коли так. Как ни кинь – всё будет клин. А надобно не тратить попусту время. Всё-таки надо убедиться... действительно ли больна. А убедиться можно только при требовании дочерей. Другого средства нет. Это всё-таки самое надежное. Поезжай ты, Антон Мануилыч, и постарайся внушить Анне Петровне, чтобы она, с сестрою вместе, была завтра в приёмной, перед опочивальней...

– Да что же им двум? Нужно и Нарышкиных прихватить, да и племянниц Скавронских. Как огулом-то налетят, так Сашке поневоле придётся бить отбой.

Дивиер согласился, но в свою очередь просил, чтобы Толстой подготовил герцога.

– Хорошо, быть так. Принимаю поручение, – отвечал граф. – С моей стороны и это сделаю, и Головкина настрою. К нему заеду от герцога. Коли бить в набат, так бить во всех концах. И коли велите делать, так прощайте. Увидимся завтра... в приёмной... Каждый понимает: как и что делать. Ты, Антон Мануилыч, останься... Нам в одно место ехать: ты – к жене, я – к мужу.

Наступило 16 апреля 1727 года. Рано утром приехала цесаревна Анна Петровна с мужем к цесаревне Елизавете Петровне, не совсем ещё убравшейся.

– Что ты так медлишь, Лиза!.. Говорят, тратить времени нельзя...

– А мне только сейчас прислали сказать, что мама заснула и чтобы мы её не беспокоили. Я и собралась, но опять готова была раздеться.

– И неужели ты поверила? Разве не знаешь, кто это делает?

– Да его нет... Я посылала к Аграфене Петровне... Та ночевала здесь...

– Мне и твоя Аграфена Петровна подозрительна. Она явно тянет на сторону светлейшего.

– Но ты не можешь сказать, чтобы она была бесчестная женщина и не любила мамашу. Я не вижу вреда в том, что она предана светлейшему... Ни я, ни ты не можем сказать, чтобы и он нам вредил чем-нибудь особенно. Другой на его месте сделал бы нам больше неприятностей.

– Однако нельзя позволить ему хозяйничать, – перебил герцог. – Мы должны вступить в управление, а не он...

– Кто это – вы? – иронически спросила Елизавета Петровна.

– Ну, разумеется, я... ты... Анна... – и запнулся, не зная, что сказать далее.

– Не другие ли кто? – насмешливо переспросила младшая цесаревна.

– Кто-другие? Я никого не знаю... Я сам это решил! Других я знать не хочу! – надменно отозвался Карл-Фридрих и прикинулся оскорблённым.

При этих словах неожиданно появился граф Гаврило Иванович Головкин, ведя под руки двух племянниц императрицы – Анну Карлусовну и Софью Карлусовну Скавронских.

– Что же вы, ваши высочества, не изволите быть поближе к спальне болящей нашей монархини? – спросил он цесаревен после обычных приветствий.

– Если хотите, граф, мы пойдём с вами...

– Ваши высочества! Долг ваш – находиться теперь там. Об этом униженно докладывает ваш преданнейший слуга – канцлер...

– Ступайте же... Я сейчас приду, – сказала цесаревна Елизавета Петровна, скрываясь в уборную.

– Не будем тратить времени, – продолжал Головкин. – Врачи решительно сказали мне, что сегодняшней день у её величества должен последовать пароксизмус... Чем он разрешится при её тяжёлой болезни, ведает один Господь.

Таинственный голос и расстроенный вид канцлера не только тронули, но и привели в ужас цесаревну Анну Петровну, и она, всхлипывая, взяв супруга под руку, двинулась за канцлером в коридор.

Дойдя до дверей передней, они нашли их запертыми и, только принявшись в третий раз сильнее трогать ручку, отворили дверь. Там уже

был Балакирев, а во второй приёмной на маленькой кроватке спал перенесённый сюда ночью великий князь Пётр Алексеевич. То, что он находился здесь, было явно подготовлено... Сестры его высочества, однако же, не было. Внук государыни был одет, что немало изумило как Головкина и цесаревну, так и её супруга.

Когда они появились в передней, двери в опочивальню её величества были заперты. Звуки движения, по-видимому, заставили выйти из спальни княжну Аграфену Петровну, почтительно доложившую Анне Петровне тихим голосом:

– Государыня императрица после тяжких страданий, продолжавшихся всю ночь, теперь в забытьи; но это, кажется, не сон, потому что тело государыни постоянно вздрагивает и порою открываются глаза... Жар очень сильный... С минуты на минуту ждём врачей... Не благоволит ли ваше высочество немного помедлить у себя, а потом пожаловать... Я буду иметь счастье явиться к вам при малейшем изменении положения её величества...

– Я, пожалуй, уйду, ваше высочество, – сказал Головкин, – а вы можете оставаться, я думаю... От вас шума может быть не более чем от ребёнка, если он проснётся. – И, указав на спящего великого князя, ушёл, оставив Скавронских и цесаревну с супругом в приёмной её величества.

Через несколько минут явилась цесаревна Елизавета Петровна. К ней, с таким же докладом, как к сестре, вышла опять княгиня Волконская; выслушав её молча, Елизавета Петровна последовала за нею в коридор и задним ходом, через него вошла в опочивальню. За нею прошла и старшая сестра. В комнате, где остались спящий великий князь, две девицы Скавронских и герцог Голштинский, воцарилась такая тишина, что можно было слышать полёт мухи, если бы это была не весна, а лето. В переднюю, где бодрствовал Балакирев, беспрестанно стали легонько стучаться разные высокопоставленные лица; но усердный слуга умел, однако же, всех их спровадить не впуская. Вдруг явились: граф Толстой, Скорняков-Писарев, барон Шафиров и генерал-полицеймейстер. На лёгкий стук их Балакирев отворил дверь, и не спрашивая его нисколько

ни о чём, Толстой и Дивиер вошли первые, а за ними Шафиров и Писарев.

– Её величество находится теперь в забытьи, – загораживая дорогу, решительно сказал Балакирев.

– Мы, члены Верховного тайного совета, – сказал Толстой, – при таком трудном положении государыни должны находиться тут непременно.

– Вы, граф, один член совета, и, если угодно войти, я не смею перечить... – попробовал заметить Балакирев.

– Я, главный блюститель порядка, тоже должен быть, – отозвался Дивиер и, отведя руку царицына слуги, вступил в приёмную.

Остальные последовали за этою парюю.

Движение и шаги четырёх мужчин разбудили мальчика, великого князя, и он сделал недовольную мину, увидев себя не в своей комнате. Осматривая сперва с недоверием место, где он находился, Пётр Алексеевич сел на кровать и не вдруг узнал Скавронских; а что касается герцога, он так на него посмотрел, что тот потупился. Полагая, что тут между ними может последовать столкновение, несмотря на разность возраста, Дивиер поспешил принять роль посредника и ласково спросил великого князя:

– Хорошо ли почивали, ваше высочество?

– Не скажу... Холодно что-то... Почему я одет? Неужели я так спал всю ночь? Оттого-то мне и было так неловко. Голова что-то болит.

– Можно, если угодно будет, прогуляться. А теперь можно приказать подать вам чай. Вы любите кататься?

– Ещё бы!

– А скакать?

– Как – скакать?

– А вот так... Садитесь ко мне на колени.

И Дивиер сел на кровать и начал его качать.

– Хорошо, хорошо. Какой же ты мастер! – поощрительно отозвался великий князь.

В это время Толстой тихонько сказал:

– Не лучше ли вашему высочеству будет у себя горячее испить... и Дивиер с вами пойдёт.

– Пожалуй, – согласился великий князь, и они пошли.

В передней Балакирев доложил великому князю:

– Я уже послал за чаем. Сюда принесут. Неравно простудитесь...

– Нет, я лучше дома. Здесь скучно.

– Разве вам не жаль вашей маменьки-государыни? Она тяжко больна, а вы хотите забавляться.

– И оставаясь здесь, великий князь нисколько не облегчит положения больной, – перебил Дивиер.

– Но государыня может спросить ваше высочество... По воле её величества вы остались здесь ночевать.

– Как же тут быть? – спросил в нерешимости князь-ребёнок.

– Ведь мы скоро придём, ваше высочество, – наставительно подсказал Дивиер, и великий князь готов был сдаться на этот совет; но в это время к полуотворившейся двери в опочивальню её величества бросились все находившиеся в зале. Цесаревны стояли в дверях и тихо плакали. По комнате раздавалось болезненное хрипение тяжко страждущей. Заплакали Скавронские, а Елизавета Петровна, обыкновенно живее чувствовавшая как радость, так и горе, предалась глубочайшей печали. Слёзы полились у неё из глаз порывистыми потоками, и она, почти теряя силы, покачнулась. Толстой поспешил усадить её на стул, а Дивиер, подлетев, сказал довольно громко:

– Я бы советовал вашему высочеству подкрепиться рюмкою вина. – Не сообразив неприличности своего предложения.

Видя всех плачущими, заплакал и великий князь. Желая развеселить ребёнка, Дивиер опять стал качать его, приговаривая:

– Напрасно плачете. Если Бог судил лишить вас маменьки, мы все, ваши верноподданные, постараемся утешить вас в потере. А то головка будет болеть. Пойдёмте-ка отсюда. Прикажем коляску заложить. Я ещё не так вас покатаю.

Утешившись и утёрши слёзы, великий князь стал утешать Софью

Карлусовну и говорил ей:

– Полно и ты плакать... Авось, Бог даст, и поправится маменька. Дивиер правду говорит, что печалиться много вредно. Не плачь!..

– Не могу удержаться, – всхлипывая и несколько жеманясь, отвечала Софья Скавронская.

– Если не перестанешь, я тебя заверчу... рассмешу, – не отставал настойчивый Пётр Алексеевич, нетерпеливый от природы и любивший поставить на своём. – Не плачь же! Я приказываю. – И сам топнул ножкой, разумеется неслышно на мягком ковре.

Софья Карлусовна старалась не плакать и вызвала на лицо полуулыбку. Великий князь взял её за руку, дружески промолвив вполголоса:

– Вот и умница!

Дивиер, сидевший на кровати, поощрительно молвил:

– Вот и давно бы так... Поглядишь – и пара выйдет.

– Какая пара? – робко спросила Софья Скавронская.

– Да хоть бы и ваша... рука с рукой, как жених с невестой, стоите. Глядишь, и свадьба у нас сочинится ещё. Лучше ведь его высочество, чем Сапега какой-нибудь? Не правда ли?.. – задал прямой вопрос импровизированной невесте Дивиер.

– Конечно... Сравненья нет! – отвечала она, обратив на генерал-полицеймейстера свои прекрасные чёрные глаза.

– Вот, ваше высочество, я и в сваты стал за вашу милость... усердствую с полною готовностью!

– Вижу... и всегда почитал тебя хорошим человеком, с кем-нибудь не сравниваю. Ты отца моего не губил! – произнёс вдруг запальчиво князь-ребёнок, и глаза его засверкали гневом.

Толстой невольно отшатнулся, а Шафиров заслонил Скорнякова-Писарева, придвинувшись ближе к великому князю.

Цесаревна Анна Петровна в это время горько заплакала, и на подвижном лице великого князя вновь изобразилась скорбь, а в глазах показались слёзы.

– Где же Наташа? – выговорил он голосом, полным тоски. – Её всё нет со

мною!

– Пойдёмте за ней, если угодно! – предложил снова Дивиер.

– Не пустит ведь он? – полугневно, полугрустно выговорил великий князь, указывая на Балакирева, стоявшего в дверях передней и смотревшего на заботливость Дивиера с недоверчивостью.

– Как он смеет нас остановить? – отважно, вызывающим тоном молвил Дивиер, как видно, старавшийся всеми средствами увести отсюда великого князя, очевидно с обдуманною целью.

Это очень хорошо понял Балакирев и, подойдя к великому князю, доложил ему почтительно:

– Иду поторопить, ваше высочество, прибытие великой княжны Наталии Алексеевны и подачу чая. – И, выйдя из комнаты, запер дверь на ключ перед толпою придворных, наполнявших коридор.

На всех лицах выражалось одно грустное ожидание неотвратимого горя. Балакирев через толпу протиснулся прежде всего на двор и приказал запереть ворота с Большой Улицы и держать запертыми все входы во дворец. Затем коридором прошёл в приспешную и потребовал немедленно принести чай и завтрак в собственные апартаменты её величества. Затем, из приспешной же, он отправил с ездовыми две цидулы: одну – к князю Меншикову, а другую – к коменданту в город. В первой было только написано: "Поспешите! Враги окружают великого князя". Во второй заключалось напоминание – немедленно исполнить приказ, отданный ночью, то есть привести на дворцовый двор роту, назначенную в дежурство на следующий день. После отсылки цидул Балакирев заглянул к себе, на половину великого князя, и застал там в сборе всех противников светлейшего.

Не показывая изумления при виде такого количества неожиданных гостей, Балакирев просил доложить государыне великой княжне, что братец просит пожаловать скорее на собственную половину, кушать утренний чай.

– Ну, что там делается? – спросил Балакирева канцлер.

– Её величество в забытьи... Врачи говорят: уже нет опасности.

У канцлера и у многих из присутствующих вытянулись лица при известии, разрушавшем все заранее построенные планы. Ожидали совершенно противоположного, и, при неожиданном обороте, все закусили губы и начали перебирать в памяти: не сказано ли чего, за что придётся отвечать?

Возвращаясь со своей половины на пост, в передней её величества, Балакирев уже нашёл слуг, нёсших чай и завтрак, так что появление его вместе с ними изгладило все подозрения, если они только успели зародиться в чьём-нибудь уме.

Цесаревна Анна Петровна, продолжая плакать, отстранила рукою поднос с чаем.

– По крайности для подкрепления соизвольте пропустить это, – подавая рюмку вина цесаревне, промолвил Дивиер.

– Оставь меня, Антон Мануилыч, до того ли теперь?! – ещё более расстроенная, ответила Анна Петровна.

В это время прошёл в опочивальню Блументрост, и все невольно насторожились. Цесаревны вместе с ним вошли в опочивальню, оставив дверь не совсем притворённой. В неё видна была голова врача, пробовавшего пульс августейшей больной, всё ещё не освободившейся от сонливости и хрипения в горле. На вопрос Анны Петровны: "Как теперь?"

– Блументрост мог только пожать плечами, видимо озабоченный неопределёнными симптомами кризиса при слабом пульсе. Видя мрачное выражение на лице врача, противники светлейшего переглянулись: не кончено ли всё?

Предприимчивый Дивиер первый вздумал воспользоваться этой ситуацией и увести будущего государя, отняв, так сказать, его из-под носа у Меньшикова.

– Не лучше ли будет вам для успокоения немножко прогуляться? – предложил Дивиер великому князю, смотревшему на Софью Карлусовну, снова начавшую хмуриться. – И её возьмём, ваше высочество.

– Пожалуй, – ответил беззаботный отрок, глаза которого уже глядели рассеянно на гардину окна, сквозь которую проскользнул сбоку луч

весеннего солнца, отразившийся на тёмном ковре пола ярким пятном.

– Так пойдёмте же! – И, взяв за руку великого князя и Софью Карлусовну, Дивиер направился к двери в коридор, не встретив на этот раз никакого сопротивления со стороны Балакирева, который был уверен, что некуда уйти дальше апартамента его высочества.

Войдя туда и перебросившись с людьми своей партии вестью о том, что они усмотрели в приёмной, Толстой и Шафиров занялись серьёзной беседою: что следует им делать. А Дивиер, прихватя молодого Долгорукова, камер-юнкера (заявившего, что его коляска может везти куда прикажут), впятером, взяв и Скорнякова, направился на главный подъезд, который оказался запертым, и прислуга не подавала голоса, несмотря на громкие приказания отворить. Бесплодно потеряв четверть часа, Дивиер попытался проникнуть на набережную через недостроенный дом дворцовой канцелярии, и на этот раз попытка его удалась. Долгоруков побежал в Мошков переулок, где стояла его карета, и стал махать великому князю и его спутникам, чтобы они поспешили. Но едва они сели в карету, как из Мошкова переулка выскочили солдаты и схватились за упряжь лошадей, не давая им двинуться. Дивиер, в полной форме, скомандовал солдатам отступить, и они построились, отойдя от кареты в сторону; но из главного подъезда выскочил светлейший, прибывший вовремя, и криком "стой!" остановил кучера, неохотно сдержавшего лошадей.

– Кто велел ехать? – крикнул ещё громче светлейший.

– Я! – ответил, едва сдерживая свой отроческий гнев, великий князь Пётр Алексеевич.

– Теперь не та пора, чтобы можно было обойтись без вашего присутствия, государь... Её величество требует вас к себе.

Великий князь и Софья Карлусовна вышли из кареты. Светлейший взял их за руки и пошёл с ними во дворец, скомандовав:

– Гренадёры, берите всех, кто здесь!

Дивиер крикнул:

– Не троньте без указа Верховного совета! Я генерал-полицеймейстер,

как вы знаете, и возвращусь сейчас!

Ему дали свободно удалиться; но команда всё-таки не выпустила Скорнякова-Писарева и Долгорукова, оставшихся на улице при экипаже.

Бледный, как смерть, вошёл Дивиер в комнаты великого князя, где ещё заседали Головкин с Толстым, Шафировым и явившимся только теперь Ягужинским. Объяснив, что с ним случилось, обер-полицеймейстер сказал, что пора положить предел самовольству одного из членов Верховного совета.

– Надо, надо! – тихонько, как бы говоря про себя, молвил канцлер, прибавив: – Я скажу князю Александру Данилычу, чтобы он воздерживался впредь... более.

– Не спрашивать его, а теперь же надо выразить запрещение ему так поступать, в журнал прописавши... И открыть заседание не выходя отсюда! – сказал Толстой. – Все члены здесь... Пойдём в советскую и созовём товарищей.

– Хорошо, хорошо! Если все согласны... Я буду... Доложу герцогу и цесаревнам. – И старик поплёлся к выходу. Придя в приёмную, он, однако, никому ничего не сказал и потихоньку удалился домой.

Между тем через час после ухода канцлера в комнатах великого князя собрались светлейший, генерал-адмирал, герцог Голштинский и князь Дмитрий Михайлович Голицын и стали рассуждать о том, что сегодняшней увоз великого князя показывает несомненно существование заговора.

– Какой тут заговор? – сидя с другими, сказал граф Толстой.

– Что заговор был и есть... и что ты, Пётр Толстой, глава его, я имею неопровержимые доказательства... – сказал Меньшиков. – Государыне уже доложено, и приказ последовал: вас всех взять и допросить как следует, по закону.

– Где доказательства? – спросил, стараясь сохранить наружное спокойствие, обвиняемый.

– Верно уж, у светлейшего есть достаточные улики, – не совсем твёрдо ответил, глядя робко на всех, генерал-адмирал.

Все промолчали.

– Я – член Верховного тайного совета, и, чтобы меня арестовать, нужно не одно слово Александра Меншикова, а явные улики да свободное, без него, обсуждение их... Обвинитель – не судья!

И на это ничего никто не ответил.

– Я сделал своё дело... – возразил светлейший, – что мне долг предписывал... Вы, господа, делайте своё дело... А указ высочайший вам объявлен... Нельзя главного оставить на свободе, когда клеветы позабраны.

Вошёл офицер с двумя рядовыми с ружьём и громко произнёс:

– Граф Пётр Андреевич Толстой, шпагу вашу! Я вас арестую по высочайшему её императорского величества словесному приказу.

Толстой молча последовал за ним. Герцог Голштинский поперхнулся, собираясь что-то сказать, но только сделал рукою знак, махнув по воздуху.

На следующий день стало слышно, что государыне легче. Ещё через день заговорили в городе, что открыт обширный заговор при дворе в самую последнюю минуту пред приведением в действие; что заговорщики хотели убить светлейшего князя, генерал-адмирала, генерал-прокурора, канцлера, всё императорское семейство и иностранцев, в точности повторив ужасы стрелецкого восстания 15 мая 1682 года в Москве. И главою заговора был устроиватель тогдашней резни граф Пётр Андреевич Толстой. Спас всех своею находчивостью один светлейший князь Александр Данилыч, лично подвергаясь величайшей опасности, чтобы вырвать из рук кровопийц единственную отрасль мужеского племени в августейшей фамилии – великого князя Петра Алексеевича. Его Господь Бог сохранил невредимым благодаря мужеству Софьи Карлусовны Скавронской, подставившей грудь свою для поражения рукою убийцы. Толковали также, будто бы полицейские солдаты по приказу своего главного начальника должны были схватить всех иностранцев и разграбить их имущество.

Прошла ещё неделя, в продолжение которой только и говорилось, что об

арестантах и открываемых из допросов их планах самого кровавого свойства. Верховный тайный совет не собирался, и вообще во дворец вход был значительно затруднён. Сам канцлер, два раза приезжавший для засвидетельствования своего рабского её императорскому величеству решпекта, не был впущен. Вечером, в день вторичной своей попытки видеть её величество, канцлер получил письменный указ за высочайшею подписью, сопровождаемый короткою запискою светлейшего князя:

"Ваше сиятельство! Будьте в крепости в комиссии, да извольте собрать всех к тому определённых членов и её величества указ всем объявить. И всем, не вступая в дело, присягать, чтоб поступать правдиво. И никому не манить. И о том деле ни с кем не разговаривать и не объявлять, кроме её величества".

В присланных допросных пунктах велено допросить Дивиера по смыслу взведённых на него обвинений, в неприличных поступках в приёмной её величества, утром 16 апреля.

В записке светлейшего князя поручалось канцлеру ответы Дивиера завтра утром "довести до сведения её величества".

Канцлер, прочитав записку и допросные пункты, погрузился в глубочайшее раздумье. Самое поручение было крайне щекотливо. Ему – допрашивать людей, планы которых при его соучастии и обсуждались! Злая насмешка. Да ещё докладывать ответы Дивиера? Ну кто порукою, что императрица в болезненном состоянии своём будет слушать его? Ясно, репортовать придётся тому же Меньшикову, против которого всё и было направлено.

В тяжёлом раздумье застал тестя Павел Иванович Ягужинский.

– Что вы так приуныли? Новое есть что-нибудь? – спросил он.

– Прочти и посоветуй: как быть?

Пробежав допросные пункты, указ и записку светлейшего, зять сказал:

– Ну, что же, будем действовать, ведь тут приписано внизу: "Кантору извольте учредить в крепости"... секретаря можете взять по усмотрению... Возьмите меня... я и отрепортую завтра, за нездоровьем вашим!

Робкий тесть очень был рад такому предложению.

Дело сладилось в несколько минут, и через час уже председатель и секретарь вытребовали обвинённого для допроса.

Дивиер, прочитав допросные пункты, дал на каждый основательные ответы, дельности которых даже позавидовал канцлер, поздравив его с полным оправданием.

Горько улыбнулся генерал-полицеймейстер и, махнув рукою, произнёс:

– Я уже осуждён давно... Этого и читать никто не будет...

Канцлер, однако, выразил уверенность в оправдании обвиняемого. Расстались дружески, пожав руки.

– Он знает сам, что погиб! – подтвердил хладнокровно Ягужинский, идя к одноколке, в которой они приехали. Затем оба молчали во всю дорогу, и, только довезя тестя, Ягужинский, принимая от него бумаги, приготовленные во время допроса секретарём генерал-прокурором и подписанные обоими, нежно прощаясь, уверил тестя, что из дворца прямо к нему явится с докладом о результате поручения.

ЭПИЛОГ

В эту ночь государыне с чего-то сделалось дурно, и утром она не могла не только слушать доклад, но не имела и мгновения покоя или облегчения от жгучей боли во внутренностях. Она издавала даже стоны, к утру всё более учащённые и громкие.

Всю ночь все были на ногах, и светлейший с супругою не отходили от постели.

Стоны ещё продолжались, когда в передней появился Ягужинский.

Балакирев вызвал светлейшего, и, узнав причину прихода не особенно верного дельца, князь только взял от него бумаги, сказав, что о докладе думать нечего. Генерал-прокурор не настаивал, сам справившись почтительно, когда угодно будет приказать составить приговор.

– И тебе будто не жаль бывших друзей? – язвительно сострил неумолимый светлейший.

– Преступники – не друзья мне и никогда не бывают друзьями судье... –

закончил он с странною улыбкою.

– За эту твою покладность на всё... я только и милую тебя! – сурово ответил Меньшиков, расправляя морщины на лбу. Подавая затем руку, князь прибавил: – Помни же, Павел, заслужи прежнюю вину усердием!

Взгляд покорности и преданности лучше всяких слов подтвердил готовность из кожи лезть в угоду возвращавшему милость покровителю.

Её величеству делалось с каждым днём хуже. Если наступали периоды облегчения, то за ними следовал больший упадок сил, уже не дававший возможности поднять голову с подушки. Из дочерей её величества с нею постоянно оставалась младшая. День 16 апреля как бы отстранил цесаревну Анну Петровну от участия в семейном деле. Сильно упали духом и голштинцы. Канцлер тоже нигде не показывался. Вместо него являлся с докладами по иностранной коллегии барон Андрей Иванович Остерман, за подписью которого, а также светлейшего князя рассылались на дом для подписания членами Верховного тайного совета протоколы несобиравшегося совета. Никто, впрочем, не возражал против несвоевременности или незаконности состоявшихся якобы общих решений. Точно так же шли и высочайшие указы, к которым прикладывала руку цесаревна Елизавета Петровна. Ночью на 5 мая, когда Блуменрост вышел в приёмную, дав лекарство августейшей больной, его отвёл в сторону светлейший и таинственно спросил:

– Когда?

– До шестого не протянет.

– И это верно?

– Могу поручиться...

– Дай облегчительного утром на часок на другой...

Врач промолчал, но почтительно поклонился.

Светлейший послал Балакирева за Остерманом, наказав:

– Да чтобы взял с собою и то, о чём говорено.

Впущенный тотчас же Ваня застал дельца за работою. В кабинете горели свечи на трёх столах, и за двумя сидели коллежские канцеляристы, писавшие на пергаменте. Сам Остерман тоже писал, сидя за конторкою.

Когда Балакиревым было передано приказание светлейшего, Остерман встал и, посмотрев, сколько оставалось писать каждому из канцеляристов, ответил:

– Через час, не раньше, я могу явиться к его светлости с повеленным. Уже светло сделалось, как явился Остерман с двумя свёртками пергамента.

Началось вполголоса чтение. С первых слов понял Балакирев, что это – завещание. Разные указы распоряжений вещами и драгоценностями, отказываемыми дочерям, племянницам, прислуге. Раздел вещей и награды – Елизавете Петровне больше всех, и она названа душеприказчицей по исполнению завещания. Потом читано распоряжение о престоле, оставляемом сыну пасынка её величества, великому князю Петру Алексеевичу. Светлейший князь Александр Данилович – правитель государства до совершеннолетия и главный опекун государя, которому императрица назначала невестою княжну Марию Александровну Меншикову. Когда Остерман прочёл это, светлейший заметил:

– Что же не сказано, чтобы обручиться государю в первые же дни воцарения, и чтобы высокообрученную невесту поминать в церкви вместе с именем жениха?

– Это от вашей светлости совершенно зависит: в манифесте, изданном по случаю обручения, прописать этот указ Синоду. А назначение дня обручения тоже от вашей светлости зависит; как прикажете, так и напишем.

– Оно так, конечно, – успокоился светлейший, – да нужно такой чин мне дать, чтобы я ни с кем из членов Верховного тайного совета не был равным, а выше их всех, хоша есть и генерал-адмирал, и канцлер у нас...

– Можно написать указ о пожаловании вашей светлости, яко правителя государства и главы опеки над государем-отроком, – генералиссимусом.

– Что же это слово означает? – спросил светлейший с выражением полного довольства.

– Генерал генералов!

– Это ладно; напиши же этот самый указ об оном чине нашем поскорее. Останешься и мной доволен.

Остерман с поклоном удалился, хорошо поняв смысл обещания, по пословице "рука руку моет"! Светлейший взял и завещание, и указ о передаче престола и отнёс к постели больной государыни. Она не спала, и между ними началась очень тихая беседа, из которой трудно было услышать что-нибудь даже стоявшему у двери в опочивальню. В беседе этой протекло часа три. И светлейший, и больная плакали. Одно только долетело до ушей Балакирева, – должно быть, уже последние слова, произнесённые государынею довольно громко:

– Боюсь я одного, чтобы выбранный вами Пётр II не оказался к вам неблагодарным и, забыв все, теперь вами деланное, не погубил...

Голос её величества пресёкся, ослабев, и она без сил упала на подушку.

Скоро пришла цесаревна Елизавета Петровна и, видя светлейшего в слезах, заплакала, припав к постели государыни. Царица-мать собрала силы, сама приподнялась, благословила дочь и сказала, целуя её в голову:

– О тебе, Лиза, попечитель – Бог! Он наградит тебя лучше матери. Послужи мне и теперь ещё... Подпиши оба эти заявления воли моей о вас и... престоле...

Силы её величества от последнего усилия, казалось, совсем истощились, и она замолчала. Елизавета Петровна подписала завещание и отдала светлейшему, вложившему его в куверт с государственною печатью, приготовленный Остерманом, припечатав его ещё своею печатью.

Государыня погрузилась в забытьё и не выходила уже из него. Это было перед полуднем 5 мая. Спустя два часа пришла к матери старшая цесаревна с мужем и целовали её уже холодевшую руку, оставшись затем во второй приёмной. Приводили целовать руку её величества также великого князя с сестрицей. Сохранялась полнейшая тишина, хотя собрались все имевшие и не имевшие въезд ко двору, и для желающих подкрепиться накрыты были столы в дворцовых покоях, занятых светлейшим.

Около 9 часов вечера государыня два раза вздохнула, и затем уже грудь её более не поднималась. Все встали и тихо плакали. Явился Блуменрост, пощупал пульс и громко произнёс:

– Всё кончено!